



БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ

ЕЖИ ПУТРАМЕНТ

РАССКАЗЫ

БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ



Редакционная коллегия:

Бондарев Ю. В.

Борзаунов С. М.

Ильин С. К.

Клышко А. А.

Пузиков А. И.

Синельников В. М.

Сурков А. А.

Туркин В. П.

ЕЖИ ПУТРАМЕНТ РАССКАЗЫ

Перевод с польского

МОСКВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»
1977

© Перевод на русский язык, кроме пропавших, отмеченных
в содержании знаком *, «Прогресс», 1977

П $\frac{70304-561}{006 (01)-77}$ без объявл.

РАССКАЗЫ

Темень. Но долгие часы езды без света, если не считать мимолетных спичечных огоньков, лишили ночь ее внезапной слепящей черноты; она висела за окном вагона, грязная и тусклая, разрываемая лишь чернильными силуэтами бегущих навстречу молоденьких сосенок.

Теснота. Поезд был облеплен людьми в солдатских шинелях, они гирляндами висели на подпоясках и буферах. В проходах пассажирских вагонов люди столпились так тесно, что можно было без опаски спать стоя, только головы бессильно раскачивались, ударяясь одна о другую при каждом толчке вагона.

В купе разговаривали о героизме. Тема эта как-то незаметно всплыла после рассказов о предательстве, разрухе, зверствах врага и о поражении, которое оказалось неизбежным. Кое-кому было не по себе от однообразной тяжести всего, чего касались то и дело мысли собеседников. В поисках более радостных сюжетов они не стеснялись говорить о себе, рассказывали о своих собственных боевых делах, и у некоторых это звучало довольно приподнято. Но что поделаешь, если для подобного эффекта нужно было сузить рассказ до самых маленьких размеров, до самых тесных рамок; стоило только действию выйти за пределы десятиминутной стычки, за масштабы взвода, за полномочия ротного командира, как сразу же тускнел оптимистический колорит рассказа, он становился опять безнадежным, гиблым, как все вокруг.

Рассказывали подолгу. Дольше всех говорил человек, сидевший у окна; в моменты особого напряжения на фоне серого прямоугольника окна вырисовывался его профиль с покатым лбом, прямым, недлинным носом и волевым, выпянутым вперед подбородком.

— В армии я был всего лишь рядовым, из школы офицеров запаса меня отправили в полк по причине, прямо скажем, пустяковой, из-за столкновения со старшим сержантом — моим пачальником. В конце августа наш полк стоял на границе с Восточной Пруссией. Подготовлены мы были во как! Офицеры считали, что никогда еще не было армии, так хорошо подготовленной к войне. Мы выставляли полевые караулы, те в свою очередь выставляли сторожевые посты, понастроили мы отличные заграждения: высокие, до пояса — против пехоты и низкие, до колена, протянувшиеся полосой в несколько метров и замаскированные в кустах и траве, — против кавалерии. За заграждениями идеально располагались пулеметные гнезда. И всего было столько, что сержанты лишь расхаживали да руки потирали: их жадные глаза никогда еще не видели столько добра, собранного в одном месте. Шепотком, многозначительно подмигивая, поговаривали, что в полку есть даже противотанковые орудия. Наш ротный командир, молодой, стройный, светловолосый капитан, всегда проходил мимо нас, гордо подняв голову, пощелкивая хлыстом по сапогу. Он пользовался репутацией одного из наиболее многообещающих офицеров — об этом свидетельствовал чин, полученный им в какие-нибудь тридцать лет. Команды он подавал высоким, резким, самодовольным голосом. Со взводными командирами обращался вежливо, но сухо и свысока, на каждом шагу давая им понять, какая пропасть лежит между ним — кадровым офицером и ими — учителями, чиновниками и прочими штатскими. И действительно, очень уж неловко выглядели и вели себя эти офицеры запаса. Командир нашего взвода — сельский учитель из Полесья — поручик Бенкевич больше, чем любой из нас, побаивался кадрового старшего сержанта Хлиппа и всю свою сообразительность, правда не столь уж большую, тратил на то, чтобы скрыть перед ним свою беспомощность. Он смущался, когда мы отдавали ему честь, попеременно краснел и бледнел. Всякий раз, когда какой-нибудь рядовой вытягивался перед ним с той или иной просьбой, он выслушивал просителя и поскорее отправлял его к старшему сержанту, причем, как нам казалось, далеко не всегда понимая, о чем рядовой просил. Он побаивался взрывов и всегда предпочитал держаться подальше от ручных гранат и других взрывчатых предметов. И был еще командир полка — личность, окруженная ореолом таинст-

венности: никто никогда не видел его, даже офицеры не часто встречались с ним. Столь необычный образ жизни ни у кого не вызывал осуждения: командир полка прошел через войны 1914 и 1920 годов, был старым фронтовиком с многочисленными польскими и иностранными медалями. Относительно низкое положение командира полка, занимаемое им, несмотря на то что в прошлом он был легионером, объясняли его личными трениями со штабистами, особенно с несколькими генералами, что в свою очередь оправдывало поведение этого замкнутого, нелюдимого, обиженного человека.

Чувствовал я себя в армии плохо. Солдаты — преимущественно крестьяне — видели во мне своего потенциального командира из интеллигентов. Им трудно было найти подходящую дистанцию, поэтому они, со своей врожденной мужицкой дипломатичностью, старались держаться на всякий случай подальше, выжидая, пока положение не прояснится. Словом, я был как та галка, которую и павлины не приняли, и свои галки прогнали.

Ночь с 31 августа на 1 сентября я провел в полевом карауле. На рассвете где-то далеко слева началась глухая канонада. Я лежал на высохшем колючем мху, ощущая, как вздрагивает земля. Стреляли далеко, самих взрывов почти нельзя было различить, и только мертвая тишина, царившая на нашем участке, позволяла время от времени уловить какие-то сильно приглушенные раскаты.

— Началось, — шепнул мне рядовой Гаврот, крестьянин из-под Красностава. — Черт возьми, а я думал, что к севу вернусь домой.

— Ух, эти евреи! — пи с того пи с сего пробурчал Жеруха, портной из Кельц.

Мы лежали молча. В километре от нас проходила граница. В нескольких стах метров впереди нас в зарослях можжевельника притаились наши сторожевые посты. От них мы ожидали сигнала, горячо дыша и напряженно всматриваясь в черные клубы кустов. Ночь, погожая ночь чуть помутнела, звезды из светлых, четких точек превратились в белые облачка, круглые и пушистые, как одуванчики: поднималась предрассветная дымка. Всюду царил покой, даже эти далекие вздохи прекратились. Может быть, мы ошиблись? Странно. Однако мысль эта огорчила меня. Я не хотел войны, по правде сказать, боялся ее, но неделя, в течение которой мы с часу на час ждали начала, изму-

чила нас до предела. Чему быть, того не миновать, только бы скорее!

— Может, еще успеете к севу, — не без сожаления шепнул я Гавроту. — Может, еще ничего и не началось.

— Ну да, как же! — зло огрызнулся он.

Но похоже было все-таки на то, что прав я. Рассвело, время покатилось к полудню, а на нашем участке так ничего и не происходило. Мы лежали в зарослях корявых сосен, сменялись посты, начало припекать солнце, в стерне цели кузнечики и стояла тишина.

В полдень нас навестил ротный командир капитан Пусловский. Спокойный, сдержанный, он прошел через кусты, равнодушно посмотрел на наши осунувшиеся после бессонной ночи лица и, кивнув поручику Бенкевичу, увел его с собой. Больше мы капитана так ни разу и не видели, но через пять минут вернулся совершенно расстроенный Бенкевич. У него дрожали руки, лицо покраснелось и покрылось капельками пота, очки в черной оправе так запотели, что он ничего не видел и задевал ногами за каждый корень, за каждый куст. Ему, разумеется, и в голову не приходило, что пужно протереть очки. Добежав до нас, он остановился и, будто вспомнив о чем-то, уселся на землю. не проронив ни слова, а ведь казалось, что он бежал к нам с очень важным сообщением. Парпи заволновались. Нервы были напряжены до предела, любое резкое движение, громко произнесенное слово, сломанная ветка, озабоченная мина на чьем-нибудь лице — все это пастораживало, мгновенно передаваясь всем вокруг. Вот так же, паверное, и на бойне среди скота, спокойно бредущего на убой, пробегает внезапно волнение, когда одна из жертв учует запах крови. Мы бросились к Бенкевичу. Жеруха со свойственным ему бесстыдством бывалого вояки первым пошел в атаку.

— Что случилось? Сдается мне, что у папа поручика душа в пятки ушла.

Бенкевич еще больше покраспел и забормотал:

— Э... ерупда, ничего особенного... пока что...

Так и не удалось ничего выудить из него, единственное, что он сообщил нам, так это то, что мы еще сутки проведем на нашей позиции. Он приказал удвоить сторожевые посты. Подозрения наши усиливались, но нас по-прежнему держали в полном неведении, терзавшем всех, словно частые, резкие порывы ветра.

Депь, как вы помните, был тихий и жаркий. Мы дре-

мали на солпышке, уплетали консервы с хлебом и запивали из наполовину высохшей лужи. Покидать расположение взвода нам было запрещено, а в полк, стоявший в нескольких километрах позади нас, никого не посылали. Мы были полностью отрезаны от мира.

Весь день через сосновую рощу пробегали теплые порывы ветра, пахнущего сосной. К вечеру восток утих, и тогда мы снова слышали гул. Теперь он был ближе к нам: сомнений не оставалось. Снова пошли к Бенкевичу. На этот раз ему не удалось от нас отделаться.

— Да, война началась. Э... гм... Солдаты, теперь, как видите, ископный враг снова вторгся в наши исконные земли. Но мы, потомки победителей под Грюнвальдом, должны... э-э... гм... правда, послужить примером...

Он плел что-то без связи и смысла. После Грюнвальда и Пловцев он ни с того ни с сего вытащил на свет божий Кирхгольм. Мы стояли как попало, позади меня кто-то доедал свою краюшку хлеба. Гаврот угрюмо уставился в землю, только сержант Хлипп да Жеруха стояли по стойке «смирно» и делали вид, что внимательно слушают.

Бенкевич окончательно увяз как раз в том месте, которое должно было прозвучать особенно патристично. Он кончил, хотел провозгласить какой-то боевой клич, но, чувствуя, что ему не поднять свой учительский голосишко до громовых высот, махнул рукой и повернулся к нам спиной.

Старший сержант Хлипп лихо скомандовал «вольно!», и Жеруха с шумом отставил левую ногу. Не дожидаясь очередных команд: «Смирно!» и «Разойдись!», мы покинули строй и отправились на свои насиженные места. Случись такое три дня назад, Хлипп учинил бы по этому поводу немалый скапдал и добрых четверть часа мучил бы нас разными «приседаниями», но сейчас он тоже был озадачен и оставил нас в покое.

Мы лежали на земле, отсыпались и жевали хлеб. Приказано было еще раз проверить оружие, затем были пазначены связные в штаб полка на случай, если будет поврежден полевой телефон. В сумерки издадека слева донесся гул самолета. Бенкевич совсем потерял голову и начал что-то кричать, а Хлипп подал команду: «Воздух! В укрытия!» — и мы бросились под сосенки. Самолет погудел еще немного и затих. Так закончился первый день войны.

Ночь прошла спокойно, утро тоже. Только телефонист наш удивил всех: полк не отвечает. Бенкевич никак не

реагировал на это сообщение. Он сидел под своим кустом совершенно безучастный ко всему. Хлиппу, который настаивал, чтобы в соответствии с положением полевого устава послать людей для исправления линии, он приказал ждать. Вот мы и ждали.

По временам слева опять доносилась капонада. К середине следующего дня сильные, хотя и приглушенные расстоянием, взрывы стали долетать до нас сзади и как будто справа. Я стал нервничать. Неужели окружение? Направился к Хлиппу, хотя и знал, что он недолюбливает меня.

— Старший сержант, — говорю, — вы слышали...

— Как стоите? Смирно! — зарычал Хлипп. — Забыли, черт возьми, что вы в армии, а не в борделе?

Я вытянулся по стойке «смирно».

— Новобранец вонючий! Докладывайте так, как я вас учил!

Отбарабанил начало как положено, но, когда дошел до сути дела, злость меня одолела. Хотел махнуть на все рукой и уйти. С трудом поборол себя, личное самолюбие — чепуха, если речь идет о судьбе нескольких десятков человек. Я доложил об услышанных мною взрывах.

— Не ваше вонючее дело, — ответил Хлипп. — Солдату положено выполнять команды, остальное его не касается. Кру-гом!

Я по-уставному выполнил поворот через левое плечо и удалился. Хлипп, конечно, злился на Бенкевича за его беспомощность и несоблюдение полевого устава. Свою злость он сорвал на мне, так как органически не переваривал людей, окончивших гимназию и стоявших ниже его чном.

К вечеру у нас вышли все продукты, остался лишь неприкосновенный запас. Это наконец оказало действие на Бенкевича. Он послал связных в полк.

С тревогой ждал я их возвращения. Особенно раздражала нависшая над нами тишина. Где-то далеко опять бухали пушки. На горизонте, в той стороне, где стоял полк, поднялось грязно-желтое зарево. Бенкевич с маниакальным упорством утверждал, что это всходит луна. Прошло десять, пятнадцать, двадцать минут, но луна так и не вынырнула из мутного ореола, а вот само зарево стало выше и словно приблизилось к нам, теперь мы различали отдельные языки пламени и клубы дыма.

Связные не возвращались. Прошло и два, и три часа — время вполне достаточное, чтобы два раза обернуться. А Бенкевич по-прежнему не знал, что делать. Он всячески уклонялся от принятия решения, повторяя, что «нужно подождать», что «они могли сбиться с пути», что «их могли задержать в штабе полка» и т. д.

К полуночи я отправился к нему и вызвался сходить с кем-нибудь в расположение полка. Он рассеянно выслушал меня и еще раз повторил, что «нужно ждать».

Ждали. Эта ночь была очень тихой, тише, чем две предыдущие. Ни стрельбы, ни взрывов, ни самолетов... Чистые мирные звезды и далекое зарево где-то за штабом полка, в глубоком тылу. И ничего больше.

Наконец перед рассветом меня разыскал Хлипп и приказал отправиться в паре с Жерухой в полк и узнать, какова будет дальнейшая судьба нашего взвода.

Мы двинулись в путь. Идти было легко, зарево служило отличным маяком. Еще не рассвело, а мы уже подошли к расположению первых подразделений полка.

Жеруха остановился. Он ни в какую не хотел идти дальше, пока не рассветет окончательно, потому что часовой мог не узнать нас и застрелить прежде, чем мы успеем ответить. Я прикрикнул на него. Тогда он двинулся дальше, бормоча что-то насчет евреев, не знаю уж почему, ведь он прекрасно знал, что я не еврей.

Признаться, я и сам чувствовал себя не очень уверенно. Часовые иногда обалдевают от напряжения, и им ничего не стоит пальнуть. Умышленно повысив голос, я разговаривал с Жерухой на самые разнообразные и невинные темы.

Мы продвигались все дальше и дальше, но никто не окликал нас, никто не приказывал остановиться, поднять руки вверх. Это мне не понравилось. Что же случилось с полком?

Наконец мы оказались на поляне, где располагался штаб полка. Поляна молчала. Под кустами торчало несколько покосившихся палаток. И ни живой души!

Жеруха беспокойно топтался на месте, поводя носом, как пес, который старается учуять потерянный след дичи. Мы осмотрели палатки. Совершенно целые, повенские и чистенькие, они были пусты. Должно быть, очень быстро улепетывали отсюда, если не успели забрать такое легкое имущество.

Жеруха сразу заметил это.

— Слушай, друг, давай сматываться, да побыстрее! Ты видишь, как они газанули отсюда.

— Как это «сматываться»?

— Очень просто. Полк куда-то запропастился, причем давно, пожалуй, не меньше суток тому назад. Наши связные тоже сбежали. Не к добру это, если все вот так вдруг исчезают. Надо и нам драпать.

— А как же взвод? Нужно их предупредить.

— Э! Пока туда и обратно, «эти» сцапают нас с тобой. Плевать я хотел на взвод.

— А я нет. Мы вернемся и доложим, что увидели здесь.

— И не подумаю. Мне собственная шкура дороже их всех, вместе взятых. Пусть выкручиваются как могут, а я туда больше не пойду.

— А вот и пойдете!

— Ну, ты, полегче. Видали мы таких шустрых. Пока! Я вскинул винтовку и павел ее на него.

— Рядовой Жеруха, кругом! Шагом марш!

Жеруха поначалу возмутился. Но, увидев у себя под посом дуло винтовки и встретив мой свирепый взгляд, нерешительно повернулся.

— Сдать оружие! — крикнул я, не спуская с него взгляда, вероятно достаточно свирепого.

Он не решился оказать мне сопротивление. Я отобрал у него патроны, вынул затвор из винтовки, и мы двинулись в путь. Нерадостное это было возвращение. Я должен был внимательно следить за ним, чтобы он не дезертировал. Взвод наш совсем пал духом. Первым подошел к нам Хлипп. Я по всем правилам доложил о Жерухе и его попытке дезертировать. Хлипп спросил, что с полком. Я рассказал. Ничего не ответив, он махнул рукой Жерухе, и они ушли вдвоём.

Бенкевич окончательно раскис. Если раньше он еще кое-как держался, то только потому, что чувствовал за своей спиной полк. А теперь вся ответственность за взвод свалилась на его голову как лавина. Не стесняясь моего присутствия, он схватился за голову и захныкал: «Что же теперь будет», «Что делать», «Все пропало» и так далее, и тому подобное. Озадаченный таким состоянием командира, я и впрямь не знал, что делать, как вести себя, куда спрятать глаза. Собрался было уходить, но Бенкевич сла-

беющим голосом приказал мне позвать Хлиппа. Я с облегчением бросился выполнять распоряжение.

Через несколько минут Хлипп объявил построение. Сняли сторожевые посты. Собрали свои жалкие манатки, последние продукты, оружие, кроме пулеметов, которые Хлипп приказал спрятать в густых зарослях можжевельника, и выступили в путь. Хлипп с пятью бойцами, Жеруха был в их числе, пошли головным дозором.

Шагали мы быстро. Вскоре я вторично оказался на месте расположения полка. Солдаты быстро обшарили кусты в поисках брошенных продовольственных запасов, но ничего не нашли. Зато, когда нужно было двигаться дальше, оказалось, что мы педосчитываемся семерых — сбежали.

Дозор наш исчез. Голодные, жаждущие и усталые, добрались мы к полудню до какой-то деревушки. Солдаты разбежались по хатам в поисках еды. Крестьяне встретили нас упреками и жалобами. С большим трудом удалось мне выспросить у одной молодухи, что произошло здесь за прошедшие трое суток.

Прежде всего, ни одного вражеского солдата здесь никто не видел. Самолеты пролетали, но далеко. В ночь с пятницы на субботу, то есть с первого на второе, прошло здесь много наших солдат.

— Много, очепь много, — приговаривала хозяйка. — Может, десять тысяч, а может, и больше.

Шли строем, хотя и очень спешили. В деревне даже не остановились.

Мелкие группки по несколько человек идут беспрерывно. И все в спешке, почти бегом. Все требуют еды и ничего за нее не платят. Последняя группа прошла час тому назад, реквизировала две повозки с лошадьми, забрала все продукты, какие нашлись, и уехала. Эту группу проклинали и за реквизицию и за поведение. По некоторым приметам я понял, что это дело рук Хлиппа и Жерухи. Следовало смириться с мыслью, что мы их больше не увидим. Так же маловероятно было, что мы догоним свой полк. Он опережал нас на полтора суток.

Словом, дела были не из веселых. Я доложил обо всем Бепкевичу. Он безнадежно махнул рукой и ничего не ответил. Я дал команду построиться. Рассчитались по порядку номеров — и оказалось, что нас тридцать восемь, значит, снова сбежало более десяти человек. Из унтер-офицеров остались двое нерасторопных капралов и еще пе-

сколько ефрейторов. Было ясно, что никто из них не справится с нашим отрядом. О Бенкевиче и говорить нечего было. Я не побоялся ответственности, никого ни о чем не спрашивая, взял на себя командование, реквизировал несколько повозок, немного хлеба, за который мы, разумеется, заплатили, в повозки свалили свои вещевые мешки, остатки боеприпасов, а заодно и Бенкевича, и по моей команде взвод выступил колонной по четыре.

Через несколько часов форсированного марша мы вышли к развилке дорог. Никто из нас не был знаком с местностью, карту, принадлежавшую Бенкевичу, унес с собой Хлипп. В нескольких стах метров впереди показалось несколько хат. Я побежал туда, чтобы узнать дорогу. В тот момент, когда я расспрашивал какого-то онемевшего от страха старичка, послышался гул самолета. Я выскочил из хаты и помчался к своему отряду, кляня себя за то, что оставил его без присмотра.

Бегу и слышу: пулемет. Что за черт? Все свои пулеметы мы оставили в можжевельнике, у границы. Неужели поблизости есть еще один отряд? И машинка странная: так-так-так, полсекунды перерыва, снова выстрел, снова перерыв и так далее. Самолет снизился, раздался взрыв бомбы, и все стихло. Самолет ушел куда-то на восток.

Выбегаю на развилку: никого. В кустах воронка после взрыва. Никаких раненых и вообще никого вокруг. Неподалеку повозка и бьющийся в страхе конь. А рядом человек лежит, уткнувшись головой в песок.

Поднял его: Бенкевич. Трясется всем телом, дрожит, хотя несколько не пострадал. От него ничего не узнаешь. Стал звать — никакого ответа. Раз крикнул, два, в третий раз крикнул. Никто не отвечает. Решил заняться кошем. С трудом поставил повозку на колеса, погрузил на нее высыпавшееся добро, велел Бенкевичу занять место, тронулись.

Тут-то и пачали выползать из кустов солдаты. Через четверть часа набралось уже семнадцать человек. В том числе Гаврот и один из капралов, тот, что поглупее. Ему я поручил повозку и Бенкевича. Я отозвал Гаврота в сторону и велел доложить, что произошло.

Оказывается, этот трус и дурак Бенкевич, слышав самолет, придумал «гениальную» вещь: отпугнуть его пулеметом. Не слезая с повозки, он приказал солдатам стать в одну шеренгу и стрелять по очереди с как можно более

короткими интервалами, чтобы создать иллюзию пулеметной стрельбы. У него, конечно, не хватило ума сообразить, что летчик все равно не услышит того, что делается на земле: слишком громко гудит мотор самолета.

Самолет приблизился, летчик разглядел группу солдат, которые не прятались по кустам, а спокойно выстроились на дороге и палили из винтовок. Бесприцельно сбросив бомбу, самолет удалился.

От бомбы никто не пострадал, но перепугались все. Большинство воспользовалось случаем, чтобы сбегать и двигаться дальше на свой страх и риск. Тем, кто остался, видимо, просто не хватило смелости и фантазии, чтобы поступить так же. Они привыкли, чтобы ими все время кто-нибудь командовал, созданная мною видимость, что есть командование и какой-то порядок, показалась им более надежной, чем бегство в одиночку.

Итак, мы двинулись дальше. Куда? Во дворе у старика я все-таки узнал, где проходит дорога на юг, к более крупным населенным пунктам. К вечеру нам улыбнулось счастье. Мы наткнулись на три войсковых фургона, брошенных кем-то в лесу. Трудно было понять, почему их бросили: копии были в порядке и не очень усталые, повозки пустые.

Не долго думая, я усадил своих людей на повозки, и поехали.

Ехали всю ночь бойкой трусдой. Поэтому нам удалось наверстать то, что потеряли за два дня: где-то к полуночи начали попадаться отдельные группы отступающих, а к утру мы догнали общий поток и влились в него.

У меня сразу отлегло от сердца, до этого меня сильно удручало чувство одиночества и потерянности, три первых дня войны прожили в какой-то странной пустоте: ни своих, ни противника. Временами казалось, что, кроме нас, вообще никого нигде нет. Внезапное отступление полка, наше бегство происходили без единого выстрела (если не считать «пулеметной стрельбы» Бенкевича). Казалось, что все это — сплошное недоразумение, что где-то слева и справа от нас идет настоящий, равный бой, и только мы отступаем безнадежно и стремительно.

А здесь один только вид солдатской массы вселяет надежду: ведь вот сколько нас, не поддадимся!

Переполненный такими чувствами, я потирая плечом свой отрядик, чтобы поскорее догнать полк или по крайней

мере добраться до линии, на которой кто-то уже организуе оборону.

Мы обгоняли мелкие группки пехоты, не обращая внимания на многочисленные просьбы подвезти. Слишком много было просителей, чтобы мы могли позволить себе подобный акт милосердия.

Вскоре отдельные группки сменились подразделениями, появились повозки. Мы то и дело обгоняли тяжело груженные обозы. Ночь кончалась, и наряду с несколькими догоравшими на горизонте пожарами появилось новое зарево — рассвет. И сразу все оживилось: повозки, которые мы только что легко обгоняли, рванулись вперед чуть ли не галопом, пехота прибавила шаг, почти побежала и все пастойчивее атаквала нас, требуя места в фургонах.

Война, катившаяся медленно и тихо, ускорила свой бег и увлекла нас за собой.

Едва рассвело, как мы слышали самолеты. Так уж повелось на этой войне, что при звуке самолетов никто даже на долю секунды не тешил себя мыслью, что это могут быть «паши». Первый звук мотора перевернул все вверх дном на шоссе. Повозки на полном скаку рванулись в сторону через кюветы и придорожные кусты, подальше от дороги, ездовые спрыгивали на ходу и на своих двоих мчались к лесу, отстоявшему от дороги на добрый километр, бойко шагавшие группки пехотинцев разлетелись, как вороха сухих листьев, подхваченных резким порывом ветра.

Тревога передалась и нам. Но мы еще не совсем понимали, что за причина смела людей с дороги. Мы просто сильнее погнали лошадей и вскоре оказались в голове колонны. Позади остались длинные обозы, покпнутые ездоными.

Самолеты приближались. Мы мчались галопом. Впереди был небольшой лесок, именно в нем я надеялся укрыться от противника. Гул моторов парастал. То один, то другой из моих солдат, охваченный страхом, предпринимал попытку выбраться из фургона, чтобы сбежать в чистое поле. Я вырвал у Бенкевича револьвер и, размахивая им, заорал:

— Пристрелю каждого, кто побжит. Оставаться в повозках!

Моторы загудели позади нас. Вдруг их гул перекрыли взрывы: один, другой, третий. Частые, как град, они быстро приближались к нам. Я оглянулся: шоссе, оказывает-

ся, круто повернуло, и сзади, за поворотом, видны были разраставшиеся столбы дыма, заслонившие собой все. Взрывы приближались с такой скоростью, что у меня перехватило дыхание. «Копец», — подумал я с неуместным спокойствием, без сожаления и страха. В то же мгновение огненный вихрь догнал нас, оглушающие разрывы раздались совсем рядом и умчались вперед.

Придя в себя, я не сразу понял, что произошло, и только дым да воронки, из которых он поднимался, объяснили мне все. Линия взрывов прошла слева, постепенно удаляясь от дороги. Нас выручил поворот шоссе: разогнавшийся летчик не обратил на него внимания и шел все время вперед по прямой.

Только сейчас меня обуял страх. Мне показалось, что самолеты поворачивают назад. Чудо с поворотом дороги больше не повторится. Теперь сознание опасности приобрело совершенно рельефную и ощутимую форму: ведь я уже видел, как выглядит смерть, когда она проносится в десяти метрах от тебя.

Истерическим голосом я приказал сворачивать в лес. Мы вовремя въехали в него. Через выбоины, по корням, через ямы мчались в глубь леса. Острым концом ветки кому-то разорвало щеку. Бенкевич был не своим голосом, и этот вой прерывался только толчками повозки.

Вскоре, однако, я остыл. Остановил повозки и приказал укрыться под деревьями. Собрав солдат, я пересчитал их: никто не сбежал. Решили перекусить. Деревенский хлеб и наш неприкосновенный запас. Затем дал команду спать.

В путь мы двинулись, лишь когда стемнело. На шоссе стало теснее. Пожары подступали все ближе. Мы миновали догоравшую деревню, в которой никто уже и не пытался гасить огонь, никто не спасал свои пожитки, даже не причитал никто: женщины и старики стояли перед своими пепелищами, онемевшие, застывшие, с сухими, невидящими глазами.

Потом проехали через разбитое местечко, миновали железнодорожную станцию: там еще пытались что-то сделать, по путям бегали солдаты с лопатами в руках, стучали молотки, покрикивали унтер-офицеры. Мои расспросы пачет полка ни к чему не привели: никто ничего не видел, не слышал.

Снова рассвет, и снова лихорадочное оживление на шоссе. Наученный горьким опытом, я теперь заблаговременно

выбрал место для дневки. Утренний переполох, начавшийся на шоссе, застал нас в надежном укрытии. Лишь издали доносились гул самолетов и грохот разрывов.

Вечером опять двинулись в путь. Через пескoлько часов нас остановили. На шоссе стояли патрули. Нас отвели к начальнику караула. Я не поверил своим глазам — это был наш полк. Какой-то поручик из резервистов, командовавший отрядом на шоссе, направил меня в штаб полка.

Я пришел в сильное возбуждение — ведь я кое-что сделал, спас часть взвода, который без меня бесследно рассеялся бы. И это придавало мне уверенности в себе. С нетерпением я ждал встречи с нашим таинственным командиром полка, чтобы сообщить ему о своем подвиге. Штаб разместился в крестьянской хате, вертевшиеся повсюду посылы и связисты создавали атмосферу деловитости и организованности. Я заважничал и никому не хотел уступить свое право первым доложить полковнику, у меня даже произошла стычка с каким-то мотоциклистом, упорно лезшим вперед меня. Мы ругались с ним несколько минут, и я уступил лишь тогда, когда он заявил, что приехал из Л. и привез срочные и очень важные бумаги.

Меня впустили сразу после него. Полковник, видно, был расстроен только что полученными сообщениями, потому что поначалу слушал мой доклад довольно рассеянно. И лишь по мере развития событий, о которых я рассказывал, у него появился интерес, он перевел взгляд на меня и больше уже не спускал с моего лица своего тяжелого, свинцового взгляда.

— Выходит, поручик Бенкевич трус и дурак? — прервал он меня усталым грудным голосом.

Я смущенно умолк.

— Послушайте, рядовой. Капитан Пусловский дезертировал, поручик Бенкевич не пригоден в командиры. Мне известно, что вы учились в школе офицеров запаса и лишь какой-то пустяк повредил вам. То, что вы совершили сейчас, отлично вас аттестует. У вас развито чувство ответственности. Вы предприимчивы и смелы. Сегодня же я отправляю в штаб дивизии представление о присвоении вам звания подпоручика. А пока примите командование ротой. Понятно?

Я стукнул каблуками. Случившееся сильно растрогало меня, мне даже показалось, что мое повышение знаменует одновременно и конец нашего безнадежного отступления.

Спокойствие и деловитость полковника внушали мне, что я наконец добрался до своей цели, что копчилось паническое бегство и началась настоящая война. Но полковник тут же рассеял эти заблуждения.

— Обстановка на нашем фронте такова, что мы должны совершить быструю и основательную перегруппировку в тыл,— говорил он лекторским тоном, как старший начальник своему молодому коллеге.— Противник форсировал Нарев, а кое-где выходит даже на Буг. Нужно оторваться от него как можно стремительнее с тем, чтобы оказать ему сопротивление на новых рубежах. Мы наделали много ошибок на Нареве, отступление было столь поспешным, что мы не успели взорвать многие мосты. Эта ошибка не должна повториться. Полк движется в тыловом охранении нашей дивизии. В нескольких километрах отсюда находится мост через Буг, единственный на десятки километров. Почти вся дивизия уже перешла по этому мосту. Через полчаса и мы выступаем. Ваша рота останется на мосту. Как только наш полк перейдет на тот берег, вы должны взорвать мост и проследить, чтобы он был уничтожен полностью. Затем вы присоединитесь к нам. Задача очень важная и непростая. Сейчас только я получил сообщение, что передовые танковые подразделения противника устремились сюда, чтобы упредить уничтожение моста. Вы должны спешить и не допустить, чтобы хоть один вражеский танк перебрался на ту сторону. Максимум через три часа от моста не должно остаться ни щепки. Рассчитываю, что вы выполните мой приказ.

— Так точно!— ответил я по-уставному.

Задание было четкое и трудное, но вполне осуществимое. А я уже не мог больше мириться с отсутствием всякой системы, организованности. Партизанщина и неразбериха первых дней войны утомили и измотали меня до предела. Теперь я, наконец, знаю, что должен делать, и знаю, что это нужно ради каких-то высоких целей, известных только полковнику.

Получил направление в роту. Так я попал на влажную лужайку, где в сумраке безлунной ночи различил бесформенное, темное скопище солдат. Объявил построение. Когда рассчитались по порядку номеров, оказалось, что вместе с моими солдатами в роте будет шестьдесят с лишним человек. Бенкевича забрали в санитарный фургон. Вскоре пришел приказ о выступлении. Мы вышли первыми.

Из темпоты вынырнули какие-то домики и сады. У моста стоял небольшой поселок. Издалека он выглядел довольно идиллически. И лишь приглядевшись внимательно, мы обнаружили, что от большинства домов остались одни остовы. По обеим сторонам улицы торчали одинокие колонны печных труб; идущие впереди солдаты то и дело натыкались на воронки от бомб, ругались и предупреждающе выкрикивали:

— Внимание, яма!

Вот наконец и мост. Я остановил роту, часть людей расположил на высоком берегу близ поселка, остальных расставил вдоль моста. Несколько саперов, выделенных полковником, немедленно приступили к минированию.

Полковник явно преувеличил, когда сказал, что дивизия уже отступила. Вот и наш полк прошел, вот уже и сам полковник, повторив мне свой приказ и подчеркнув важность полного и быстрого уничтожения моста, тоже уехал. Но все еще тянулись длинные пехотные колонны, напихованные повозками, пушками, остатки каких-то разбитых артиллерийских частей.

На мосту была ужасная толчея. Пока над нами висела почь, солдаты, сбитые в бесформенные кучи, еще сохраняли относительный порядок. На том берегу людской поток разливался, солдаты-одиночки скатывались в придорожные рвы; повозки, пушки, а иногда и случайный автомобиль ускоряли ход, унтер-офицеры пытались выстроить солдат в колонну по четыре. Словом, здесь был какой-то порядок.

Однако почь кончалась. Звезды меркли на западе одна за другой, тонули в зареве пожаров, которые теперь все время озаряли небо. Восток помутнел. На небе ни облачка. Где-то в Восточной Пруссии и в Померании на десятках аэродромов уже выкатывают из ангаров самолеты-бомбардировщики и штурмовики, механики прогревают моторы, аэродромная прислуга подвешивает бомбы, пилоты, позевывая, шагают в буфет, чтобы подкрепиться перед утренним вылетом.

А через каких-нибудь полтора часа все это обрушится на нас. Мы же совершенно беззащитны. Ну, чем помогут наши мифические истребители, старательно упрятанные, как гласит молва, в сосновых перелесках? Или единственный пулемет, выделенный полковником в мое распоряжение?

А тут еще поток отступающих. Мост гудит, ржут кони, во весь голос ругаются ездовые и капралы, благим матом вопит какой-то солдат, которому разможило ступню. С того берега несется непрерывный звук автомобильного клаксона, на который никто не обращает внимания, шофер, видно, потерял надежду, что его пропустят вперед, и нажимает на кнопку не то по забывчивости, не то из принципа.

Что здесь будет через час?

Меня бросает в дрожь. Я получил приказ, я должен его выполнить, а тут такой хаос! Не взрывать же мост, когда несколько сот человек забили его от края до края. И много ли там еще?

У меня есть лодка — жалкий челнок, впитывающий воду как губка. Приказываю Гавроту командовать солдатами, остающимися здесь, а сам — па ту сторону. Плыву под мостом, слышу, как он тяжело посапывает, как прогибается и временами потрескивает под огромной тяжестью, навалившейся на него. Прибавить еще десятка два тонн, и не придется взрывать: сам развалится.

Вот и берег. Здесь у меня оставлен пост под началом сержанта Байорека из второго взвода. Теперь он мой подчиненный. Мое необычайное повышение пришлось ему не по вкусу, это видно по его подозрительному усердию.

Река отступающих сбросила с дороги моих солдат. Сейчас они стоят двумя группками по разным сторонам предмостной насыпи и не могут даже соединиться. У въезда на мост завертелся ужасный водоворот; проклятья, плач, бессмысленные команды, кто-то подрался, кто-то вдруг выстрелил. Но и это не производит никакого впечатления.

Близится рассвет, а толчея на мосту все усиливается. Я гляжу вперед, в полумраке вырисовываются обгоревшие каркасы домов, а между ними густой, вспенившийся поток солдат.

Подбегает Байорек.

— Пан... — не знает, как титуловать меня. — Пан начальник, а если попробовать... разрезать этот... поток, прижмем штыки, выставим патруль у въезда на мост... и пускать только по четыре человека... порядок...

Я окидываю взглядом толпу. Предложение Байорека — явная провокация. Попробовал бы я втолкнуть в этот кипящий котел своих солдат со штыками, ого! Один возглас

«стой!», и нас бы в момент смели. Мне остается лишь стоять и наблюдать.

Ночь бледнеет. Теперь за десяток шагов можно разглядеть даже лица. Печальный опыт нескольких рассветов и нескольких дней оставил на них скорбный отпечаток: глаза бегают, любой гул заставляет запрокидывать головы, безотчетные, испуганные взгляды устремляются в небо.

Медленно, ужасно медленно приближаются они к нам. Это не бег, не марш, ноги тяжело отрываются от земли и снова опускаются в каких-нибудь пяти-десяти сантиметрах. Масса топчется на месте и лишь изредка метровыми бросками устремляется вперед.

То и дело кого-то выжимают из потока, он скатывается вбок. Кто-то поспешно бросается к воде — не знаю, не вижу зачем? Может, надумал перебраться вплавь. Другой садится на землю рядом с воронкой от бомбы и бессмысленно озирается по сторонам. Двое пехотинцев притащили под руки третьего. Он ранен в ногу. Подводят его ко мне.

— Под Малкиней шарахнуло его. Сюда доволокли. Через мост его не протолкнуть.

Самому раненому уже все равно.

— Да бросьте меня здесь. Где же эти санитары, сволочи? Бросьте меня, а сами сматывайтесь. Уже поздно. Все ясно. Сейчас здесь такое поднимется, что и вам не миловать того, что со мной случилось под Малкиней.

Смотрю по сторонам, ищу какую-нибудь машину. Примерно в ста метрах от моста заливается чей-то клаксон.

— Не бойся, — успокаиваю я раненого. — Сейчас посадим тебя в машину, поедешь бараном в госпиталь.

Иду на звук клаксона. Вот так удача! Санитарный автомобиль застрял в толпе пехотинцев. Впереди него два сломанных военных фургона, а позади — дышла реквизированных крестьянских телег. Офицер в чине майора вылез из машины и пронзительным голосом кричит на солдат, размахивая револьвером:

— Заткнись! С тобой офицер разговаривает, слышишь, сукин сын. Уберите к черту эти фуруды, пока не перестрелял вас! Не видишь, собака, машина санитарная...

Подхожу с двумя своими солдатами, беру под козырек.

— Майор, начальник охраны моста...

— Наконец-то! — обрадовался майор. — Что у вас за порядки: не пропускают санитарную машину! — Чувство личной обиды снова переполняет его, он опять злится. —

Что за порядки! — кричит он на меня. — Вы за это ответите. Я буду жаловаться, я из штаба армии, машина санитарная, а эти... а вы...

— Так точно, но...

— Никаких «но», машина санитарная, из штаба армии. Солдаты начинают ворчать:

— Как бы не так!

— Машина-то санитарная, а что в ней?

— Барахлишко свое вывозит!

— Знаем мы вашего брата!

— Обыскать машину, — вдруг кричит кто-то сзади.

Майор сбавляет тон. Испуганно забежали маленькие глазки. Он еще кричит на меня, но в этом крике уже сквозит испуг.

— Так точно, майор, — обрываю его, — так точно, санитарная машина немедленно пройдет через мост. Только вам придется взять раненого.

— Это еще что? — взвизгнул майор. — Машина перегружена, никаких раненых...

— Машина не перегружена, вы не врач и не раненый.

— Рядовой! — кричит на меня майор. — Как вы смеете...

— Я комендант моста.

— Ну и что из того? А я из командования армии, у меня срочное и секретное поручение штаба, а он мне...

— Все так, майор, по, может быть, найдется в машине местечко для одного раненого.

— Места нет!

Тут уж я вскипаю. Застарелый, влупенный мне в полку страх перед офицерами тает во мне как воск с каждым жарким словом. Я повышаю тон, мы кричим друг на друга, а справа и слева от нас ползет разгоряченная толпа солдат. То один, то другой останавливается, но большинство не обращает на нас никакого внимания, они возбужденно смотрят вперед, на мост и в небо.

Светает. Нужно торопиться.

— Сержант Байорек! — кричу я погромче, чтобы показаться более солидным. — Обыскать машину!

Я знаю, что Байорек стоит у меня за спиной. Однако приказ мой повисает в воздухе, а майор вместо того, чтобы взорваться, стихает и преобразается буквально на глазах.

Байорека нет как нет, но и передо мной стоит уже не вспыльчивый и властный офицер-штабник, а добродуш-

ный старший сослуживец, этаким миляга. Он подходит ко мне, оглядывается по сторонам, прикидывая на глаз, сколько солдат станут свидетелями его капитуляции, и... похлопывает меня по плечу.

— Ну, ну, молодец комендант, — приговаривает он. — Я просто хотел испытать вас. Ну, конечно, конечно же, найдется местечко. Генерал дал нам кое-какие вещички, но что такое вещи, пусть даже геперальские, по сравнению с раненым. Давайте его сюда.

Я растерялся. Не знаю, как мне отнестись к такой перемене позиций. Куда девался мой добытый таким трудом решительный тон.

Майор явно принимает мое замешательство за недоверие. Подходит к машине, открывает дверцы и преувеличенно громко говорит:

— Ну-ка передайте сюда вот те два геперальских тюка!

В машине кто-то негромко отзывается. Майор наклоняется внутрь и что-то говорит, на этот раз шепотом, хотя и со злостью.

— Не этот, — забывшись, раздраженно кричит он, — вот тот и вот ту постель.

На шоссе летят два здоровенных узла. На мгновение мне удается разглядеть сквозь дверцу хорошо одетую женщину.

Теперь я в тупике. Обещал майору пропустить его через мост, а там каша гуще прежней.

Среди солдат, потерявших надежду пробиться через мост и столпившихся у пивной, замечаю нескольких штатских.

Мудрая мысль приходит мне в голову. Подбегаю к ним и спрашиваю, нет ли поблизости другого моста. Оказывается, ближайший мост паходится в шестидесяти-семидесяти километрах, к тому же неизвестно, не взорван ли он. Зато в двадцати с небольшим километрах есть паром, пока еще действующий, именно на нем переправился здешний мельник. Дорога? Хорошая дорога, правда грунтовая. Солдаты есть и там, но движение не так, чтобы очень.

Бегу к майору и кричу издали:

— Сворачивайте!

Объясняю, что и как, а сам бегу за раненым. Машина затарахтела. Подгоняемый наступлением рассвета, помогаю двум солдатам подхватить раненого на руки, а сам побыстрее пазад.

Но что это! Стук машины усиливается, учащается и... удаляется. Бегу что есть силы, вижу, что майор дал стрелка. Но еще не верю этому. Бессмысленно кричу:

— Подождите, подождите!

Правда, я успел бы еще выстрелить, но прежде чем я осознал всю глубину подлости и выхватил револьвер, машина исчезла за поворотом, блеснув напоследок белым кузовом и красным крестом.

Непроизвольно пробегаю еще десяток шагов и остаюсь на месте недавней перебранки с майором. Солдаты проводили глазами автомобиль. Лица у них суровые. Только один ухмыляется. Это Байорек.

— Почему вы отпустили этого?..

— Не осмелился, — издевается надо мной Байорек, — не осмелился: как-никак майор.

Я порывисто оглядываюсь. Байорек считает, что понял, почему я обернулся, и с блаженной улыбкой услужливо докладывает:

— А вещички свои пан майор забрал!

От этих слов я прихожу в бешенство:

— Вы арестованы!

— За что?

— Молчать! Эй, вы! — обращаюсь к солдатам. — Отобрать у него оружие и доставить под коновое на тот берег.

Солдаты из моей роты пехотя уводят Байорска. Я шагаю за ними, неизвестно зачем сжимая в руке револьвер. До меня долетают обрывки разговоров солдат, свидетелей этого скандала.

— Санитарные машины захватывают, сукины сыны.

— А этот полную машину семьей загрузил, вдобавок еще и барахлом.

— Такому за... матрац дорожке солдата...

— Сами драпают, а мы?..

А мы? Уже утро. Вдруг я замечаю все его великолепие и весь масштаб неразберихи, творящейся на мосту. Я в ужасе. Чем могу помочь, как ускорить движение, как упорядочить отступление? У меня шумит в голове, и мне кажется, что в этом шуме я различаю звук самолета.

— Поручик! — Я невольно оборачиваюсь. Здесь ко мне еще никто так не обращался. Это те, что принесли раненого. Сам он лежит в кювете, неподвижный как покойник.

— Поручик, а может, положить его на какую-нибудь повозку и тоже — на тот паром?

Двадцать с лишком километров. Для повозки это не меньше четырех часов. Поздно. Проклятый майор! Но что делать? Здесь в любую минуту могут показаться самолеты: шоссе, мост, наверняка не пролетят мимо.

Боковой дорогой с гулом и с треском мчится галопом по булыжнику воинский обоз в несколько десятков повозок. Бросаюсь им навстречу, за мной несколько солдат со штыками наперевес.

— Стой! — кричу.

Над моей головой появляется перекошленная конская морда. Машинально замахиваюсь револьвером. Слышу удар металла по желтым зубам коня.

— Стой!

Вижу над собой бледное человеческое лицо с безумно расширенными глазами. Какой-то офицер. Молодой, крикливый.

— Ты... — и пошел, и пошел... — Убирайся, а не то...

Это начальник обоза. Побледневшими от напряжения пальцами он тянет повод, задирая морду коню, бьет его плечами по вспотевшим бокам, колотит хлыстом, но конь, наверное, не забыл ужасную боль в зубах от удара моего револьвера, он вертится, отступает, боится прыгнуть на меня, как того требует хозяин.

Повозки подкатывают галопом. Первая с разгону влетает в придорожную яму, вторая, стараясь объехать ее, цепляется колесом, судорожно дергается и тоже валится на землю под треск ломающихся досок и дикое ржание опалевших копей.

На них налетают другие. Светопреставление. Я уже ничего не слышу. Вижу только вытаращенные глаза офицера и его сверкающие зубы. Он размахивает хлыстом, норовит ударить меня по лицу, отскакивает, что-то кричит, я выставляю вперед револьвер, может быть, даже стреляю, может быть, даже попадаю в него, потому что уже не вижу перед собой его глаз, губ, натянутых, как тетива, меня крутит водоворот, образовавшийся вокруг разбитых повозок. Из этого хаоса вдруг возникают люди, один, а вот другой, он размахивает рукой, словно хочет отогнать от лица назойливую осу, и бежит ко мне — да это же кнут, обыкновенный кучерской кнут. Он размахивает им, кричит, пробегаая мимо меня, и я наконец выхватываю три слова из его бессвязной речи:

— За нами танки, тапки!..

Что-то во мне обрывается. Я уже у реки, под мостом на мирном песке лежит обветшавшая «душегубка». Вижу ее, всеми забытую, спокойную, вижу только ее, и ничего другого. Меня уже нет, остался только приказ: взорвать мост, потому что танки, вражеские танки...

Вот, наконец, и противоположный берег. О, баццлла паники уже перенеслась через реку поверх десятков сбившихся повозок, поверх толпы, лошадей, пушек, автомобилей. Солдаты бросились врассыпную, бегут. Те, что на мосту, влезают на перила, бросаются в реку, и видно, как их обмякшие, растопыренные тела плашмя плюхаются в воду, видны их высунутые из воды головы, перекошенные криком лица — но в шуме, что царит на мосту, эти крики бессмысленны, мертвы, как в немом кино.

А с неба, тоже заполненного этим беспорядочным, хаотическим шумом, начинает вдруг доноситься нечто стройное, как музыкальная мелодия. Знакомая мелодия, я уже где-то слышал ее, не помню где, но знаю, что она торжественная и грозная, неземная.

Кто-то хватает меня за плечо. Гаврот. Его тоже не узнать, он даже пачал сюсюкать по-мазурски:

— Сего стоис? Беги с моста, сдесь никому не уцелеть. Видис, самолеты...

Ах, вот что за мелодия! Мы лежим у пулемета, раскорячившегося в кучке молодых сосен. Здесь у нас минный провод. Мелодия нарастает, и с ее грозным приближением руки сами тянутся к замыкателю. Шум на мосту уже безразличен мне. Существует только этот ритмичный, все нарастающий гул.

С моста в воду посыпались люди. Показались низко летящие огромные самолеты. Как-то неуверенно валяются в воду еще несколько мешков цвета хаки, и вдруг, словно поезд, обгоняющий телегу, пролетает с воем какой-то предмет. Цепочка фонтанов и один только взрыв.

А потом второй, третий, четвертый, наперегонки друг за другом и почти одновременно. Усилием воли, которого я сам от себя не ожидал, отрываю руки и взгляд от замыкателя. Смотрю на противоположный берег. Забавная захластная пивная, вся в зеленых рекламных плакатах. Вот она еще стоит, и вот ее уже нет. Черный клуб дыма, а вот и его уже нет. Запрыгал мячиком по тихим домикам. Туда и сюда, наугад, без смысла.

Кажется, они совершенно не связаны между собой: этот метущийся по поселку клуб дыма и эти сливающиеся друг с другом разрывы. То, что я вижу, происходит за несколько сот метров от меня, в поселке, раскинувшемся амфитеатром. Зрелище странное, пожалуй даже страшное. Однако страх мой смешан с любопытством, потому что происходящее не коснулось непосредственно меня. Но звуки, взрывы проникают в меня, колотят в сердце, гудят в висках, пульс начинает биться часто и спльно, руки непроизвольно поднимаются и опускаются все резче и быстрее, кажется, еще пять-десять ударов — и я начну пзвиваться по земле, как скрученный и внезапно брошенный резиновый жгут.

Все копчается совершенно внезапно. Еще над одним домом подпрыгивает клуб дыма, но уже не опускается, а расплывается и исчезает.

И звуки разрывов убегают так же неожиданно, как пришли. Обессиленный, я лежу, ничего уже не чувствуя. Потом появилась первая пазойливая мысль: почему уцелел мост? Неумелые летчики! Так низко летели и не попали! Ба! Они нарочно сохранили его. Он им теперь пужнее, чем нам. В душе страшная смесь горечи, зависти, обиды. Я поднимаюсь с земли. Ноги подгибаются как ватные, и моими первыми пятью шагами управляет не разум, а тяжесть обмякшего тела.

Но только первые пять шагов. На шестом я прихожу в себя. Приказ. И сразу за этим — танки! Мост.

А мост — он так же, как и я, замер, застыл на минуту, а сейчас и к нему возвращается сознание. Воют кони, оставленные под бомбами, запутавшиеся в густом сплетении дышел, вожжей, спиц, решетчатых бортов. Этот истерический вой заполнил все вокруг. Но вот и люди приходят в себя. Вылезают из-под повозок: тоже нашли себе укрытие! Они текут потоком с той стороны, из местечка. Уже совершенно светло. Взошло солнце, и видно, как они выбегают из разбитых домов, выплывают из дыма пожаров, обгоняют друг друга, а у въезда на мост перестают быть солдатами и людьми и превращаются в толпу, поток, стихию.

Я должен взорвать мост. Где-то за поселком, за песчаными холмами спешат, запыхавшись, стальные гады, высунув вперед заслонявленные выстрелами хоботы пушек и пулеметов. Я, только я один могу остановить их. Никто

из тысяч столпившихся на мосту людей не может этого сделать, никому из них даже в голову не придет, что, кроме бегства, есть еще и какой-то другой выход. Нужно очистить мост. Некогда. Во время налета затор затвердел, как цемент. Уже не пройти ни одной повозке, лишь под беспокойными конскими задами проползают солдаты-одиночки с перекошенными от страха лицами. Они замечают меня и часовых. Сначала страх: боятся, что мы их задержим, потом — лютая ненависть к нам, а когда штыки охрапы размыкаются, чтобы пропустить их, — лица начинают светиться радостью и издевкой: ага, мы бежим, а вы будете стоять тут, покуда вам не свернут шею!

Мост закупорен. Через него, как сквозь фильтр, просачиваются только единицы, самые ловкие, самые решительные. И все прибывает и прибывает бесформенная лава. Каждая минута — это новая волна отступающих, каждая минута — это несколько сот метров, пройденных танками. Может быть, пизкий звук рычащих моторов уже доносится до тех, кто столпился в поселке.

Очередная пробка приближается к нам. Военский фургон. Лошади уже на шоссе, но задние колеса фургона зацепились своими ступицами за решетки крестьянских телег. Ездовой стоит во весь рост, что есть сил сечет коней бичом, дергает вожжи и от бессилия кусает губы. Кони рвутся, становятся на дыбы, напрягают свои могучие мышцы; ни шагу. К ним бросается кто-то с шоссе. Это Гаврот, его мужественное крестьянское сердце не выдержало такого издевательства над лошадьми.

— Ты... сын, ты, собачья мать, ты!..

Солдат бьет Гаврота кнутом. Тот нацеливается на него штыком, тогда солдат нагибается и выпрямляется уже с топором в руке...

Подбегая к ним. Солдат опускает занесенный над головой топор — и штык сломан, топор снова взлетает вверх, но тут уже я перехватываю топорнице у самого обуха и силой вырываю топор из рук солдата. Разъяренный, начинаю рубить все, что под руку попадет.

Удар, еще удар, третий, летят щепки, вдруг что-то хрустнуло, будто подрубили наклонившееся, готовое упасть дерево: треск, что-то падает и — пустота.

Оказывается, я перерубил дышло, и получившие внезапно свободу кони с места понеслись галопом. Ничего

еще не понимая, я смотрю на их сверкающие подковы и постепенно прихожу в себя.

— Гаврот! — кричу я.

Гаврот стоит неподалеку. Он не знает, то ли благодарить меня за спасение, то ли остерегаться, как сумасшедшего. Смотрит на меня с разинутым от страха ртом.

— Гаврот! — снова кричу я. — Собирай наших! Будем очищать мост.

Эта мысль пришла мне в голову только тогда, когда я увидел копыта лошадей, усакавших на волю. Гаврот подхватывает на лету мою мысль и, видимо, расценил мой приступ бешенства и весь этот эпизод с перерубленным дышлом как сознательное, продуманное действие. Он начинает шарить по повозкам и вскоре возвращается с несколькими топорами.

Мы с ожесточением рубим дышла, борта, доски. К нам присоединяются еще какие-то солдаты. Летят в воду отдельные колеса и колесные пары, какие-то грузы, мы врубаемся в затор, как в пущу, и вот уже метр, два, пять метров моста очищены.

Почему это не пришло мне в голову час назад? До налета? Вспыхивает злость на самого себя, но вскоре она проходит: в тот момент затор еще не был таким плотным, как сейчас, ездовые еще не потеряли надежды пробиться вместе со своими повозками и наверняка перестреляли бы нас, если не придумали бы чего-нибудь похуже.

Назначаю Гаврота начальником пад повоявленным дровосеками. А сам задумываюсь, нельзя ли сделать то же самое на противоположном берегу. Еще раз переправляюсь на «душегубке». Оставляю ее на песке под мостом, а сам избегаю паверх.

Нет, тут дело безнадежное. Тут не повозки, а людей надо рубить. Метров на двадцать мост забит солдатами, и все они остервенело прут вперед.

— Назад, сдайте назад! — кричу я.

Будто и не на них кричат, они нажимают по-прежнему, перебирая ногами на месте, и кажется им, что каждое движение тяжелого солдатского сапога — это шаг, приближающий их к противоположному берегу, к спасению.

Хватаю за плечо солдата, стоящего с краю; он поворачивает ко мне лицо с обвислой кожей. Объясняю, что нужно раскидать повозки, очистить мост, что нужно сдать немного назад, что... Он равнодушно отворачивается и сбра-

сывает со своего плеча мою руку. Разгорячившись, старуюсь втолковать ему, что тогда все пойдет гладко, что они успеют переправиться, уговариваю его как ребенка, прошу, чуть не плачу и наконец понимаю, что он меня просто не слышит, что он глух ко всему.

Отхожу в сторону. На этом месте стояла пивная, на дне воронки еще валяется полоска жести — остаток рекламного щита какого-то пивоваренного завода: упитанный пожилой господин хитро улыбается мне, подняв кружку со вспененным пивом. Охваченный внезапным порывом злости, я плюю в него и не попадаю.

Я подавлен. Не везет же мне. Эх, плюнуть бы на все, влезть в «душегубку», лечь на ее дно, пусть несет по течению. По течению на север и на запад, прямо в лапы врагу. Тапки!

— Тапки, танки! — кричит кто-то.

Поднимаю глаза. По вспаханной бомбами улице бегут солдаты. Впереди всех приземистый блондин. Лицо его покраснело, он быстро перебирает своими кривыми ногами и па бегу сбрасывает с себя все тяжелое: виштовку, вещевой мешок — и вот уже добирается до карманов.

— Тапки в поселке!

— Преследуют нас!

— Бегите!

Наконец что-то дошло и до сознания тех, что толпятся на подступах к мосту. Двумя потоками бросаются влево и вправо, а потом вниз, к реке. Этот бег так заразителен, что увлекает и меня. К «душегубке»!

Но не так это просто! Бегу вниз с насыпи, кто-то задевает меня, и мы оба сломя голову катимся вниз, а когда я останавливаюсь, зацепившись за случайный колышек, вижу, как отплывает набитая солдатами «душегубка», как медленно погружаются в воду ее тухлявые борты и как осторожно, спокойно исчезает она, а во все стороны скачут ее незадачливые пассажиры.

Другие бросаются с берега в воду. Вот один с разгопу пролетел метра два-три, исчез в воде, выпрыгнул и тут только вспомнил, что не умеет плавать. Завизжал нечеловеческим голосом, но я лишь через несколько дней во сне вспомнил его лицо с перекошенным ртом, его умоляюще протянутые руки, его крик и судорожный, последний всплеск. Чувства мои зафиксировали все это, но сознанию моему в тот миг некогда было ни осмысливать эту карти-

пу, ни сделать какие-либо выводы. Только и того, что я сдержал себя и не бросился вслед за ним в воду — я ведь тоже не умею плавать.

Стою в отчаянии. Противоположный берег. Миши. Приказ. С насыпи скатываются солдаты, сбивают меня с ног, я хватаюсь обеими руками за какую-то поперечную балку моста и, прильнув всем телом к позеленевшему мягкому дереву, выдерживаю патиск беглецов, а потом медленно карабкаюсь обратно на насыпь...

На улице новая волна паники. Из-за угла вылетает повозка с флагом Красного Креста. За ней вторая, третья, и нет им конца. Раненые. А на мосту еще довольно много солдат. Они перелезают через повозки, ползут на животах по поручням моста, балансируют на дышлах, прыгают через спины лошадей, совершая чудеса акробатики, только бы добраться на ту сторону, на шоссе. Кто-то свалился в реку, кто-то дико заорал, когда ошалелый конь схватил его за ногу своими желтыми зубами, но большинству все же удастся перебраться.

Бросаюсь вслед за ними. Но тут подъезжает обоз полевого госпиталя и останавливается. Я уже в гуще затора, но в возбужденных голосах, доносящихся сзади, звучит деловитость, с которой мне не приходилось сталкиваться в течение этих сумасшедших дней, и я оглядываюсь. Какой-то человек в штатском, солдаты с повязками санитаров. Они расталкивают толпу беглецов, слышен треск, и полуманная повозка летит в воду.

Накопец в этом безумном мире появился человек с головой на плечах. Минуту борюсь с потоком беженцев, быстро трезвею, возвращаюсь и остервенело бросаюсь очищать мост от повозок.

Штатский подходит ко мне. Он не принимает личного участия в очистке моста, а только отдает распоряжения.

— Где комендант моста?

Я краснею, мне становится стыдно, оттого что он так спокоен.

— Я комендант.

— Вы? Я начальник полевого госпиталя. Где ваши солдаты? Вот те, на том берегу?

— Так точно.

— Хорошо. Нужно торопиться. За нами идут танки.

— Где они?

— Мы видели их за поселком. Один застрял у костела, вппдо, с ним что-то случилось, стоит без движения. Держит дорогу под пулеметным обстрелом. Этим огнем убиты двое раненых из нашего госпиталя. Орудия у вас есть?

Я пожимаю плечами.

— Все попятно. Оставили вас с одними винтовками.

Он спускается на улицу, что-то говорит своим. Повозки приближаются к мосту, выстраиваются парами, ездвые соскакивают с них и пабрасываются па затор.

Работа спорится. Вот я уже вижу Гаврота и своих солдат па том берегу. Еще немного, и мост будет расчищен.

Доктор поворачивается ко мне.

— Пробирайтесь на тот берег. Здесь мы и сами управимся. Возьмите в руки своих солдат, иначе они у вас просто разбегутся, как только услышат о танках. Мост мицировап?

— Так точно.

— Ну, вот. Прошу вас держать нервы в узде. Мой обоз очень большой, сто с лишним повозок. Я переправлюсь через мост с последней из них. Думаю, что лучше пропустить один вражеский тапк, чем разорвать в клочья кого-пбудь из наших рапеных, не так ли?

Раньше его спокойный тон служил мне укором, а сейчас уже раздражает.

— Я получил приказ взорвать мост прежде, чем через него перейдет хоть один немец. Я солдат и приказ выполняю.

— Ох, уж эти приказы, приказы...

Я поворачиваюсь к нему спиной и перелезаю через остаток затора, теперь в нем каких-пбудь десять метров. Гаврот по-хозяйски покрикивает. Самых спокойных и здоровых па вид лошадей он отводит в сторону, к сосенкам, где установлен наш пулемет и куда сходятся провода мппного устройства. Там под охрапой часового уже стоят несколько лошадей.

Гаврот улыбается: будет па чем драпать. Солдат у него мало, по те, что остались, настроены решительно.

— Тороптесь, торопитесь,— кричу им.— Сейчас закончим, пропустим раненых, и до свидания!

Влезаю па перила. Первые повозки обоза уже въезжают на мост. Нас разделяет лишь здоровенный помятый грузовик, несколько поломанных повозок и три дохлые лошади.

— Грузовик, грузовик! — кричу я солдатам.

Они бросаются к нему. Автомобиль стоит поперек моста, колеса его провалились меж досок, он широк, и его с трудом может объехать крестьянская телега. Сапитары и мои солдаты пытаются приподнять бока машины — тщетно.

— Топоры!

Доктор подходит, с папукным спокойствием долго обмеряет оставшийся проход и, наконец, машет рукой первому ездому.

— Тише, тише, осторожнее! — покpикивает он, и первая повозка, проскрежастав осями по стальной оковке грузовика, протиснулась сквозь узкую горловину.

И в ту же минуту, еще не вкусив до конца радость неизмеримого облегчения, я замечаю на берегу в десятке метров от моста облачко пыли, маленькое, пепельное, похожее на мышопка. За ним второе, третье, до меня доносятся далекое педоброе кудахтанье. Пулемет! Солдаты отскакивают от грузовика и, согнувшись в три погибели, чуть ли не на четвереньках проползают вдоль перил моста, прыгают в придорожный ров и — бегут.

— Стой!

Мой окрик не производит никакого впечатления. Лишь несколько человек припикают к земле, остальные бегут, да и те, что залегли, тоже начинают потихоньку уползать.

Остался только Гаврот и тот, который сторожил коней. Я крикнул ему, чтобы увел коней за невысокий песчаный холм. Гаврот лежит меж сосенок и машет мне рукой.

— Сматываемся отсюда! — кричит он, когда я подбегаю к нему.

— Рядовой Гаврот! — восклицаю я с негодованием, прозвучавшим совершенно искренне из-за того, что я потерялся от такого предложения.

— Э,— говорит Гаврот, не обращая внимания на мой неожиданный официальный тон,— все равно нам не справиться. Это ведь танки. Что, взорвешь мост вместе с ранеными? А им не перейти моста до прихода этих... И так уж мы пасиделись в этом...

— Рядовой Гаврот! — повторяю, улегшись рядом с ним и стараясь разглядеть сквозь сосны невидимого еще врага,— мы получили приказ...

— Пошел он, этот приказ, в...

— А я по-другому понимаю.— Уж так я рассчитывал на Гаврота, и так он меня подвел, что не могу совладать со своим упрямством.— Хоть все бегите, а я останусь и приказ выполняю.

Пули свистят над нами и по сторонам, отдельные повозки с ранеными, сумевшие протиснуться через злосчастную горловину на мосту, мчатся по шоссе что есть мочи. На грузовике стоит доктор и неустанно размахивает флагом Красного Креста, будто отгоняет от своего обоза назойливых железных мух. Его смелость так раздражает меня, что я уже и сам не уверен, не взорву ли я в критическую минуту этот мост вместе с доктором, с его флагом и ранеными.

— Бежим, бежим,— бубнит Гаврот.

Я не обращаю внимания на его слова, да и сам он не предпринимает никаких практических шагов. Так же, как и я, шарит глазами по противоположному берегу, пытается увидеть танки, еще не подошедшие, но уже прижавшие нас к земле.

Повозка за повозкой проскакивает через мост и скрывается вдаль. В сознании моем медленно-медленно проплывают тяжелые, долгие минуты, заполненные свистом пуль, а танков все не видно...

Кто-то зовет меня. Доктор. Он подошел к концу моста и, не переставая размахивать флагом, кричит:

— Эй, комендант, послушайте меня!

Я поднимаю голову.

— Это стреляет тот, что стоит неисправный у костела. Хочет отогнать нас, о мосте заботится. Пока все в порядке, не отчаивайтесь.

Я свирепею...

— Бегите быстрее, взрываю мост.

— Ну-ну, без паники...

Хочется крикнуть ему что-нибудь оскорбительное, но Гаврот толкает меня в бок, глаза его устремлены на тот берег, на запад. По полю, в километре от нас, быстро движутся какие-то предметы с пёрыстыми очертаниями. Танки.

А повозки все еще движутся по мосту. Что-то стеснило мне дыхание. Вглядываюсь в лазурное, залитое солнцем поле. Грязно-зеленые коробки покачиваются, подпрыгивают, спешат. Я насчитал их пять штук. Гаврот молчит. Мельком замечаю его расширившиеся, безумные глаза и чувствую, что он меня бросит.

Такую же пару глаз вижу и на мосту. Доктор все-таки растерял свое самообладание, попускает лошадей, мечется по мосту, то и дело поглядывает в поле и, нервно потирая руки, кричит на ездовых.

Гаврот что-то бурчит.

— Чего тебе? — спрашиваю.

— Пошло оно все... Пошло оно все... Убегу, к черту, что мне здесь делать? Я ведь не офицер...

— Стреляй, Гаврот! — восклицаю я, внезапно оцепеневший надеждой. — Туда, по танкам, прицел восемьсот, очередями...

Гаврот замолкает, машинально хватается за пулемет и начинает строчить.

Но дело не в танках. Чем может пасолить им обыкновенный пулемет? Дело в Гавроте. Без него будет совсем одиноко. Без него не справлюсь. А когда есть какое-то дело, может, он и не уйдет.

Танки исчезают в лощинке. С минуту я не вижу их, но когда они появляются вновь, то кажется, что выросли вдвое. Первый пыхнул дымом, и позади нас у холма, где спрятаны лошади, раздается взрыв.

Слышно, как заржали кони. Еще выстрел. Танки торопятся и с ходу обстреливают шоссе. Руки у меня начинают дрожать. Сжимаю до боли зубы, напрягаю мышцы и тем останавливаю дрожь пальцев.

Противоположный берег окаймлен домиками, слева, на западе, они стоят пореже, вытянулись вдоль реки на несколько сот метров от моста. Танки подходят к первым домикам, видно, как они мелькают между деревцами убогих садов, как сокрушают хлипкие заборы, переваливают через грядки и ямы. Только один отстал и, не въезжая в поселок, остановился на берегу и постреливает из своей пушки. А справа от костела нас обстреливает второй танк, тот, что неисправен. Вот и лютка обоза оборвалась, падает конь, кто-то истошно кричит, доктор мечется, пригнувшись, он отбросил всякую чопорность, и в промежутках между разрывами доносится до меня его ругань и жалобные просьбы поторопиться.

С повой силой охватывают меня сомнения и беспокойство, отодвинутые было суматохой переправы и паникой. Вот оно, то, от чего бежали тысячи солдат. Вот оно, то, что я должен свершить. Не могу не думать об этом, а мысли

проносятся быстро, как удары сердца, и после них волна удушья заливает мою грудь и голову.

Где заложены мины? Мост длинный, а мы сидим в нескольких шагах от него. Если мины достаточно сильны, чтобы полностью разрушить мост, то и от нас ничего не останется.

— Где заложены мины?

Гаврот не знает. Он даже не слышит меня. Прильнул к пулемету и судорожно нажимает на спуск. Маленький железный уродец изрыгает непрерывный поток громких ударов и заглушает мой голос.

Страх. Раньше я его не замечал. Конечно, во время палетов я не владел собой, трясся, поддавался приступам испуга. Но тогда он приходил извне, от грохота взрывов, дрожания земли, фонтанов дыма. А теперь страх заполнил все мое сознание. Я не могу освободиться от мысли о безысходности, неизбежности гибели. Если мост хорошо заминирован — конец. А если совсем не минирован?..

И все же я пока не до конца осознал нависшую угрозу. Я целиком поглощен соревнованием между обозом и танками. Даже вскакиваю, позабыв о пулях, о снарядах, методично взрывающихся в нескольких десятках метров позади нас.

На мосту все еще несколько повозок. У грузовика стоит, едва держась на ногах, доктор. Вздернутые конские морды, забинтованные головы раненых, сядовые, запесшие над головой бичи.

А за мостом — те. Я их не вижу. Где они, где? Тот, что за поселком, стреляет без перерыва, но остальные? Что-то светлое, радостное мелькает в моих глазах. Может быть?..

Как бы не так! У выезда из переулка, ведущего от моста влево, падает забор, внезапно валится молодое дерево, и грязно-зеленое рыло высовывается на улицу.

Я что-то кричу и хватаюсь за ключ взрывного устройства. Полностью теряю контроль над собой. Выпученными глазами смотрю на мост и судорожно нажимаю на ключ. В это мгновение из-за грузовика выскакивает еще одна повозка, вижу юное, робкое лицо раненого — и прихожу в себя. Снимаю руку с ключа.

Теперь только понимаю, что просто струсил, и мне становится стыдно. Как можно было! Ведь я чуть не погубил тех раненых. Не знаю, откуда пришло самообладание. По-

следние полторы минуты я уже спокоен и точен. Действую быстро и четко. Почему не сработала мина? Неправильно подсоединил провода. Исправляю ошибку.

Гаврот тоже замечает танк у моста. Вскрикивает.

— Беги же, твою!.. — кричит он и гигантскими шагами убегает за холм, к лошадям.

Меня это ничуть не беспокоит. Даже головы не поворачиваю. Чувство собственной силы — вот что, оказывается, привело меня в равновесие. Тут все решаю я, в моих руках судьбы и тех и других.

Взрывы снарядов, свист пуль, и сквозь этот почти ритмичный шум доносится рев танков. Их несколько. Рев усиливается, приближается. Поднимаю голову — да, они уже на мосту.

Из-за грузовика вдруг выскакивают трое наших. Ездовой, санитар и доктор. Волокут за руки и за ноги какого-то раненого. Доктор замечает меня, лицо у него жалобное, детское, он машет рукой: теперь можно.

Я спокойно встаю во весь рост, смотрю вперед. Танки, что на мосту, остановились перед грузовиком. Из них вылезают люди, по поселку движется еще несколько стальных чудовищ. Снаряды теперь взрываются подальше: немцы боятся поразить своих. Смолк и пулемет у костела. Они теперь уверены в себе.

Да, вот перед кем бежали тысячи. А я один управляюсь с ними. Не торопясь оглядываюсь назад. Доктор и те, кто был с ним, уже вбегают в гущу деревьев. Теперь можно.

На мосту галдеж — они заметили меня. Что-то кричат, наводят на меня пистолеты, один немец соскакивает с грузовика и бежит ко мне.

Я падаю на землю, нащупываю ключ, мгновение страха — вдруг что-нибудь не в порядке? Нажимаю.

Все рушится. Я становлюсь на колени, снова выпрямляюсь и падаю назад. Восприятие непонятно обострилось — вижу все, как при замедленной съемке: мост взгорбился, дым, трескаются доски, яркий солнечный блеск — и, когда уже падаю, вижу лежащий на спине танк, тот, который как раз въезжал на мост. Он медленно сползает с насыпи во внезапно открывшуюся пропасть, еще движутся гусеницы, судорожно пытаюсь удержаться за грохочущий воздух, и вдруг все наклоняется, всплеск, шипение воды, копец.

Подобрал меня Гаврот, который все же вернулся, когда увидел, что мост взорван. А очнулся я только к вечеру, в машине полковника. Он сердечно поблагодарил меня...

II

— Где это было? — взволнованно спросил кто-то из сидевших у двери.

— На Буге. — Рассказчик явно устал, но в волнении, с каким был задан вопрос, ему, видимо, послышалось изумление и восхищение, которые были достаточной наградой и за рассказ, и за сам подвиг.

— Где, где, где? — допытывался собеседник со страстью, искренность которой уже не вызывала сомнения.

— Я ведь сказал в самом начале. На Буге это было. Что вас так взволновало? — Спокойствие и достоинство человека, с честью выполнившего свой долг, были еще невозмутимы.

— А название поселка? Наверное, В.? — Его волнение парастало и подходило к какой-то критической точке.

— А вы откуда знаете?

— Дурак! — сказал собеседник спокойным голосом, полным, однако, жалости и пренебрежения. — Дурак, но узнаешь меня?

Рассказчик молчал. Дыхание его перехватили смутные, путанные догадки.

— В чем дело? — спросил кто-то.

— В чем дело? — опять вскипел сидевший у двери. — В том дело, что он тут целый час кичился перед нами своим геройством. А до сих пор не знает, что все это значило...

Рассказчик попытался стряхнуть с себя оцепенение, спасти погибающее даже в его собственном представлении чувство подвига.

— Откуда вы меня знаете?

— Мы не знакомы. Я даже имени твоего не знаю. Но теперь я вспомнил, где слышал этот голос. Мы вместе ждали. Ты не хотел меня пропустить вперед. А все же я раньше тебя прошел к твоему полковнику...

— Связой, мотоциклист...

— Он самый...

— Из Л.?

— Эх ты, недотепа.

— Ну чего вы на него взъелись?

— А вам какое дело? Слышали, какой подвиг совершил? Герой! А знаете, зачем он это сделал? Не знаете. Он и сам не знает. Сделал то, что велели сделать. Дурак...

— Ну-ну...

— Замолчал теперь, учуял что-то неладное... Слушайте, и ты, герой, и вы все, кто за него заступается... Шли мы форсированным маршем из Л. Целая дивизия, восемнадцать тысяч человек, артиллерия, обозы... Знаете, в чем заключалась наша задача? Мощный удар с правого фланга, масса кавалерии, охват противника, рассеивание оперативных линий неприятеля, почти классические Канпы, ни больше ни меньше!.. Ну и, конечно, третьего или четвертого сентября узнаем, что слева от нас противник уже форсировал Нарев. Что делать? Командир дивизии генерал Бомба-Вислоух ждет новых приказов. Но вражеские самолеты очень скоро обнаружили расположение штаба нашей армии и несколькими налетами разогнали этот штаб на все четыре стороны. Ждем депь, второй, третий, на передовой стрельба, но всерьез никто нас не тревожит, а приказа все нет и нет! И только тогда, когда начали нас крепко пощипывать с тыла, мы поняли, что дела наши скверны. Бомба-Вислоух приказал отступать. Я был связным, на мотоцикле. Вот был марш! Этот тип уже рассказал, как все выглядело. Но ведь у него был какой-то жалкий взвод, а тут целая дивизия.

В нашем распоряжении было шоссе. Днем нужно было укрываться в кустах и перелесках. Представьте себе, километровые обозы, тысячи солдат, орудия, автомобили — все это прижималось к земле, прикидывалось мертвым и только ушами поводило от страха, когда вверху завывали эти дьявольские моторы. Жара — как в июле, пазойливый дым бог весть где горящих торфяников, перепуганные, вымершие деревеньки, песчаные бугры, чахоточные, раскоряченные сосенки, песок. По вечерам над горевшими торфяниками висело зарево, они все плотнее окружали нас, сжимали в огненном кольце. Тыловое охранение отступало с непрерывными боями, а стояло чуть двинуться главным силам, как нас тут же прижимали огнем к земле. Бомба-Вислоух перехватил какую-то радиопередачу: правительство, мол, находится в Люблине, и решил податься

туда, так как приказов все не было. А к Люблину пужно было идти через В., других мостов не было. На всякий случай выслали для связи сразу троих, все на мотоциклах. В штабе дивизии, расположенном в жалкой крестьянской хате, дрожали стекла — тыловое охранение еще вело упорные бои, но неприятельские снаряды уже долетали до штаба. Мы выскочили из кольца разрывов и на полном ходу помчались вперед. Я ехал последним, и это меня спасло, так как через полчаса, миновав тыловое охранение головного полка, мы въехали прямо в пасть вражеским танкам. Две короткие пулеметные очереди — и моих спутников как не бывало. А я тем временем успел затормозить, развернуться и умчаться назад, хотя тоже был под огнем. Предупредил наших, а чуть стемнело, снова тронулся в путь, и уж не знаю, каким чудом мне удалось проскочить. Потому, наверное, удалось, что танков впереди нас было всего-то несколько, а помимо них — вообще ничего. Целый час я мчался сломя голову, без фар, сквозь тьму египетскую, и наконец догнал отступающие подразделения. Еще через некоторое время я был в районе В. Меня проводили в штаб полка. Наш герой был уже там. Пришлось поругаться с ним, чтобы пропустил меня вперед. Уж очень важный вид был у него, теперь-то я знаю почему: шутка сказать — привел целый взвод. Я вручил полковнику пакет от Бомбы. Не знаю точно, что было в этом пакете, но наверняка что-то о предместном укреплении, об обороне, о подходе нашей дивизии. Полковник хотел дать письменный ответ, но я намекнул на возможность засады. Тогда он сказал: «Передайте генералу Бомбе-Вислоуху, что я получил приказ отступить и взорвать за собой мост, но я буду оборонять его еще один день, до вечера. Пусть генерал поспешит». В ту же ночь я вернулся в штаб дивизии. Бомба-Вислоух бросил вперед все наличные силы. Два десятка добровольцев напали на танки, застали их врасплох и уничтожили гранатами две машины, остальные танки улепетнули. Восемнадцать тысяч человек тронулись в путь. Тыловое прикрытие отчаянными, настойчивыми контратаками отбрасывало неприятеля. Остаток ночи и все утро мы двигались полным ходом. Роты шли удвоенным шагом, обозы мчались галопом, стояло замешкаться какой-нибудь повозке, как ее попросту стаскивали в кювет. Дважды атаковали нас самолеты, но теперь уже никто не обращал на них внимания, измученные

маршем подразделения лишь ускоряли шаг. В полдень дивизию атаквали с северо-запада: танки и мотопехота. Выдержали мы и этот удар — танки, правда, прорвались через наши порядки, но пехоту мы отсекали штыковыми контратаками. Дрались мы яростно и даже с каким-то подъемом: всем уже было известно о мосте, и не знаю, чего люди ждали на том берегу Буга, но каждому казалось, что стоит только перебраться через мост — и все сразу изменится. Во всяком случае, двигались мы бурным потоком, и, хотя нас преследовали с севера, хотя то и дело прощупывали с запада, мы сметали со своего пути те несколько танков, которые неведомо откуда снова и снова возникали перед нами, пытаясь остановить наше продвижение. К середине дня наш головной полк уже приближался к В. Я двигался с этим полком, показывая маршрут. Из штаба дивизии поступали сообщения одно тревожнее другого: преследовавший нас противник, не будучи в силах сломить сопротивление тылового охранения, перебросил изрядную группу танков на восток и теперь охватывал нас железным полукольцом, фланги которого вытягивались все дальше и дальше. Мы ускорили марш. Танки, вертевшиеся на нашем пути, куда-то исчезли, и вот уже два часа мы двигались со всей скоростью, на которую только способна была пехота, измученная непрерывными боями и многосуточным форсированным маршем. Я с облегчением вздохнул, когда около двух пополудни увидел остроглавый контур костела в В. Но тут снова объявились танки. Они встретили нас яростным огнем из пушек и пулеметов: две роты, брошенные в атаку, потеряли около полтора человека убитыми, падала цепь за цепью, а в бой вступали все новые и новые: ведь в нескольких стах метров был Буг, мост, противоположный берег и — отдых. И лишь когда одна из атакующих цепей все-таки добралась до первых домиков местечка, танки отступили и ушли вниз по течению реки. Я бросился к мосту...

Он умолк. Уже светало. Сентябрьское утро как-то незаметно просочилось сквозь запыленное стекло, пепельные лица выплывали из тени, усталые, с заострившимися носами, сморщенными от долгой бессонницы лбами. У человека, сидевшего около двери, только что прервавшего свой монолог, оказались беспокойные бледные губы, а глаза сидели глубоко под изгибом широких лохматых бровей. Он смотрел куда-то вдаль, нервное лицо вздрагивало от

недосказанных слов, перехвативших горло. Никому они не нужны, все безвозвратно, все кончилось, замкнулось раз и навсегда, а любые слова теряют смысл и лишь раздражают. Лицо «героя», застывшего у окна, наверное, вырисовывалось ярче всех. Я говорю «паверпос», потому что ни у кого не хватило смелости взглянуть на него.

— Да, помню, — заговорил один из пассажиров, видимо любивший ставить точки над «и». — Я перехватил тогда радиопередачу. Дивизия из Л., восемнадцать тысяч, с артиллерией, снаряжением, с гепералами — сдалась. Я не верил этому. Теперь все ясно.

— Нет, нет! — Мы не сразу узнали этот голос, прозвучавший так пискливо и безнадежно. — Только не я! Я же помню, он приказал мне сделать это немедленно после того, как перейдет наш полк, я же помню, он дважды повторил, и ни слова о вашей дивизии, об обороне до вечера, ни слова, кляпусь вам — это не я, я выполнил приказ — и только.

— И только. Дурак! Поэтому я и обозвал тебя мменно таким словом, а не как-нибудь покрепче...

— Поверьте мне...

— Герой! Ты только о себе и думаешь. Как тогда: «Я, взвод». Ты в этом деле ничего не значишь, мне даже следовало бы извиниться перед тобой — какие могут быть претензии к патрону, который стреляет, если его хорошенько стукнуть по канюлю. Дали тебе приказ — ты и выстрелил. В кого? Но полковник! Зачем ему понадобилось? Он-то зачем солгал?

— Измена? — произнес кто-то в тоне риторического вопроса.

— А как его фамилия? — спросил я.

— Зембинский.

На этом я мог бы и копчить свой рассказ. Э, нет! Это даже изменой не назовешь. Я мог бы рассказать историю группы людей, перед которыми лет двадцать тому назад неожиданно открылась перспектива ошеломляющей карьеры. Их было довольно много, и они стояли друг друга, а головокружительная тропинка не могла принять всех. Что было в них еще, кроме желания насладиться жизнью? Разве что еще более могущественная страсть приказывать, командовать, все равно кем и как, лишь бы видеть на почерпых лицах вокруг себя отражение своей воли, своих замыслов и прихотей. Они стояли друг друга, а тропинка

чем выше, тем уже. Стечение обстоятельств, случай, пропырливость, интрига — вот что решало, кому быть впереди. Сколько же неистребимой ненависти рождалось в сердце того, кто оказался на шаг, на два шага сзади! А кто тогда не поспел на какой-нибудь шаг, тот на протяжении целого двадцатилетия все больше отставал. В таком человеке рождалось чувство незаслуженной обиды, зависти, ненависти и отчаянная надежда на реванш. Зембинский и Бомба-Вислоух. Таких пар было много. Генералу с этой фаптастической, претенциозной приставкой к фамилии не известно было, кому он вручает свою судьбу военачальника, а если было бы известно, то он наверняка поступил бы иначе. Он хорошо знал себя, знал пределы своих душевных возможностей и знал, что они с Зембинским стоят друг друга. Да, он наверняка не послал бы мотоциклистов с таким отчаянным сообщением. Он предпочел бы бросить все и, переодевшись в штатское, бежать на восток или на юг через далекие мирные Карпаты.

Я ничего не сказал обо всем этом, да и зачем было рассказывать?

— Измена? — повторил наш радиолюбитель.

— Не бередите рапы,— проворчал кто-то из тех, кто молча слушал.

СВЯТАЯ ПУЛЯ

— Ничего мне не сделают, — заявил Букацкий, когда они очутились на месте.

В камере их было семнадцать, и это заявление как-то сразу отделило его от остальных. Стремился ли он к этому? Во всяком случае, делал все, чтобы подчеркнуть свою обособленность. Например, не пожелал садиться.

Они были в одиночке. До оккупации сюда иной раз помещали двоих. Теперь их семнадцать. Немцы постарались увеличить полезную площадь: выбросили нары, стол и табурет. Но сидящий человек занимает как-никак половину квадратного метра, и потому все сразу усесться не могли. Установили очередь. Когда предложили сесть Букацкому, тот окинул удивленным взглядом обратившегося к нему, потом посмотрел на затоптанный цементный пол, на свои новые темно-серые брюки и только пожал плечами.

— Оставьте его в покое, — сказал кто-то у окна. — Завтра сам попросит.

Букацкий усмехнулся, а это могло означать только одно: «Завтра я вернусь домой».

Никто с ним не спорил. Он стоял у самых дверей, тяжело переминаясь с ноги на ногу. «Ничего мне не сделают», — упрямо повторял он про себя. Ночью заметил, что это «ничего» означает для него совсем не то, что предыдущей ночью, или в момент их прихода, или когда они велели ему идти с ними. «Ничего» росло. Обыск, арест, тюрьма. Еще день назад он глубоко, твердо верил, что это невозможно. И все же с какой-то удивительной легкостью

сказал себе теперь, что все это «ничего». Таким образом, его девиз был спасен.

Перед рассветом, когда от утомления кровавый туман начал застилать глаза, Букацкий прислонился к дверям и задремал. Вдруг в полубреду ему почудилась падающая бомба, острая боль. Очнувшись, он увидел, что лежит на полу, упираясь головой в железную дверь. Прежде чем успел опомниться, дверь распахнулась. Блеснул свет, опять стало больно, кто-то дважды пнул его ногой. Он вскочил, ослепленный, жмурясь от яркого света. Дверь захлопнулась.

Букацкий присел у порога, скорее недоумевающий, чем возмущенный. Повторил машинально свое заклятие: «Ничего они мне не сделают, — и еще тише — если бывают мысли громкие и тихие — добавил, стремясь логически оправдать его: — Ведь я тоже ничего не сделал». Пипок охранника вложил новое содержание в эту формулу. Его могут арестовать, держать в тюрьме, бить. Но все это не в счет по сравнению с тем, что могли бы сделать, но не сделают. Он избегал называть это.

В течение нескольких недель положение оставалось без изменений. Падение Букацкого — известного адвоката, сотрудника гебитскомиссариата, спокойного, всеми уважаемого человека, который в один день ни с того ни с сего сделался арестантом, битым и голодным, — такое впечатление и стремительное, все-таки приостановилось. Букацкий поверил в это столь же искренне, как прежде был убежден в своей абсолютной неприкосновенности. Поэтому он стойко переносил духоту, грязь, вонявшую тряпками пищу, сон на корточках, скрючившись, пипки и затрещины охранников. Он мирился с этой конмарпой, голодной жизнью узника, ибо одно слово в этой мрачной формуле мапало, словно горячий, яркий огонек: жизнь.

В камере переговаривались. Порой спорили. Разумеется, шепотом. Кое-кто шептать умел так, словно выступал на митинге. Сперва говорили больше всего о том, что их ожидает. Рябой путеец с воспаленными глазами уверенно заявил, что всех расстреляют. Большинство возражало, ссылаясь на смехотворные, в общем, аргументы, как, например: у нас еще такого не случалось, в Варшаве — там другое дело. Путеец мрачно усмехнулся. Букацкий вознепавидел его. В дискуссиях он не участвовал, но внима-

тельно к ним прислушивался. Как юрист, он не мог взять в толк, почему никто не выдвигает такого, казалось бы, бесспорного аргумента: нам ничего не сделают, поскольку мы тоже ничего не сделали.

О путейце Букацкий думал с ненавистью: у того на-верняка совесть печиста, и теперь вина его, словно копоть, оседает на всех узниках. А немцы, как известно, мстительны.

Как-то так случилось, что постепенно беседы начали стихать, спорщики сделались неразговорчивыми, а Букацкий, напротив, все чаще ощущал потребность высказаться.

В то же время произошло несколько событий, которые, казалось, не были связаны ни с их настоящим, ни с их будущим, однако все почувствовали в них какую-то гнетущую неясность, которая нарастала, вызывая тревогу. На первый взгляд это были явления благоприятные. Где-то в середине октября заместили, что охрана перестала, как прежде, при малейшем шорохе врываться с проклятиями в камеру, чтобы чинить расправу. Путеец даже проделал опыт. Охрипшим от долгого нерешенчества голосом он произнес на всю камеру:

— Вашу мать-перемать!

Все посмотрели на дверь. Букацкий, стоявший у порога и поэтому чаще других битый, бросил гневный взгляд на путейца. Его сосед, щедедушный бухгалтер из магистрата, попытался втиснуться поглубже в гущу тел. Но никто не вошел. Путеец торжествующе расхохотался. И это тоже осталось без последствий.

Неизвестно почему, но от смеха путейца всех мороз подрал по коже. Замолчали. Полчаса спустя Букацкий, не выдержав, бросил в наполненную тревогой тишину:

— Ну и что?

Никто ему не ответил, не взглянул на него. Даже путеец с присущей ему циничной откровенностью не высказался.

Через несколько дней одного из них, а именно щедедушного бухгалтера, вызвали из камеры. Он вернулся через час, судорожно сжимая кулаки, чтобы скрыть дрожь в пальцах. Тяжело опустился на корточки возле Букацкого, только что отсидевшего свою очередь. Тот почувствовал, что и у него начинают дрожать руки. Опираясь ладоня-

ми о стену, он некоторое время пытался удержаться. Потом тяжело осел вниз и, растолкав стоявших соседей, очутился возле бухгалтера. Раздвигая головой напивавшие со всех сторон ноги, подобрался к нему, заглянул в глаза. Здесь было почти темпо. Бухгалтер, ослабевший и уже более спокойный, смотрел на него.

— Что там было?

Бухгалтер не ответил, только глянул как-то отчужденно, словно задетый бестактным вопросом. Не обращая внимания, Букацкий продолжал выпытывать настойчиво, нагло, хамски:

— Били?

Бухгалтер еле заметно покачал головой.

— Допрашивали?

Снова отрицающий поворот головы, молчаливый, исполненный обиды.

— Так что же с вами?

Прошло минут десять, а может, и больше. Наконец, словно оттаяв в этой привычной духоте после земного холодного, чистого воздуха, бухгалтер взглянул осмысленнее и зашептал:

— Не пойму, зачем вызывали. Спросили имя, фамилию, специальность. Потом велели ждать. Потом отослали назад.

— Только и всего? Чего же вы огорчаетесь? Может, выпустят. Ведь вы ничего не сделали. Как я, как все.

Бухгалтер снова умолк. И заговорил минут через пятнадцать.

Во дворе он встретил немца. Эсэсовца.

Эсэсовец стоял, широко расставив ноги, и небрежно похлопывал плеткой по голенищу. Бухгалтер, которому довелось проходить мимо него, уже втянул голову в плечи, ожидая удара. Но немец не стал бить.

— И что же?

— Нет, не ударил. И даже не выругал, даже...

Это «даже», вероятно, имело для него такой глубокий смысл, что он опять замолчал.

— И даже улыбнулся мне,— выдавил он наконец.

— В чем же дело? — поразился Букацкий.— Чего вы расстраиваетесь? Держите себя в руках. У вас нервы никуда. Какой-то фриц смерил вас презрительным взглядом победителя, и вы раскисли!

Бухгалтер отрицательно покачал головой.

— Это вовсе не было презрение. Скорее дружелюбие. И словно благодарность.

Букацкий невольно отпрянул. Сквозь внешнюю логичность разговора пробивался какой-то темный поток со своей особой, чуждой обыденному миру логикой. Букацкий ощутил это. И понял, что над всеми аргументами, которые он так упрямо выдвигал здесь, в тюрьме, нависает угроза. Букацкий пытался защищаться, силился удержать себя в кругу нормальных понятий, где дважды два — четыре и днем светло, а ночью темно. Не веря самому себе, он выговорил:

— Просто человеческий немец. Среди них такие встречаются, хотя и редко. Даже в СС. Уж я-то знаю — и по работе в гебитскомиссариате, и по многим личным знакомствам.

Бухгалтер совсем размяк, взглянул на Букацкого и уже вполне обычным голосом произнес:

— Может, вы правы. Но у меня создалось иное впечатление. Он смотрел на меня и улыбался. Тепло, дружелюбно. И все же... Нет, нет! Вы сказали — человеческий. Нет. Человек не посмотрит так на человека. Это было... Я не могу выразить. Эдак вот старый плотник, походивший долго без работы, увидит бревно и сразу же прикидывает: распилить, остругать или подтесать. И кусок дерева словно становится ему близким. Эсэсовец смотрел на меня, и, кажется, попроси я его о чем-нибудь, не отказал бы. Дал бы сигарету или хлеба. Он был мне благодарен за то, что я существую, живу, нахожусь здесь...

Букацкий не выдержал. Грозный, абсурдный и слишком логичный в своей бессмысленности подспудный поток подтачивал фундамент его морального убежища. «Ничего мне не сделают». Он вскрикнул и в испуге перешел на свистящий шепот:

— Ерунда. Ничего нам не могут сделать. Разве мы сражались? Убивали? Пускали под откос поезда? Жгли склады! Мы ничего не делали, и нам ничего не сделают...

Он тяжело поднялся с полу, посмотрел вокруг. Люди стояли понурясь, только двое или трое глянули в его сторону. Они не приняли его аргумента, такого ясного, казалось бы, абсолютно убедительного. Букацкий увидел путейца, и это лицо, отталкивающее, хмурое, вдруг заставило его прервать поток красноречия. Он запнулся и уже

не сказал, а только подумал, перейдя с множественного числа на единственное: «Ничего мне... ведь и я ничего...»

Потом его еще неоднократно прорывало — всякий раз, когда появлялись новые симптомы неизбежно приближающегося финала. Он произносил целые речи. О правовых нормах. О принципах судопроизводства. О международном праве. О войне и международном положении. Однажды, доведенный до крайности равнодушием слушателей, он принялся даже распространяться шепотом о немецкой культуре, начиная чуть ли не от Эразма Роттердамского. Но и это не произвело никакого впечатления.

В сущности, Букацкий на то и рассчитывал. Он говорил для себя. Его уверенность, поколебленная ходом событий, требовала все более прочных подпорок. Он хватался за любую.

Помогало ли ему это? В какой-то мере да. Хотя вера в магическую форму «Ничего мне...» постепенно гасла, он сумел еще несколько недель противостоять подступавшим со всех сторон мыслям о смерти. Другие поддались этим мыслям. Кто молился целыми днями. Кто плакал украдкой. Кто неотступно и лихорадочно думал о побеге. Большинство в отупении дожидалось конца, ни на что не рассчитывая, ничему не веря. А Букацкий до самого последнего дня сохранял относительную бодрость духа. Тлетворное дыхание смерти, которое поразило окружающих, словно тяжелый, парализующий наркотик, его почти не тронуло. Однако тем стремительнее поддался ему Букацкий, когда настал последний день.

Дверь камеры распахнулась. Вошел охранник и приказал всем подняться. В коридоре против камеры стоял какой-то штатский. Скучающим голосом он спросил, кто из них говорит по-немецки. Букацкий с готовностью подался вперед. Штатский холодно взглянул на него, произнес несколько фраз и велел перевести. Смысл был прост: все заключенные совершили тяжкие преступления, подрывающие престиж Германии. Тем не менее немецкий народ предоставляет им возможность исправиться. А именно: они будут работать на благо немецкого народа. Послушные могут рассчитывать на милосердие. Те же, кто попытается бежать или проявит хотя бы малейшую непокорность, будут уничтожены.

Букацкий переводил это, поглядывая по сторонам с видом победителя. Вопреки всем он прав. Он даже не заметил, что эти слова подрывают самую суть его формулы: «Ничего мне... ведь и я ничего». Не предпосылки бросались в глаза, а вывод. Итак, тяжелые каторжные работы. Но... не то, о чем думали все. Он опять побоялся даже про себя произнести то слово.

Их вывели из камеры. В молчалии, парами они шли по тюремному коридору. Охранники с автоматами па груди сповали вокруг, словно овчарки при стаде баранов. Скрипели двери, новые группы выходили из других камер. Во дворе стояли огромные грузовики.

День был холодный. В камере тоже царил холод, застоявшийся, вопочий, гнилой, как позеленевшая вода в луже. От него спасались, прижимаясь друг к другу, втягивая головы в плечи. А тут каждый встретил стужу один на один. Низко нависли облака. Над землей клубился туман, мелкие ледяные капельки оседали на небритых лицах, отвыкших от умываний. Сначала они как будто бодрили, но вскоре от их прикосновения стало бросать в озноб. Стуча зубами, дрожа всем телом, люди неуклюже карабкались на высокие борта грузовиков.

В каждую машину набивали по сорок человек и больше. Спрессованные, как табачные листья, они стоя дожидались отъезда. Двое охранников, усевшись на крыше кабины, навели на них автоматы. Двое других устроились сзади, прикладами отодвинув на метр от себя арестантов. Ворота распахнулись, взревел мотор, поехали.

Букацкий, еще ошеломленный радостной вестью, которую принес штатский, жадно упивался видом города. Как после долгой болезни, с обостренным ощущением познаны он рассматривал главную улицу, сбегавшую вниз прямой асфальтированной лентой, настолько знакомую, что он мог бы по ней пройти с закрытыми глазами,— небольшие особняки, церковь в обрамлении тополей, рынок. Только тут он ощутил легкую дрожь и отвернулся. Слева была площадь. Ему не хотелось смотреть туда. Там немцы поставили виселицу.

Миновали ярко-красный, псевдоготического стиля, костел, проехали мост и железнодорожные пути. Грузовик на секунду остановился, и Букацкий вдруг почувствовал, что его кто-то осторожно толкает сзади коленом. Хотел

обернуться — толкнули сильнее, предостерегающе. Послышался чей-то шепот:

— Надо бежать. Нас везут на Бялую.

Оторопелый, ничего не понимающий, он попытался увидеть говорящего. Краем глаза заметил рябоватую щеку. Путеец. Букацкого мороз пробрал по коже — он и сам не знал почему, то ли из-за соседства неприятного ему человека, то ли из-за ясного, но зловещего смысла его слов. На Бялую, так что же?

Путеец не спорил. Он шепнул еще раз: «Беги!» — так тихо, что Букацкий скорее почувствовал, чем услышал. Потом медленно, осторожно начал протискиваться к борту. Грузовик тронулся, круто сворачивая вправо; людей качнуло, и путеец, воспользовавшись этим, оказался у борта. Мгновение он стоял, оглядывая домишки, руины, оголенные по-осеннему деревья. И вдруг спрыгнул вниз, крикнув:

— Разбегайся, везут на убой!

Крик этот мигом взбудоражил ословевших арестантов. Несколько человек скользнули на землю. Спереди и сзади прерывисто затрещали автоматы, огненной, свистящей завесой свинца отрезая остальных от земли. Усатый арестант, всего на секунду опоздавший принять решение, попытался выскочить и, изрешеченный на лету пулями, тяжело рухнул на землю. Те, первые, бежали теперь, низко пригнувшись. Слева было небольшое кладбище. Путеец в несколько прыжков достиг ограды, юркнул в пролом. Автоматная очередь прозвенела по каменным надгробьям. Больше его никто не видел. Может, он и спасся. Другие попадали на улице, у заборов. Задние грузовики тоже остановились. Несколько конвоиров, спрыгнув на мостовую, замесались с автоматами наизготовку. В окне углового дома показалась женщина. Заавелело разбитое стекло — лицо исчезло, опрокинулась чахлая герань.

Выскочил еще один, перемахнул с поразительной быстротой высокий забор и скрылся из глаз.

Все это заняло полминуты. Пронзительно взвизгнул свисток. Запыхавшиеся конвоиры вернулись к машинам. Колонна тронулась. Трупы остались на улице.

Только теперь к Букацкому подобралось отчаяние. Услыхав стрельбу, он от неожиданности присел на корточки. Автоматная очередь, настигшая усатого, просвистела так близко, что, казалось, обожгла и ему щеку. Ко-

гда машина тронулась, он понял, что был на волосок от смерти. Эта мысль пастолько ошеломила его, что он не смог встать. Так и сидел на полу раскачивающегося кузова, то и дело ударяясь о колени соседей.

Его мозг, парализованный внезапным происшествием, снова заработал. Букацкий представил себе ужасные последствия, которые повлечет за собой поступок путейца. Немцы мстительны. За побег они могут расстрелять остальных. Могут? Нет, наверняка расстреляют! Он почувствовал, как холодеют губы. С трудом поднялся. Зрачки расширились, и серый ноябрьский день показался необыкновенно ярким, красочным.

Придя к последнему, такому простому выводу, лихорадочно работавшая мысль как бы остановилась. Букацкий уже ни о чем не думал. Не чувствовал неприязни к путейцу. Не помышлял о спасении. Стоял и смотрел, и грязная, подернутая туманом улица преображалась в его сознании в нечто прекрасное, единственное, вечное.

Кончились домишки. Показалась ограда из колючей проволоки. Дальше — неглубокий овражек с обрывистыми склонами. Длинное приземистое здание из желтого кирпича. Какие-то строения...

Въехали в ворота. Часовой взглянул на них и оскалил зубы. Возможно, это была улыбка.

Возле здания грузовик остановился. Приказали слезать. Рядом зияла глубокая яма, и выброшенная с ее дна размытая дождем глина прилипала к подошвам.

Подъехали еще три машины. Конвоиры согнали всех в кучу. Снова появился знакомый уже штатский. Увидал Букацкого и велел ему переводить.

— Кое-кто из преступников пытался бежать. Они заплатились за это жизнью. Есть подозрение, что они были в сговоре с остальными. В сущности, следовало бы всех казнить. Но германская империя милосердна.

Тут Букацкий запнулся и сделал паузу. Но штатский гневно глянул.

— Итак, остальные отправятся на работу. Предварительно они должны помыться в бане (жест в сторону приземистого здания). Раздеваться — там (жест в сторону дощатой будки). И никаких глупостей, ибо тогда уже нечего рассчитывать на наше великодушие.

Конвоиры подскочили к толпе. Несколькими умелыми ударами прикладов рассредоточили ее и, наконец, пре-

вратили в некое подобие колонны по двое. Приказали идти.

Букацкий оказался в паре с тщедушным бухгалтером. Сейчас он шагал безотчетно счастливый. Эта болтанка между жизнью и смертью лишила его способности к какой бы то ни было умственной деятельности. Он сознавал только, что живет. Возвращение к жизни пробудило забытые несколько минут назад навыки. Он шел по грязи, машинально стараясь не пачкать ботинок. Даже почувствовал холод.

Будка была тесной и грязной. В нее загнали человек двадцать. Остальных повели дальше. Этим, в будке, велели раздеться догола.

Бухгалтер что-то бормотал себе под нос. Люди неторопливо снимали рваную и замызганную в тюрьме одежду. Конвоир заглянул в будку и крикнул, чтобы поторопливались.

Несколько недель никто не разувался, и поэтому снять ботинки стоило большого труда. Люди стопали. Вдруг кто-то начал вполголоса молиться. Букацкий задрожал. Вглянулся на молящегося. Что с ним случилось? Неужели...

Бухгалтер разделся первым. У него были острые сутулые плечи и бесформенный морщинистый живот. Он переступил с ноги на ногу, зашишел от холода, тело покрылось фиолетовыми точками гусиной кожи. В нетерпении он выглянул во двор.

И вдруг отпрянул с криком:

— Это он!

Никто не понял, кем был этот «он». Но всем стало ясно, что за этим кроется. Это было непостижимо, чудовищно: ни возгласа, ни стопа. На мгновение все замерли, глядя на бухгалтера. Потом, не говоря ни слова, принялись расшнуровывать ботинки, стягивать кальсоны, сбрасывать пиджаки. Наркотик смерти порастил их еще в камере, и речь, пять минут назад произнесенная штатским, была излишней. Кто устоял, тот погиб или бежал с путейцем. Один только Букацкий, поддавшись какому-то отчаянному любопытству, выглянул из дверей во двор. Судя по возгласу бухгалтера, он подсознательно предполагал увидеть — кто его знает? — смерть с косой, дьявола, каких-нибудь чудовищ. И, как это ни дико, почувствовал разочарование. По двору сповали конвоиры, несколько военных, тот штатский, кто-то в мундире СС. Штатский

распекал конвоиров — вероятно, за путейца, грозил судом. Трое военных, стоя возле ямы, спорили, «хватит ли». И Букацкому эта картина показалась такой будничной, прямо-таки нагоняющей скуку. В сердцах он обернулся к бухгалтеру, как тогда в камере, потребовал ответа:

— Кто?

Бухгалтер еще минуту боролся с приступом слабости. Потом черты лица его необычно обострились. Наконец, словно решившись, процедил сквозь зубы:

— Тот из тюрьмы. Ну, тот, что улыбался. Эсэсовец. Но я ему...

Букацкий не успел опомниться. Дверь открылась. Заглянул конвоир. Ничего не сказал. Сделал знак рукой: «Выходи».

Арестанты толпились в дверях, нагие, грязные, продрогшие и в то же время обливающиеся потом. Секунду-другую никто не решался выйти первым. Вдруг вперед пробрался пожилой человек с заросшей грудью. Близость смерти придавала ему смелости. Он усмехнулся и небрежно бросил:

— Вы слишком долго церемонитесь, господа. Разрешите, людей моего возраста полагается пропускать вне очереди.

Он отстранил стоявших рядом и вышел. Раздался окрик охранника:

— Бегом!

Выскочил второй. Букацкого подтолкнули. Он увидел охранников и солдат, выстроившихся двумя редкими цепями. Не в баню вела эта шпалера. А напрямик к яме.

Первый опередил остальных на несколько шагов. Подгоняемые криками и ударами резиновых дубинок, все кинулись вслед за ним. Впереди Букацкого трусил тщедушный бухгалтер. У него были короткие ноги, и, вероятно, за последние тридцать лет он не пробежал и десятка шагов. Букацкий, который плелся за ним и получал посто-му больше всех ударов, злобно шептал:

— Быстрее, быстрее!

Первый подбежал к яме, остановился было, но тут же полстел вниз от удара кого-то из немцев. Бухгалтер вдруг ускорил шаг. Крикнул: «Я тебе...» — растолкал опешивших конвоиров и вырвался из оцепления на свободное пространство, где спокойно расхаживал с автоматом на груди единственный здесь эсэсовец. Еще секунда — и бух-

галтер возле него, с забавной неловкостью подпрыгивает и рукой, привыкшей к косточкам счетов, бьет эсэсовца в лицо.

Букацкий видит, как на бухгалтера набрасываются солдаты. Охранники поворачивают дула автоматов. Вот и яма. Глубина ее пугает. Букацкий инстинктивно останавливается на краю. Слышит первый выстрел и прыгает вниз. На какую-то долю секунды яма кажется спасением от смерти.

На дне глинистая жижа. Ноги вязнут в ней выше щиколоток. Туловище по инерции резко кидает вперед. Букацкий вопит от внезапной нестерпимой боли. Лопаются сухожилия стоп, намертво схваченных глиной.

Сверху падают другие. Летят раскорячившись, задыхаясь, тяжело плюхаются в жижу — навзничь, на живот. Кто-то ударяется о стенку ямы, скатывается по ней, как мешок, и падает с ободранным в кровь лицом.

Букацкий отползает в дальний угол, боясь, что кто-нибудь угодит ногами ему в голову. Наверху раздается какой-то резкий возглас. Короткий перестук автомата.

Больше никто не прыгает. Над ямой появляется штатский. По-хозяйски оглядывает извивающихся в жидкой глине грязные нагие тела. Оборачивается, кого-то зовет. Подходит эсэсовец. У него уже не прежний спокойный, скучающий вид. Он разъярен. Шмыгает разбитым носом, капля крови алеет на верхней губе.

Штатский делает жест: «Прошу, ваше слово». Эсэсовец перехватывает автомат и, как дворник, поливающий улицу из шланга, дает очередь.

Букацкий видит, как подскакивает человек с волосатой грудью. Что-то брызгает ему в глаза. Кто-то вопит, кто-то кидается в сторону.

Значит, это смерть? Такая простая, грязная, будничная! Смерть?

Тут его охватывает животный страх. Теперь он ни о чем не думает. Чудовищный в своей примитивности инстинкт, несомненно такой же, что и у простейших ракообразных, амфибий или актиний, овладевает хилым телом Букацкого, приказывает ему, толкает его — куда, зачем? Инстинкт слеп: заставляет втиснуться в глину под коченеющие трупы.

Облепленный мокрой глиной, затаив дыхание, он лежит здесь в ожидании, что вот-вот... какая-нибудь пуля

пробьет ему кожу, ворвется внутрь, заденет сердце — и конец, какая-то космическая катастрофа, непостижимая в своей нелепости. Но проходит секунда, две, десять. Ему становится нечем дышать, он приподнимает голову, чтобы выпростать рот из глины, и жадно глотает холодный смрадный воздух. Еще минута. Пули нет.

Значит, спасен? Теперь ему доступны только два ощущения: панический ужас перед смертью и нечто этому противоположное.

Значит, уцелел? Букацкий прислушался. Что там наверху? Звезды, бескопечно далекие, ноябрьские облака, повисшие на высоте нескольких сот метров, и край ямы всего в пяти метрах — теперь это для него одно: верх.

Слышатся какие-то крики. На фоне облаков появляется лицо эсэсовца, и Букацкий инстинктивно, словно пойманный жук-щелкунчик, притворяется убитым, закрывает глаза. Снова крик, и чье-то тело грузно плюхается в яму. Валится новая партия. Кто-то падает на него. Букацкий вопит от боли и тут же умолкает, чтобы его не заметили.

Опять он корчится от страха: сейчас будут стрелять. Зарывается в грязь под трупами, зажмуривается и — то ли прося пощады, то ли чтобы не слышать стрельбы — начинает молиться: «Святой боже, всемогущий, бессмертный, пресвятая дева Мария, святой Иосиф!»

Упавший на него подпрыгивает и бьется в предсмертных судорогах, что-то горячее течет по руке Букацкого — кровь. Снова тишина. Значит, опять уцелел? Он подымает голову, не веря своему, пожалуй, самому удивительному на свете счастью! Значит, он существует, он жив!

Дно уже завалено трупами. Местами они громоздятся друг на друга. В углу хрипит умирающий. Розовые пузыри пенятся на его губах, две тонкие струйки бегут изо рта по щекам.

Опять крики. Опять прыгают. Опять будут стрелять. Букацкий зажимает уши и еще глубже влезает под неостывшие трупы. И, словно ободренный двукратным спасением, принимается громко звать: «Святой Антоний, святая Ядвига!» — только бы не слышать автомата.

Не услышал. Уцелел. Это повторялось еще несколько раз. Он почувствовал тяжесть лежавших на нем трупов. В сдавленной груди не хватало воздуха. Он был почти в безопасности под этим завалом. И тут ему суждено было перенести самую страшную муку.

Он понял, что это был не какой-нибудь случайный промах. Автоматная пуля не пробьет несколько тел, лежавших на нем. Мертвецы его защитят.

Мысль, подполяемая животным страхом, лихорадочно заработала.

Что же дальше?

Почему он не сошел с ума? Почему судорожные приступы страха не помutilи окончательно его рассудок?

Дальше... Дальше... Ясно, что будет дальше. Непостижимо жуткая смерть заживо погребенного.

Букацкий вдруг отчетливо представил себе, что его ожидает. И понял: спасти его может только то, чего он больше всего боялся. Автомат. Пуля.

Он приподнялся на руках. И снова упал, придавленный тяжестью трупов, отделяющих его от спасения. Крикнул: «Я здесь, стреляйте!» — и понял, что это бесполезно. Он стал выползать, лавируя среди трупов, скользких от крови и глины. Безжизненные, но еще не окоченевшие тела удавалось сдвинуть с дороги. Через несколько минут он высунул из-под них голову и снова крикнул.

Эсэсовец стоял на краю ямы. По-прежнему спокойный: в будничной для него стрельбе забылся инцидент с бухгалтером. Он услышал крик Букацкого, глянул на него и равнодушно отвернулся.

Новая группа, новая очередь. Эсэсовец сменил обойму, услужливо поданную кем-то из охранников. Слова взглянул на Букацкого. Увидел, что тот жив, и с удивлением, не лишенным сочувствия, поднял брови.

Так началась забава. Падали все новые трупы, раздавались новые очереди, эсэсовец менял обоймы, а Букацкий оставался невредим. Немец умышленно оберегал его. Подопли еще несколько немцев. Они быстро смекнули, в чем дело, и подобострастно заулыбались. Щедро посыпались одобрительные реплики.

А Букацкий буйствовал. Он упрямо вылезал из-под каждой новой партии расстрелянных, более живой, чем прежде. Вдруг он понял, что эсэсовец забавляется. Просил его, умолял. Воил. Проклинал. Молился. Спасительное безумие начало наконец темной ценой окутывать его сознание. Слова путались. Он кричал: «Дай мне пулю!» Молился: «Святой Иосиф! Пошли мне смерть!» Наконец он принялся звать уже каким-то нечеловеческим голосом:

— Святая пуля! Святая пуля!

Эсэсовец долго берег его. Потом, раздосадованный слишком примитивными комплиментами столпившихся вокруг охранников, которые наперебой восхищались его остроумием и изобретательностью, передернул брезгливо плечами и назло им всадил дюжину пуль в разинутый рот Букацкого. И хотя в этот миг им не руководили никакие гуманные соображения, объективно это, несомненно, было само милосердие. И как милосердие ему зачтется.

НАЧАЛО ЭПОСА

Юзефу Собесяку этот бледный пересказ его повествования посвящает

автор

Юзефяк попал в это местечко в начале июля.

Отчасти причиной тому была паника, охватившая Ковель в первый же день, в то погожее воскресенье. Впрочем, у самого Юзефяка после сентября и памятного маршрута Варшава — Люблин — Ковель были основания недолюбливать авиацию. Он работал в железнодорожных мастерских и, когда завывали сирены, решил побыстрее сменить род занятий и место жительства.

Местечко было захудалое. Сотня-другая халуп, карабкавшихся вместе с садами и амбарами с бугра на бугор, церквушка да пять еврейских лавчонок. Была еще волостная управа, лесопилка и — черт ее знает, откуда она тут взялась и зачем, — крошечная типография с запасом литер не богаче, чем в детских наборах, содержащих по пяти каучуковых «а», четыре «z» и по одному «а» и «е». В этой типографии и работал Юзефяк.

Собственно, трудно это было назвать работой. Когда он попал в местечко, его пустил к себе переночевать чудаковатый полуукраинец, полубелорус Хилимоньчик, владелец типографии. Юзефяк остался у него, по утрам захаживал в сумрачное помещение, где у окна стояли две наборные кассы. Времени у него было хоть отбавляй. Он порывался в черных, стершихся лигерах, а потом не без труда принялся набирать. При этом неторопливо что-то бормотал себе под нос. Выудил «д». Потом долго искал «у». Набрал слово «дурак». Тиснул с размаху на клочке бумаги и обрадовался как дитя, увидев отпечатанное слово. Взялся за свою фамилию и спустя полчаса тискал, пока не надоело: «дурак Юзефяк».

Столь суровое мнение о себе самом частично отражало его тогдашнее состояние духа. Был он молодым парнем,

смессарем высокого разряда. Веселый, компанейский, любил гулянки, задумчивые песни. Но пришли времена, когда стало не до песен. А что их должно было заменить, он не знал. И поэтому отпосился к себе критически.

С этого все началось. В углу стоял дряхлый тискальный станок. Когда заняла рука от выстукивания обидных слов в свой собственный и хозяйский адрес, принялся копаться в машине. Через несколько часов она со скрежетом и стоном заработала.

Теперь было уже все — и время, и шрифт, и станок. Что же дальше? Об этом позаботились немцы.

Была осень сорок первого года. Волна пемецкого наступления прокатилась и хлынула на восток. Местечко лежало на отшибе, у южной границы Полесья. Для немцев тут не было ничего интересного, и они сюда не топились. В июле наведалься какой-то разъезд, пристрелил случайно подвернувшегося сврея, назначил украинца Дикого волостным старшиной и отбыл.

Но в октябре административный аппарат гитлеровцев стал налаживаться. В уездном центре, такой же дыре, как и это местечко, начали формировать полицию. Поползли неопределенные слухи о гестапо. В соседнем уезде началась реквизиция хлеба и скота. Люди не очень-то представляли, что им делать. Дикий собирал вокруг себя отпеченных головорезов. Пять еврейских семейств отсиживались по домам, стараясь не показываться днем на улице, а по ночам пробирались украдкой к соседям. Местные жители их не трогали, а головорезы Дикого пока ограничивались угрозами и оскорблениями.

Случилось это внезапно. Утром Хилимоньчик буркнул Юзефяку, что якобы приехало пятеро немцев. Тот свистнул и пошел в типографию, отказавшись от прогулки по местечку. В полдень услышал какие-то крики. Глянул в окно, увидал беготню возле церкви. Соседка влетела к ним во двор с криком:

— Евреев бьют!

Юзефяк выглянул в окно.

— Кто?

— Немцы.

Он сплюнул, вернулся в хату. Хилимоньчик сидел за бутылкой самогона. Они пили до самого вечера, закусывая, по мере того как иссякали домашние припасы, колбасой, капустой, луком, просто черным хлебом. Словно уговари-

лись: не выходить из дома, не смотреть в окно, не заговаривать об этом. Хилимоньчик когда-то, лет двадцать пять тому назад, был баптистом. С тех пор у него осталась неприязнь к шумным сборищам, ссорам и дракам. Юзефяк, напротив, любил драки и частенько в них участвовал. Был он очень сильный и некогда, в школе, считался первым драчуном. Но был он слишком силен, чтобы обижать малышей. Среди школьников всегда найдется хотя бы один, чье тщеславие подымается до вершин альтруизма, когда больше радости доставляет защита слабых, нежели подавление их своей силой.

Тем острее переживал он теперь свою беспомощность. Особенно дожимала его мысль о том, что сейчас, вероятно, толкают и пишают ногами детей, ни в чем не повинных детей, захлебывающихся слезами. С трудом принуждал себя к психической самозащите: раз ничем нельзя помочь, так и думать об этом печего.

Самогон в подобных случаях помогает. Они пили. И всякий раз после глотка смрадной сивухи наступал момент, когда невыносимая атмосфера вдруг исчезала, дышалось легче и даже запущенная халупа вдовца Хилимоньчика казалась уютной. В сумерках хозяин припился рассказывать, какой хорошей женщиной была его давно скопчавшаяся жена. Юзефяк горячо поддакивал, словно знал ее с детства. И ему прямо-таки до слез сделалось жалко сиротской доли Хилимоньчика. Где-то далеко мычали возвращающиеся домой коровы. Глухо грохнуло несколько выстрелов. На минуту они прервали беседу и снова наполнили стаканы.

Вечером забежала та же соседка. Она задыхалась — то ли от беготни по хатам, то ли изнемогая от новостей, которые старательно разносила.

— Пьете, голубчики. А их-то перебили.

Юзефяк злобно выругался: пастырная баба напомнила именно о том, что они упорно и не без успеха отгоняли с помощью самогона. Соседка, удивленная холодным приемом ее сенсационного сообщения, повторила:

— Да, перебили подчистую.

Они не сразу поняли новый смысл этого глагола, который начинал здесь властвовать одновременно с немцами. Их скорее удивила интонация соседки.

— Да, да. Из винтовок. Ох и крику было. Ох и слез! И всех подряд. И детей, и баб. И старого Менделя! — Не

зная, как они примут это известие, она осторожничала, избегала оценок, подчеркивала лишь страшное значение своих слов, переводя взгляд с одного на другого, доиспываясь сочувствия.

Юзефяк постепенно трезвел. Улестучивалась растроганность, просыхали глаза. Соседка ушла, не дождавшись от них ни слова в ответ. Только тогда Юзефяк встал, отшвырнул пипком табуретку, хлопнул дверью.

Была уже ночь, темная, сумрачная. Из леса тянуло теплым ветерком. Местечко молчало, непостижимо спокойное. Ни крика, ни голоса. И новость, вытолкнувшая его на улицу, утратила свое правдоподобие, стала выветриваться, как хмель, а тот снова ударил в голову.

Подошел к церкви. Все как будто оставалось на своих местах. Вот халупа старого Менделя. Окна целы, крыльцо цело. Только дверь словно бы приоткрыта.

Юзефяк остановился, раздумывая, не войти ли. Мендель по почам никогда не отлучался, он был стар, прожил здесь шестьдесят лет и верил в прочность своей репутации доброго кузнеца. Мендель окончательно опровергнет бабьи сплетни.

Юзефяк толкнул дверь. Было темно, и в темноте кто-то заметался возле печки, прошептал встревоженно:

— Кто там?

— А ты кто? — неуверенно пробормотал Юзефяк.

Кто-то уже спокойнее ответил из-за печки:

— Свой, свой. Заходи, поделимся.

Юзефяк все понял. Соседка была права. Ничего не сказал. Шагнул к печке. И, вероятно, молчание его или поступь были достаточно красноречивы, ибо голос за печкой захныкал, второях путая два мотива:

— Побили их. Чего ж добру пропадать. Всех побили. Все равно растащат. Даже старого Менделя. Лучше уж я, бедняк, попользуюсь...

Юзефяк стоял, словно захлестнутый чем-то невообразимо мерзким и удушливым. Тот занял снова, открывшее:

— Тут уже побывали. Дикий и его хлопцы. Но еще кое-что осталось. Перила...

Юзефяк что-то задел коленом, нащупал табуретку и, швырнув ее вслепую, угодил в окно. Голос за печкой подавился, забормотал нечленораздельно.

Юзефяк хлопнул дверью, покачиваясь, снова пьяный до тошноты, двинулся к дому.

Почему эти евреи так его затропули? Любил ли он их вообще? Знал ли здешних? Он пробыл в местечке несколько месяцев и ни с одним не разговаривал. Слышал, что Борух мошепничал, а старый Мендель был порядочным человеком, что внучка портного Левинсона была красавица, а жепа Боруха — косая. Так что из этого?

Его раздражала извечная еврейская суетливость. Но отвращение к убийству, словно разверзшаяся бездна, отделяла Юзефяка от убийц. Убить невинных — на это может решиться лишь какая-то бесчеловечная, темная сила.

А значит — твоя судьба, твои даже самые мелкие житейские планы в любую минуту могут — по ее воле — пойти прахом, исчезнуть, обратиться во зло тебе, выйти боком. Это значит — нет смысла помышлять о будущем, к чему-то стремиться. Чего ради? Задумал что-нибудь на завтра, а это нечто возьми да нагрянь... Разве ему объяснишь? Разве его убедишь? Разве против него устоишь? Ведь это не просто сила, вдобавок она и бесчеловечная.

Не так это просто укладывалось в сознании Юзефяка. Какая-то картина всплыла в памяти, четкая и красноречивая, и, как бы подхлестнутое ею, учащенно забилося сердце, пагнетая кровь, от которой темнело в глазах, закладывало уши и нервно дрожали пальцы.

Может, покориться этой силе? Может, упасть, прижаться к земле, чтобы железные ступни тебя не тронули и не растоптали? Может, попроситься к ней в услужение? Ей нужна верная стража.

Нужны палачи. Юзефяк сплюнул.

Ребенок. За что можно убить ребенка?

Он едва плелся. Ночь дышала ему в лицо болотной гнилью. Осень и ночь — до чего же они сродни той силе, что прокатилась тут лавиной, сметая все, а теперь заливают землю. Что может противопоставить ей человек?

Да будет проклят злодей, приказавший убить ребенка. И тот, кто хотя бы мысленно считает это допустимым. И трижды да будет проклят тот, кто это допустит, тот, кто этому не воспротивится.

А как воспротивишься?

Хилимоньчик еще сидел, прислонясь к стене, красноносый, подслеповатый. Его лохматая голова была велико-

вата для тщедушного тельца. Он не оторвал взгляда от грязного угла возле окошка; выпили молча.

На следующее утро Юзефяк совершил такое, чего ни прежде, ни впоследствии с ним не случалось. Написал стихи. Овладело им странное волнение. Вдруг даже показалось, что вот-вот расплачется. Он сидел в типографии у окна и царапал карандашом на обрезке голубой афиши, которую Хилимончик печатал когда-то для передвижного кинематографа. Буквы были кривобокне, слова — неуклюжие, рифмы — скверные, хотя, когда с трудом их придумывал, казались великолепными. Смысл был довольно туманный. Речь шла об осени, которая наступила, по которую непременно сменит весна. Так не будем же терять надежды и засучим рукава. Это должно было означать, что немцы не вечны.

Целый день он набирал эти пять или шесть куплетов. Работу закончил, когда уже снова смеркалось. Вышел на улицу с удивительно острым чувством облегчения.словно чего-то достиг, словно ценой величайшего усилия чуть отдернул завесу ночи. Его сердце, исполненное радости и отзывчивости, было распахнуто навстречу людям.

На улице он увидел тщедушного подростка, который степенно шагал в сторону церкви. Юзефяк остановился. Подросток подошел, учтиво приподнял потрепанную шапочку, спросил по-украински что-то насчет столовой.

Юзефяка поразила вопрос. Столовая? В такой дыре? Однако он испытывал большой подъем, чтобы этот нелепый вопрос заслонил от него существо дела. Парнишка был вежлив, однако очень голоден и совершенно истощен. Юзефяк отвел его в хату, сварил картошки, попросил у соседки пару яиц. Возбуждение, которое сопровождало созданию стихов, вдохновляло его теперь на возню с этим скитальцем-малолеткой.

Звали парнишку Колькой, и родом он был из-под Киева. Родителей убили немцы, когда брали село. Колька отправился на поиски дяди, у которого где-то в здешних краях, в селе Тростянец, было богатое хозяйство. Шел пешком, иногда удавалось пристроиться на подводу, питался Христовым именем. Тулупчик, который был на нем, у него отняли, тридцать рублей — тоже отобрали.

Это был короткий эпизод. На следующий день Юзефяк

посадил Кольку на телегу, направлявшуюся в уездный центр: дорога туда шла через Тростяпец. И забыл о нем. Лишь какая-то светлая полоска мелькала в сознании всякий раз, когда вспоминал тот день и свое первое, единственное стихотворение.

Вся эта история была странной, несопоставимой с пагромаждением чудовищных событий. В тот момент, когда, выражаясь патетически, решалась судьба земного шара, в крошечном местечке, затеряншемся среди полесских чащоб, за тысячу километров от фронта, какой-то чудак, один как перст, своими корявыми виршами бросал вызов могучей германской империи. Что путного могло из этого получиться?

Юзефяк об этом не думал. Отпечатал около сотни экземпляров своего стихотворения. Сузил кое-кому под дверь. Кружил по базарной площади, подбрасывал листки в крестьянские кошелки, в мешки с овсом и сеном. Начал подыскивать людей, которые бы, подобно ему, возможно, решились что-либо делать.

Но в ту пору их почти не было, особенно в таком захолустье, как это местечко. Слишком потрясли всех немецкие победы. Почти у каждого человека имеются хотя бы в минимальной дозе какие-то свои, более или менее политические воззрения и оценки. Но, пожалуй, один из тысячи принимает свои взгляды так близко к сердцу, чтобы они коренным образом влияли на его образ жизни. Многие ли даже из этих «политиканов» способны посвятить свою жизнь борьбе с какой-либо силой в тот период, когда все знамения земные и небесные гласят о том, что она неизбежна?

Короче говоря, все старания Юзефяка найти сообщников оказались тщетными. Он добился лишь того, что устроил как-то в воскресенье у местного учителя холостяцкую вечеринку. Пригласил механика с лесопилки, почтальона. У хозяина с приходом немцев оказалась масса свободного времени, ибо школу закрыли. Потолковали за стаканом самогона, обходя скользкие темы. Учитель был крайне подавлен. Немцы лишили его работы, и немцы были непобедимы. Механик утверждал, что следует держаться и выдерживать. А покудова трудиться и зарабатывать. Почтальон помалкивал.

После второго стакана Юзефяк решился прочесть им свое стихотворение. Выслушали, сдержанно поддакивая.

С той поры они встречались каждую субботу или каждое воскресенье, выпивали и судачили. Осень все больше давала о себе знать. Хаты в местечке разбухли от сырости, почернели. Ежедневно с запада набегали торопливые, растрепанные дождевые облака, заслоняли более высокие, висевшие уже многие недели, хлестал, становясь все холоднее и упрямее, дождь. Ветер злобно раскачивал деревья, приносил из леса и палеплял на стекла бурые, желтые и рыжие листья. Бабы не ходили по грибы. Говорили с мрачным кокетством, что боятся могил убитых евреев. Дороги раскисли окончательно. Было сумрачно даже в полдень.

Местечко прибрал к рукам Дикий. Это была своеобразная историческая достопримечательность. Двадцать с лишком лет тому назад был он у Петлюры и выслужил там лычки сотника или какого-то другого, не менее экзотичного чина. Потом стал дьяконом и все польское двадцатилетие промолчился в церквушке. После воссоединения Западной Украины он демонстративно, при народе, сорвал с себя рясу и даже попытался растоптать иконы, показывая тем самым, что прозрел, понял тщету религии и желает начать новую, активную жизнь. Довольно легко занял пост в одной из многочисленных организаций с названиями, оканчивающимися на «сбыт» или «торг». Приход пенцев способствовал его очередной, не менее головокружительной метаморфозе. Дикий снова раздирал одежды, хотя уже только в переносном смысле, произносил речи и собственноручно избил до крови дочку кузнеца Менделя, демонстрируя таким образом свое окончательное идейное преобразование. Назначенный волостным старшиной, собрал дюжину головорезов, раздобыл для них оружие, начал создавать полицию. Задача оказалась сложной. Трудно было найти путь к темному сознанию головорезов. Украина — соборная, самостийная и державная, такая и сякая — не обладала сама по себе особой притягательной силой, впрочем, инструкции из волостного центра были туманны и противоречивы. Вначале некоторое непродолжительное время о самостийной звонили во все колокола, а затем слово это было предусмотрительно изъято из обращения. Дикий был неглуп. В этом непостижимом мире легче было пробавляться, прибегая к «анти». Изъяв соборную, он подпадал на антисемитизм. Приучал своих головорезов непа-

видеть евреев, как натаскивают своих охотничьих собак, чтобы те приносили подстреленных уток.

Как это ни странно, но антисемитизмом головорезы пропитались по-настоящему лишь после того, как с евреями было покопчено. Тут они обрели размах. Была в этом заслуга и немцев, и самого Дикого. Прибытие немецкого разезда помогло им нащупать почву под ногами. Вместе с приезжими гитлеровцами они взялись вылавливать евреев. Дикий предложил, а фельдфебель с этим согласился, чтобы местная полиция приняла активное участие в расправе. Потом повел их по еврейским домам, где они все перевернули вверх дном, а вещи поценнее — присвоили.

Только этот шаг поставил Дикого на ноги. Он проявил глубокую государственную мудрость, достойную истинно фашистского администратора. Как часто фашизм являет собой лишь вывернутые наизнапку естественные закопомерности. Совместно пролитая кровь одинаково спланивает как тех, кто пролил кровь собственную, так и тех, кто проливал кровь чужую. «Ветераны» Дикого, участвовавшие в убийстве евреев, стали ближе друг другу в той мере, в какой они почувствовали себя отдалившимися от людей обыкновенных. Участие в грабеже обогатило их материальными благами, необходимыми для того, чтобы возвыситься над остальными в бытовом плане. Теперь у них было, на что выменивать самогон и сало, а в наши славные времена большего и не надо, чтобы почувствовать себя счастливым. Может, еще немного успеха у женщин, немного права кричать на других, пазываемого властью.

Юзефяк явно недооценивал Дикого. В маленьком сухом старичке более двадцати лет таилась жажда власти и ненависть ко всем, кто лишил его власти в ту минуту, когда он едва успел ее вкусить. Наученный многолетним ожиданием, Дикий и теперь, когда наконец почувствовал себя в своей стихии, не спешил раскрывать карты и показывать когти. Неделю-другую присматривался к Юзефяку, достаточно скрытно, чтобы тот ничего не заподозрил. Против него не имелось никаких улик. Однако изощренный нюх предостерегал Дикого. Слишком обычным, слишком человеческим был взгляд Юзефяка, когда они случайно встречались на улице. «Ты убивал и грабил,— прочел в этом взгляде Дикий,— и ты помечен тавром гибели не только своих жертв, но и собственной». За этим кры-

лась какая-то огромная враждебная сила, которая стояла у него поперек дороги.

Такова странная механика жизни и борьбы. Если бы Дикий хотя бы на мгновение проник в душу Юзефяка и его глазами взглянул на мир! Та поздняя осень и ранняя зима были для Юзефяка самым тяжким, самым беспросветным периодом. Он был совсем один. Все его друзья и знакомые еще по мирному времени, из мастерских, где он работал, исчезли бесследно. Что ему оставалось делать? В волостном правлении иногда расклеивали триумфальные сообщения с фронтов. Немцы всюду продвигались вперед. Юзефяк нашел против этого одно средство: не читать, не слушать, не думать о войне. Слабое это было средство. Встречал Дикого и думал: «Я бессилен». А тот, обходя его стороной, думал: «С этим надо держать ухо востро».

Возможно, это ощущение беспомощности подтолкнуло Юзефяка на следующий шаг. Он пабрал три слова: «Немец — это враг». Потом поразмыслил и добавил: «...после евреев примутся за нас». Это звучало убедительно. Ну и что из этого? В порыве отчаянья опроверг свои собственные опасения и неверие. «Немец проиграет». И наконец ухватился за единственно конкретную и общедоступную формулировку: «Не давайте ему хлеба!» Отпечатал все это на обрезках афиш и слова кружил по базару.

Трудно сказать, какое влияние оказали эти листки на хлебозаготовки. Но во время своих хождений по базарной площади он нашел одного или двух парней, которые, не отделиваясь оговорками или вздохами, подобно учителю, механику или почтальону, взяли у него немного бумажек для распространения в своих деревнях.

Зима началась внезапно и преждевременно. Как-то ночью облака расступились, пригоршня звезд глянула с огромной высоты, к утру ударили заморозки, а потом вдруг повалил снег. Несколько суток завывала мстель, а когда наконец показалось солнце, зима вступила в свои права.

В первое же зимнее воскресенье, раздосадованный вялостью своих собутыльников, Юзефяк сделал чуть ли не доклад о международном положении. Он был красноречив, повторялся, злоупотреблял такими мусорными словами, как «значит», «примерно» и т. д. Зато взор пылал. Ярко-голубые, глубоко посаженные глаза его светились верой в то, что говорил. И удивительнее всего было то, что глаза эти лгали. Он говорил, что немцы проиграют войну — к то-

му же скоро. Это была ложь. Не было у него никаких доказательств. Но ложь была только кажущейся. Он чувствовал, что иначе нельзя. Он бы сражался и в том случае, если бы не было никаких шансов на победу. А слушатели? Им следовало помочь обрести хоть какую-нибудь зацепку.

И поэтому Юзефяк говорил о зиме, о том, что советские войска не разбиты, а только отступают, говорил об Англии, об Америке. Взывал к национальным чувствам. Указывал на историю с евреями: нас ждет то же самое, а может и похуже — пожизненное рабство. В Ганевичах убили учителя за то, что не снял шапку перед немцем. Погодите, и за нас возьмутся.

Слушатели вздыхали. С ним соглашались — а как же. Однако вздыхали. Порывистый механик чаще других опорожнял стакан. Учитель протирал очки. Почтальон вежливо поддакивал.

Солнце уже цеплялось за макушки леса, когда явились двое неожиданных гостей. Молодые ребята со спортивной выправкой, разбитные, красивые. Сын механика с приятелем. Присели, малость робея, степенно осушили по полному стакану. Только от них он и дождался поддержки. Сын механика вскоре принялся убеждать:

— В лес надо! Хватит выжидать!

Приятель ему вторил, папаше даже пришлось их одергивать.

Этот взрыв юношеского энтузиазма удивительным образом прервал течение беседы. Ничего уже не клеилось, и Юзефяк отказался от запланированных им практических выводов. Со старшими решил порвать, а с молодежью потолковать отдельно.

Старшие тоже были сыты по горло этим невинным по существу знакомством. Горячие выступления обоих парней обнаружили перед ними со всей очевидностью, к чему клонит этот разговорчивый человек. Это было уже слишком. Ведь именно тогда снова появились тревожные слухи о каком-то грозном учреждении, именуемом «гестапо». Тут арестовали одного, там — другого. Поговаривали о перебитых ногах, о людях, затоптанных насмерть. К чему им все это?

Они были правы, безусловно правы.

Как-то в декабре, направляясь после скудного обеда в типографию, Юзефяк услышал, как в сенях стукнула щекотка, и увидел трех молодых Дикого.

— Пан Юзефяк?

Он не боялся. Большинство людей утверждают, что «не боятся». И разумеется, лгут. Страх — чувство слишком многогранное, многослойное. Все мы боимся, каждый день, только возбудители наших повседневных страхов ничтожны, зачастую надуманны, обычно условны. Мы опасаемся за свою карьеру, успех, благополучие. Многовековая цивилизация сгладила первобытную подошвку этого чувства. И только война, только пемцы вернули ему его истинный смысл, обнаружили его трехступенчатую структуру: пемволя, боль, смерть. Свободный боится заточенья, узник — побоев, битый — смерти. Но если этот последний возбудитель не в счет — страху не за что зацепиться в человеческой душе.

Именно так п было с Юзефяком. Чем привлекала его жизнь? Еще не было видно ни единого проблеска. Он испытывал парализующее омерзение от одной только мысли, что всю жизнь пришлось бы прозябать под пятой оккупантов и Диких. Сам он еще слишком мало совершил, чтобы его останавливало хотя бы любопытство к технической стороне дела: что же, собственно, из моей работы получится? Семьи у него не было.

Разумеется, боли он боялся. Но раз уж попал в руки к Дикому, живым от них выйти не падеялся. А когда самый бойкий из молодцев втокнул его в холодную при волостном правлении и замахнулся на него прикладом, Юзефяк, с искаженным от ярости лицом, не отпрянул, а, напротив, шагнул к нему и прохрипел:

— Слушай, если ударишь, то... — и показал свой увесистый кулак.

Молодец остановил приклад в воздухе. Задумался. Но разум его был неповоротлив, а тело — вялое. Запемела рука, вскинувшая винтовку. Медленно опустил ее. Юзефяк помог ему, уже более спокойный, почти умиротворенный явным доказательством своего превосходства, сказал:

— Твое дело меня стеречь. Мое дело сидеть. Но если тронешь... то... понятно? Погибну, но спуска не дам. Ясно?

Молодцы потоптались на месте. Они еще недостаточно стажировались у немцев. Один буркнул беззлобно:

— Пес с ним, пошли.

Теперь у него нашлось время поразмыслить. В чем загвоздка? Кто его выдал? Обнаружено ли происхождение листовок? Проговорился ли кто-нибудь из участников вечера? Может, те двое, деревенские?

И еще: каковы планы Дикого? Пустит ли в расход на месте? Или передаст немцам? Что им известно о нем, Юзефяке?

Наконец: есть ли шансы на побег? Может, вообще не стоит пытаться?

Первый вопрос, как и следовало ожидать, остался без ответа. На два последующих был только один ответ: надо постараться, чтобы отправили в уезд, к немцам, и по дороге...

Холодная помещалась при волостном правлении. Метр в ширину и метра три в длину. Окошко достаточно велико, чтобы пролезла рука, но для головы маловато. До войны здесь запирали на предмет вытрезвления наиболее выдающихся местных пьяниц. Дверь выходила в коридор, охраняемый молодцем. Дальше были просторные сени, заменяющие холл. Там же помещались апартаменты Дикого.

Для размышлений времени было предостаточно. Дикий отрабатывал на нем свои, еще несовершенные, полицейские приемы. Интуиция прирожденной ищейки подсказывала ему, что главное — заставить арестованного чуточку понервничать в ожидании допроса. И хоть самого томило безделье и зевал от скуки до звопа в ушах — он ждал, выдерживая двенадцать часов, ровно столько, сколько предварительно запланировал.

Сначала эта попытка подействовала на Юзефяка довольно ощутимо. «Сидел» он впервые. Предаваться раздумьям не любил. Невозможность хоть что-либо предпринять для решения дел, в которых был особенно заинтересован, будоражила кровь, доводила до белого каления. А дела второстепенные попросту нагоняли скуку.

К счастью, он случайно открыл способ, начисто перечеркивающий хитроумные планы Дикого. Начал думать о побеге. Побег — это лес. Лес — это грибы. Когда-то он очень любил их собирать. В лесу на берегах Турии полно черноголовых боровиков, зеленеет мох с коричневыми зернышками на тоненьких, как волоски, ножках, а из-под него выглядывает такой крупный, осанистый грибок. Значит, надо пошарить вокруг: боровики не растут в одиночку. Мох жесткий, сыроватый. Ага, вот и другой; невидимый, но ощутимый под ладонью. Этаким плотный бугорок. Юзефяк осторожно срывает мох, но вместо белого, еще сморщенного гриба видит только заваливающую, бирюзовую от плесени еловую шишку. Отшвыривает ее в сердцах.

Словом, из двенадцати часов, уготованных ему Диким, дабы он размяк от раздумий и волнений, Юзефяк десять с лишком часов проспал на жестких нарах, подложив под голову массивную руку с черными еще от типографской краски ногтями.

Молодец провел его по коридору. Была уже ночь, посреди волостного «холла» чадил фитилек в консервной банке.

Дикий восседал в кабинете старосты. Лампа с зеленым абажуром была установлена так, чтобы свет падал на лицо допрашиваемого, его же собственную физиономию превращала почти в маску мертвеца с глубокими черно-зелеными глазницами. По-стариковски тонкие губы были поджаты с наигранной жестокостью. Глазки прищурены. Жиденькая борода торчала, задранная вверх, седовато-бурая, растрепанная.

Юзефяк предстал перед ним, высокий, слегка сутулый. Руки положил на край стола. Дикий сморщил курносый нос, молча пошевелил губами. Лампа пискнула.

— За что меня арестовали? — наконец буркнул Юзефяк.

— Садитесь.

Только сейчас Дикий спохватился, что у него нет плана. Что делать с этим верзилой? Глядел на его руки, и грубая сила Юзефяка, от которой, казалось, распирало кожу и даже трескались ногти, а на суставах пальцев образовались массивные желваки, — эта сила начала подсказывать Дикому любопытную идею.

— Не имеете права... — У Юзефяка тоже не было плана, и за неимением лучшего он решил помолчать.

— Что вы делаете в нашем местечке?

— Работаю.

— Откуда взялись?

— С неба свалился. — Юзефяк рубил с плеча. Физическая немощь Дикого бесила его. Покошил на лампу. Может...

— Отвечайте, если вас вежливо спрашивают. К чему нам ссориться? Откуда...

— Ну, приехал. Работал у кузнеца, на железной дороге...

— Почему вы не любите пемцев?

— А чего ради... то есть, кто вам это сказал?

— Значит, это правда?

— Неправда.

— Значит, вы любите немцев?

— Ни да ни нет. Они мне безразличны.

— Почему вы лжете?

Они посмотрели друг на друга. Юзефяк злобно. Дикий почти ласково. Приятно чувствовать превосходство над физической силой.

— Я вам скажу. Мы одни и можем быть откровенны. Вы не любите немцев. А почему, собственно, вы обязаны их любить? Я тоже не люблю...— Он взглянул точно с просьбой: откровенничая, доверяюсь тебе, оцени это.— Но немцы — это реальность. Вам может не нравиться выпеченный день, эта зима. Но день от этого не изменится и зима не превратится в весну. Верно?

Дикий покачал головой, сожалея о недоверчивости Юзефяка.

— Я многое о вас знаю. Вы тут ходите, болтаете...— Он испытующе глянул на Юзефяка, почувствовал облегчение и на всякий случай добавил неопределенно: — И еще кое-чем занимаетесь. У вас тут есть друзья. Вы совершили уже добрый десяток проступков, за которые немцы рассчитываются очень просто, вам это известно?

— Знаю, знаю, не пугайте.

— Так что же мне с вами делать?

Лампа, заправленная скверным бензином, пищала. В «холле» отчаянно зевнул молодец. Трижды звякнуло оконное стекло, вторя далеким выстрелам.

— Отдать вас немцам,— не дождался ответа Дикий.— Обречь на верную смерть, так, что ли?

Юзефяк пожал плечами.

— Или отпустить? Отпустить, верно?

Только тут в его болтовне появилась какая-то зацепка. Топ Дикого был таким естественным, таким благожелательным, что Юзефяк почти уверовал в возможность подобного исхода. Не поддакнул, не кивнул головой, только по глазам прочел Дикий: да, такое решение было бы правильным.

— Ну, вот видите. Я вас отпущу. А люди начнут болтать. В гестапо на меня пожалуются. А вы снова за свое возьметесь. Может, и новое что-либо придумаете. И меня... за вас...

Дикий почти всхлипнул от жалости к самому себе. Юзефяк по-прежнему молчал, но теперь это обрело уже иной

смысл. Дикий добился своего, овладел если не душой собеседника, то по крайней мере его вниманием. И осторожно двинулся дальше.

— Зачем вы распускаете язык? Для кого стараетесь? За что жизнью рискуете? Жизнь — вам этого не понять, вы молоды, — жизнью! Ради этой голытьбы. — Кивнул в сторону окна. — Вы знаете, что это за люди?

Выдержал риторическую паузу.

— Люди — это дерьмо... Извините, но такова правда. Вы тут ходите, растолковываете, призываете, будите. А кто-то бежит к нам и за десять марок все выкладывает! За десять марок, поскольку па табак ему потребовалось. Таковы люди.

Теперь они смотрели друг другу в глаза. Красноватые белки Дикого, заслоненные мутной зеленой абажура, казались жалкими, усталыми, старческими. Трудно было устоять против их беспомощности.

— Я стар. — Дикий чувствовал весомость этого козыря. — Много повидал. Человек — существо грязное, злобное, эгоистичное. Когда сыт — можно с ним разговаривать. Но стоит ему хотя бы на минуту ощутить нехватку в чем-либо — готов на все. И знаете, что представляет единственную ценность в этом мире? Сила. Люди цепят только силу, и только силой можно их чему-нибудь научить. Только силой можно скотов превратить в людей. Ох, не скоро. Потребуется десятилетия, века. Бить, бить, избивать, резать. Может, чему-нибудь научатся.

Этот глагол пробудил в Юзефяке какое-то пересхватывающее горло воспоминание. Ему вдруг померещилось, что комната вдруг стала больше — такую дистанцию он ощутил между собой и собеседником. И Дикий заметил — и все понял. Он был слишком умен для этого захолустья.

— Вы думаете об этих, об евреях. Да. Их убили. Мы убили.

Несколько секунд помолчал.

— Я не люблю немцев. Я сказал это не для красного словца. В самом деле. Но ценю их. Они знают, что такое сила. Им чужды нелепые предрассудки. Евреев убили. Почему? Просто кого-то надо было убить. Если бы не было евреев, убили бы кого-нибудь другого. Рыжих, конопатых — безразлично. Но убить требовалось. Чтобы скоты познали страх. И чтобы скоты возрадовались, что не их убивают.

Тут он затропул мысли, особенно ему дорогие, дал волю своим страстям. Заговорил торопливо, глухо, глаза превратились в щелочки.

— Слишком мало было пролито крови. Человечество разъелось, обленилось. Кровь. Кровь нам лучший учитель. Кнут и кровь. Не было счастья, не было радости. Кровь — это счастье. Для сильных — устраивать кровопускание. Для слабых — уберечься от него.

Дикий перевел дух. Он уже не смотрел в глаза собеседника.

— Нет никакого равенства. Это вздор. Один высокий, другой низкий. Один слаб, другой силен. Один умен, другой глуп. Нет и не может быть равенства. И вся жизнь — борьба. И если слабых не вырезать — облепят пас, расплодятся, удушат. Должен быть господин и должен быть слуга. Прежде сильные пападали на слабых и превращали их в рабов. Потом пачались разговоры о равенстве. А теперь — снова...

Юзефяк слушал это словоизвержение с удивлением, лишенным любопытства. Его захлестывало не словами, а яростью собеседника. Он понимал слова, но они словно отскакивали от него — чуждые, не находящие отзвука в душе. Терпение Юзефяка иссякло. Стул под ним скрипнул.

— Зачем я это вам говорю? Вы сильный человек. Вы не созданы для прислужничества. Возможно, не догадываетесь об этом. А я знаю... Вы должны пойти с нами.

Выпалил эту фразу и даже подался вперед, чтобы удостовериться — попал ли в точку? И для пущей важности добавил:

— С нами. Или погибнуть.

Был в этих рассуждениях педюжинный размах. Но Дикий слишком много о себе воображал. Зарвался, полагая себя знатоком человеческих душ. Недооценил колорита всей сцены. Умозрительные построения, к которым он прибегал, требовали большой начитанности, чтобы их оценили по достоинству. Во-вторых, слишком доверительным, почти дружеским был тон всего разговора, чтобы Юзефяк осознал реальность конечной альтернативы. Погибнуть? Это выглядело слишком абстрактно, попросту как риторическая фигура после откровенных и сердечных излияний Дикого.

Но не это оказалось решающим. Юзефяк мотнул головой, как бы страхивая словесную шелуху, которой осыпал

его собеседник. Постепенно в его сознании проявлялась картина, возникала из воспоминаний, затуманенных неустанным трепом Дикого. Теперь она встала перед ним — отчетливая, чудовищная, лишающая покоя.

Дикий молчал, уже заметив, что остался в проигрыше, доискивался причин и готовил новую атаку. Но прежде чем нашел лазейку, у Юзефяка наконец созрело нужное слово.

— Детей за что?.. — начал он и осекся.

Ярость подняла его со стула. Он склонился над столом, серые волосы рассыпались по лбу. Вскинул руку. Дикий вдруг вскочил, опрокинул стул, рывкнул:

— Васыль!

Но, еще крича, сообразил, что это излишне. Юзефяк выпрямился, улыбаясь, пригладил волосы. Крик начисто развеял душную и искусственную атмосферу разговора, вернул истинные масштабы событиям, поставил обоих действующих лиц на свои места. Слово и вовсе не было откровений, уговоров, а только сухой, официальный допрос. И чтобы подчиненный не догадался о подлинной причине крика, чтобы уберечься в глазах молодцев от подозрения в трусости, Дикий тем равнодушнее, с наигранной неприужденностью махнул рукой.

— Увести его в камеру.

Получилось так, как мечтал Юзефяк: Дикий отправил его в уезд.

Прежде всего как подношение. Деревенский рыбак самую крупную щуку всегда относил господам.

Кроме того, для пущей уверенности. Можно было убить его на месте. Дикий имел на это право, хотя бы по той простой причине, что никто и никогда не стал бы о Юзефяке спрашивать. И это было бы даже поучительно для молодцев. Как в анатомическом театре. Они бы познакомились с «техпикой» допроса. В какой момент копчаться «будьте любезны» и начинается мордобой. Куда лучше бить. Как подольше сохранять душевное равновесие и не срываться, а только хладнокровно, хладнокровно... А кроме того — заключительный аккорд, выстрел — благодеяние. Лишь тот, кто способен оказать его, может быть полноценным стражем «нового порядка».

Дикий прекрасно это понимал. Однако не был вполне уверен в своих хлопцах. С евреями они справились, может, потому, что это были евреи, а может, и оттого, что были с ними немцы. И какого-нибудь слезливого замухрышку наверняка бы тоже ликвиднули. Но этого верзилу? Дикий заметил, как тот своим мрачным взглядом удерживал молодцев на приличном расстоянии. Культи силы, провозглашаемый Диким, получал здесь неожиданное применение.

Подвергнуть риску психического шока того или иного из своей гвардии? Через годок ничего подобного не будет и в помине. Но ведь это через годок...

Дикий ограничился тем, что уже перед самой отправкой велел препроводить Юзефяка в «холл». Вся полиция была на месте. Дикий стал перед ее замершим строем, маленький, тощий, на голову ниже своих молодцев.

— Ну, как, ясновельможный пан?

Юзефяк был в отменном настроении. Мечты его как будто сбывались. Санки стояли на декабрьском солнце, от лошадок валил пар. Путешествие в уезд становилось реальностью. Он не уловил смысла этого праздного вопроса и беззлобно глянул на Дикого.

— Ну, как, ясновельможный пан? Хороша украинская земля?

И это ничего не прояснило. Юзефяк не имел ничего общего с «ясновельможным барством» и слова эти воспринял как свидетельство того, что и у властелина местечка отменное настроение. Случайное совпадение двух отменных настроений вызвало у него даже некое подобие улыбки.

Дикого взорвало. Он прочел пространную лекцию своим молодцам, уже по-украински. Надлежало, чтобы они убедились воочию, сколь изворотливы, подлы, вероломны все поляки. Например, вот этот: жил здесь, ел наш хлеб и наше сало и устраивал заговоры против могучего и дружественного рейха, чтобы вернуть владычество жидо-поляко-большевиков. Но тщетны — и т. д. Карающая десница — и т. д. Короче говоря, эти шесть карающих десниц должны крепко держать его за шиворот всю дорогу, дабы он целый и невредимый попал к немцам и понес заслуженное наказание.

Урок национального самосознания был закончен. Юзефяк выслушал его еще со следами той улыбки, чтобы

скрыть свою оплошность, хоть это и давалось нелегко. Как известно, грубые выпады против любого народа — наилучший способ пробудить в его сынах чувство обостренной национальпой гордости.

Дикий видел эту улыбку. И ему захотелось оскорбить Юзефяка еще сильнее, глубже, задеть за живое, поразить в самое чувствительное место.

— Польши пикогда не будет! — рявкнул он. И, поскольку это прозвучало слишком голословно, добавил: — Все поляки продажны. Знаешь, кто тебя заложил? Свой же, поляк. За пачку махорки!

Умолк, спохватившись, что проболтался. Но вспомнил, что для арестованного сочтены, и уточнил:

— Тот, мальчишка! Который предлагал в лес податься. Таковы все поляки.

Дикий сплюнул. Отвернулся, презрительно махнул рукой.

Сани были высокие и щедро набитые сеном. Солнце уже цеплялось за колокольню церквушки, и, пока рассаживались, пока молодцы кутали ноги полами тулупов, пока тронулись, успели в тени продрогнуть. Ночью обещал ударить лютый мороз.

Тронулись, выехали на солнце. Заболели глаза, какая-то пепароком подвернувшаяся ветка запорошила им лица голубоватым пшесом. Выдохшееся солнце стояло уже пизко. Даже эта мелкая рысца сводила на нет его едва заметное тепло.

Местечко осталось позади. Справа и слева, примерно в километре от большака, тянулся бескрайний сосняк. Его синеватая зелень заставила Юзефяка встряхнуться от тяжело пережитой обиды, доселе неведомой, глубокой и всепоглощающей, от стыда, что он и сосняк, якобы рвавшийся «в лес», говорят на одном и том же языке, роднящем их в глазах других людей. Беспорядочные, униительные эмоции улетучились, осталась только мысль: «В лес. Сейчас же».

С этим «сейчас же» он явно пересаливал. Лес был чересчур далеко. Пробежать среди бела дня с километр, проваливаясь по колено, а то и по пояс в сыпучий, еще не слежавшийся снег — являя собой на ослепительном белом фоне равнины единственное темное пятно, — это означало создать идеальные условия молодцам для отработки ведения огня с дистанции от двадцати до ста метров по не сли-

шком подвижной цели. Они были вооружены, винтовки держали под рукой и всячески их пестовали. Еще не приелась им полицейская служба.

Лес неторопливо тек по обеим сторонам дороги. Порой какая-нибудь резвая рощица, вытягиваясь длинным выступом, подбегала так близко к обочине, что можно было различить крайние плечистые приземистые сосенки с пучками иголок, опущенными снегом. Эти были опаснее всего. Юзефяк сердито от них отворачивался, сопел, тер немеющий нос, чтобы отогнать соблазн.

Другая затея овладела им так, что чесались руки и сводило мускулы от нетерпенья. Их трое — против одного. Возница сидит к нему спиной. Ладони супул в рукава, вожжи зажал под мышкой, винтовку торчком воткнул в сено. Этот в первые секунды не в счет. Сани узкие, все четверо разместились друг за дружкой. Двое, собственно стражники, сидели к нему лицом. Спереди и сзади. Винтовки держали наготове.

Может, вытолкнуть последнего, внезапным ударом сбросить на снег, сцепиться со вторым. Схватить за горло. Прежде чем сани остановятся, может, успеет вырвать винтовку, возницу — прикладом по голове, коней в галоп и...

Но неизвестно почему — передумал. Это был наиболее подходящий для него план. Тут требовались смелость и риск и огромное напряжение сил. А именно этого у Юзефяка всегда хватало.

Но, вероятно, холодный декабрьский день уже остудил ему кровь. Проехали километров десять — и солнце полыхнуло им в глаза, низко повиснув над большаком. Небо на востоке помутнело и побелело, предвещая быстрое, внезапное наступление темноты. Лошадиные бока курились, словно тлеющий костер. Валивший от них пар оседал на тулупе возницы. Слева на бледно-розовом небе кружила стая ворон, согреваясь перед спом воздушной гимнастикой. Это говорило о том, что путники приближаются к деревне, к желанному до содрогающа теплу. Тем острее ощущалась докучливая стужа, леденившая спину. Страшно было пошевелинуться, казалось, малейшее движение сулит новый приступ озноба. Как уж тут соберешься с силами для внезапного броска.

Молодцы молчали. Между возницами и Юзефяком сидел старшой, десятник. Рослый, с орлиным носом и глазами, прятущимися под черной, а теперь заиндеветший поло-

ской бровей. Он носил усы под запорожца. Их длина, весьма внушительная, позволяла судить, что идею самостийной он исповедовал отнюдь не со вчерашнего дня. Дружки обращались к нему по имени, что явно его коробило. Раз даже поправил:

— Не Васыль, а пан десятник.

Другой страж, примостившийся в конце саней, был постарше остальных, лет тридцати с лишним, невысокий, полноватый, смуглолицый, с квадратным подбородком и широкими скулами. На Юзефяка он смотрел исподлобья. Умел обращаться с оружием — прикрикнул на возницу, когда тот хотел стволом винтовки поправить съехавшую сбрую. «Наверно, служил в армпи», — подумал Юзефяк.

Возница был под стать своим дружкам. Плечистый парень лет двадцати, чернобровый, курносый, с румянцем во всю щеку, с виду глуповатый. Это он замахнулся прикладом на Юзефяка в волостной каталажке.

С такой троицей каши не сварить. Юзефяк глядел на них и раздумывал, о чем завести речь, чтобы проняло этих тупиц. Кроме Германии, Польши, большевиков, евреев, самостийной. Что еще есть на свете? Мороз и водка.

Они сами об этом начали. Возница сплюнул, обернулся и, вытирая нос рукавом тулупа, признался дружкам, что продрог. Они приняли это к сведению на сей раз молча. Когда же минут пять спустя он повторил свое заявление, добавив, что: «Треба бы горилки», — Васыль, пан десятник, одобрительно хмыкнул, однако со своей стороны присовокупил: «В уезде». Тот возразил, что ехать туда еще двадцать километров, и пока доберутся, того гляди, окочелеют. «Из-за этого проклятого поляка», — заключил он и сплюнул.

Вопрос был поставлен. Юзефяк заметил, что он не просил их возить его, но что водки выпить можно и нужно.

Бросить эту реплику его вынудила только стужа. Лишь немного погодя он смекнул, что, пожалуй, нет у него иной возможности уцелеть, кроме как с помощью водки. Юзефяк почувствовал, сколь быстро эта идея стала овладевать паном десятником. Так, так держать!

Он не спешил и не навязывался. Выждав минут пятнадцать — а мороз меж тем крепчал, — завел речь о самогонварении.словно бы между прочим, бесстрастно созерцая снег, вечерний сумрак и лес. Пустился сравнивать свекольный самогон с пшеничным, отметив, что последний, без-

условно, лучше, но и свекольный, на совесть изготовленный, хорошей перегонки, имеет свои преимущества. И что самогон варят всюду, но не везде он одинаково хорош. Но лучшего, чем в Тростянце, пожалуй, не найдешь.

Это было последнее крупное село на пути в волость. Они увидали его издали, уже без орсола вороньих стай, которые отправились на отдых. Только на фоне еще малинового пеба дым из труб подымался в неподвижном вечернем воздухе почти отвесно и очень высоко под облаками, выплетая замысловатые узоры.

Молодцы держались стойко, не внемля соблазнам, хитроумно расточаемым Юзефяком. Не удостаивали поляка ни словом, ни взглядом. Только поплевывали в ответ. Но Юзефяк чувствовал, что бьет прямо в цель. Чувствовал, поскольку сам в данную минуту ни о чем ином не мог мечтать. Мороз свирепел, и уже словно бы не побег становился заветной целью. Он готов был пойти на любой риск, лишь бы зпать паверпяка, что финал увенчает бутылка самогона.

Вот впервые пахнуло сладким дымком. Возница подхлестнул лошадей, но они и сами поняли, в чем дело. Справа лес попятился, слева — отпрянул до линии горизонта. Огороженный выгон, снегу по пояс. Прпдорожное распятие. В хатах уже загорались огни.

Казалось, что лучше всех поддались его агитации лошади. Они сами остановились возле второго или третьего двора, и возница растерянно и умоляюще поглядел на Васыля. Тот еще раз сплюнул, вылез из сапей, направился к забору. Юзефяк двинул за ним, по смуглый рявкнул на него и ткнул дулом винтовки в спину.

В этот неопределенный момент вдруг аукнулась забытая история полуторамесячной давности. Какой-то подросток выскочил из соседней хаты, подбежал вприпрыжку к саям, увидал винтовки и остановился. Смуглый рявкнул и на него. Тот оторопело разинул рот, взглянул на Юзефяка и узнал его. Это был тот самый Колька, который как-то спрашивал пасчет столовой. Они обменялись не более чем взглядом. Но тот все понял. Повернул назад и бросился бежать, маскируя волнение беззаботным свистом.

Василь подошел к саям. Взор его уже был исполнен решимости. Он окинул критическим взглядом ближайшие дворы. Сплошь захудалые. Юзефяк лаконично оценил обстановку:

— Здесь свекольный.

Молодцы неторопливо зашагали в глубь села, высматривая дома побогаче. Юзефяком овладела страпная надежда. Глядел он безразлично, однако был убежден, что встреча с Колькой сулила многое.

И не ошибся. Неподалеку от церкви, возле внушительной с виду хаты, стоял пожилой мужик в длинном буром тулупе, с бурыми усами. Беззаботно покуривал толстую сигарку. Не спеша оглядел их, а когда Васыль подчеркнуто пачальственным тоном спросил, где тут можно выпить, взглянул на них, точно прикидывая, кто они такие, и пробасил:

— А хоть бы у меня, прошу пожаловать ясновельможных папов.

Наконец они сидели без тулупов в душевной горнице. Огромная печь топилась, и багровые блики скользили по стенам, подавляя желтоватый свет керосиповой лампы с прикрученным фитилем.

Эти первые минуты особенно докучливы. Холод, пробиравший тебя до костей в пути, выходит теперь наружу, и каждую жилочку в отдельности бьет мелкая дрожь. Юзефяк потирал заочневшие ручки, подставляя лицо потоку тепла, извергаемого печью, и, казалось, готов был влезть в нее целиком. И одновременно думал, лихорадочно думал, чувствуя, что потом будет некогда.

Надо спить их. Они продрогли. Уговорить, чтобы заночевали. И почью... А если его запрут в каком-нибудь погребе? А может, попытаться сплой? У Кольки есть друзья. Шепнуть ему... Разоружил бы... А потом пагринут каратели. Хозяин не из глупых. Вряд ли он пойдет так далеко из чувства благодарности к человеку, случайно пригревшему его племянника.

Юзефяк еще колебался. Высокая дородная молодуха принялась виртуозно жонглировать сковородками. Длинным шестом с закопченным полумесяцем на конце метала их в огонь, подбрасывая, поворачивала, вытаскивала, сыпала навалом ароматные горячие блины. Гора их росла. На особой сковороде весело трещало растапливаемое свиное сало. Колька ворвался в хату с раздутыми карманами, в уголке за печью осторожно извлек из них две литровые бутылки.

Юзефяк, оттесненный молодухой от печи, еще внутренне содрогался от холода. Он решил спойть конвоиров. При этом самому следовало оставаться трезвым. Трудная дилемма для голодного и промерзшего человека.

Решили эту дилемму как бы сами молодцы. Когда на вышитой скатерти подле лампы появились блины, миска со сметаной, сало и водка, двое двинулись к столу, третий — смуглый — остался сидеть на лавке у двери, с винтовкой между колен. Василь позвал его, но на полуслове осекся так внезапно, что даже подавился. Забыл о своих командирских обязанностях! Ведь это же часовой.

Все произошло молниеносно. Хозяин даже не успел торжественно пригласить их к столу, и ему самому пришлось теперь дожидаться приглашения. Торжество из акта гостеприимства превратилось в подобие дани функционерам нового порядка. Разумеется, в этом варианте было нелепо, чтобы Юзефяк, арестант, которого ждет неминуемая смерть, мог принять участие в застолье. Он стоял в углу, грелся у печки, уже покинутой молодухой. С одной стороны, это было ему на руку, но с другой — аромат жратвы манил его все сильнее, и бегство как бы снова отступило на второй план, теснимое желанием выпить для сугреву.

Конвоиры осушили по стакану. Румянец у возницы со щек распространился на лоб и подбородок. Василь вдруг обернулся:

— Панько! Иди сюда! Ивась тебя сменит.

Первый признак действия алкоголя: гостеприимство и альтруизм. Панько что-то недовольно пробормотал.

— Ну, иди, иди! Ивась постережет этого... Тебе надо подзаправиться, через час едем.

Панько встал, подергал массивный засов на дверях и подсел к столу, зажав винтовку между ног.

Панько десятик все более проникался альтруизмом. Молодуха, которая сидела бочком на лавке в углу, была призвана к столу уже в более категорической форме. Третий стакан начал расслаблять в сознании пана десятичника тормоза, сдерживающие страсти, и, когда та села, покровительственно похлопал ее по плечу.

— О, це гарна жинка! — и плотоядно ущипнул ее по выше бедра.

Потом удостоился чести хозяин. Он сел, не зная, хмуриться ли еще оттого, что не дали ему самому пригласить

гостей, то ли демонстрировать благодарность начальству, которое все-таки не обошло его приглашением.

В стороне оставался только Юзефяк. Ивась сидел рядом с ним, в отчаянии косясь на стол. Потерянный рай, изобиловавший выпивкой и закуской, представлялся отсюда более прекрасным, чем вблизи. Его жалобные вздохи наконец тронули сердце Васыля. Он налил стакан, кивнул молодухе:

— Отнеси!

А затем его осенила гениальная мысль: проще того и другого забрать сюда, к столу. Тут даже удобнее будет стеречь преступника.

Но и теперь Юзефяк не сразу удостоился вожаденного стакана водки. Еще с четверть часа сидел, донимаемый танталовыми муками, пока прилив любви к ближнему в душе Васыля не достиг высшей точки.

Эти четверть часа он глядел на них, испытывая голод и досаду одновременно. Они казались ему пошлыми, грубыми и отвратительными. Румянец на физиономии Ивася сделался багровым, на лбу блестели крупные капли пота. Он беспрестанно ухмылялся — Хи, хи! Хи, хи! — и старался коснуться боком могучего тела молодухи.

Васыль витийствовал: во второй стадии опьянения наступает черед обобщений и деклараций. Приглашением к столу он продемонстрировал свой альтруизм, теперь — блистал мудростью. Воинственно подкручивал усы, воздевал руку, меча грома и молнии на «жидо-поляко-большеви-ков». Обычно начинают с писпровержений. Славословие требует более сильной стадии опьянения, «хай живе» придет позднее.

Один Пацько оставался прежним. Сидел, поджимая узкие бескровные губы. Такие же узкие щелочки глаз неподвижно смотрели в окно. Лицо смуглое, возле острого носика — веснушки, на щеках — несколько оспин. Трудно было представить себе на подобной физиономии улыбку.

Васыль выкрикнул что-то еще насчет проклятой Польши, хлебнул неудачно, утопив в самогоне концовку возгласа, подавился, сплюнул, закашлялся — и внезапно отворачивание к сивухе ассоциировалось у него с ненавистью к Польше. Это и стало источником милосердия для Юзефяка!

— А ты почему не пьешь этой мерзости? — вдруг гаркнул десятник. — Мы тут, щирые запорожцы, страдаем, а

ты, мать твою...— И он сунул в руки Юзефяку зеленоватый полный стакан.— Пей, а то...

Обожгло гортань, шибануло в нос сивухой, потом зашумело в голове. Юзефяк набросился на блины, жадно запихивая их в рот. Жирное тесто стерло с губ отвратный привкус самогона.

Теперь его ждала пытка похуже. Васыль и возница взапуски подливали ему, требуя, чтобы он не мешкая выпивал. Едва успевал опорожнить стакан, как еще в воздухе догорало его горлышко бутылки и булькала новая порция. Попробовал выплеснуть — тут же заметили и окончательно рассвирепели.

— Ты, мать твою... Украинской горилкой брезгуешь? Царапает твоё ясновельможное горлышко? Вот я тебя царапну.— И Васыль, оставив бутылку, принялся обшаривать лавку в поисках оружия.

— Холодно,— пискнул Ивась,— еще десять километров до уезда. И все из-за этого сукиного сына. Шлепнуть бы его тут!

Васыль паткнулся на молодуху, которая отважно загородила собой винтовку. Это изменило направление его мыслей. Казалось, он только сейчас узрел ее пышные формы.

— Где винтовка, голубушка? Спрятала? А я поищу.— И пустился в столь тщательные поиски, словно винтовка была не более спички.

Молодуха раз-другой взвизгнула. Хозяин оторопело тербил усы. Ивась хихикал от восторга, следя за своим командиром, и рвался ему на помощь.

Юзефяк смог передохнуть. От нескольких стаканов, выпитых подряд, па пустой желудок, так загудело в голове, словно там бушевал какой-то многотысячный митинг. Юзефяк старался его утихомирить, уплетая огромные, свернутые в трубку блины, соленые огурцы, бурые поджаристые шкварки. Но было уже поздно. Постепенно он терял ощущение реальности. Мысль о побеге, самая главная, уже давно потонула в тепле, духоте, всеподчиняющей сивухе. Порой мелькал проблеск сознания, тут же исчеза, прежде чем Юзефяк успевал за него ухватиться.

Он утратил, например, чувство смертельной вражды к этим трем конвоирам. Они казались ему приятными собутыльщиками. Поиски Васыля, все более дотошные, вызывали у него понимание и сочувствие. Когда молодуха, не

выдержав натиска папа десятника, давшего волю рукам, вскочила с лавки и бросилась, разгоряченная, огромная, к дверям, он вскочил вместе с Васылем и погнался за ней.

Но чья-то рука схватила его сзади за воротник. Он рванулся, остоленел. Папко тоже встал и злыми глазками впился ему в лицо.

Юзефяк сел. Это ему помогло. Взглянул на Папко и прихлынувшая волна воспоминаний остудила ему голову. Этого надо ненавидеть. И того, который возится с девочкой у дверей. И раскрасневшегося щенка.

Васыль верпулся, пошатываясь, тяжело отдуваясь и потеряв охоту к дальнейшим поползновениям — то ли из-за решительного сопротивления молодухи, то ли в припадке пьяной депрессии. Присел к столу, машинально взял огурец и припился жадно высасывать из него рассол, еще приговаривая:

— Гарна, дуже гарна,— но уже по инерции, без всякого рвения.

С минуту длилась пауза. Молодуха, точно курица, встрепанная кочетом, приводила в порядок перышки, приглаживала волосы, одергивала бесчисленные юбки.

Хозяин откашлялся, чтобы сгладить впечатление от пеловкой сцены, и слова налил конвоирам. Слишком заметно обес Юзефяка, что вызвало новый приступ оживления у папа десятника.

— А ему? Его почему обделил? Он тоже человек. Поляк, мать его так и разэтак и т. д. и т. п., по тоже человек. Ты думаешь, пам жалко? — Налил собственноручно, пододвинул стакан.— Пей, горемыка, пей, пей, лихомапка тебя задави.

От этого стакана его бросило из огня да в полымя. С превеликим трудом уясненные причины ненависти к конвоирам тут же рухнули. Неуклюжие наивные нотки сочувствия в разглагольствованиях Васыля нашли удивительно горячий отклик.

Они чокнулись, сели рядом, обнялись. Возница, вдруг приревновавший начальство к Юзефяку, злобно заметил:

— Ты с ним пьешь, а из-за него еще столько тащить-ся, да в стужу.

— Молчать! — Васыль был неумолим.— Он тоже человек. Ради него я поеду на край света. Едем немедленно. Он торопится. Встать! Смирно! Запрягай коней!

— Торопится, как же,— не унимался Ивась.— Схлопотать пулю в гестапо!

— Как ты смеешь, дерьмо этакое! Смирно! А хоть бы и пулю, это его забота, моего друга, а не твое собачье дело!

— А если он так торопится за пулей, то можешь его тут шлепнуть. К чему нам-то страдать, в такой мороз.

Логика Ивася, приправленная своеобразной иронией, озадачила Васыля. Он остолбенел, вытаращил глаза, разинул рот. Тут вмешался Юзефяк. Новый прилив симпатии к Васылю поглотил его целиком.

— Он прав! — воскликнул Юзефяк.— Васыль, не надо ехать. Здесь, здесь. Расстреляйте меня сами. Вы, мои друзья. Зачем передоверять этому хамью, немцам?

— Мы? Тебя? Расстрелять? Что ты болтаешь? — Недоуменное сожаление Васыля обернулось вспышкой гнева: — И это пазывается друг? Значит, по-твоему, хлопцы-запорожцы своих друзей убивать способны? Вот какими нас считаешь? Да? Так знаешь, чего ты после этого заслуживаешь? — Он огляделся палитыми кровью глазами, чего-то поискал на лавке. — Пули заслуживаешь! Где винтовка? Панько, чего расселся, мать твою и т. д. Взять его, увести!

Юзефяк уловил только перемену интонации, чувствовал, что смертельно обидел десятника, и лез теперь к нему с извинениями, раскинув длинные руки, чтобы заключить его в объятия.

— Васыль, дружище, не откажи, прошу тебя, здесь. От рук твоих смерть припять — одно удовольствие. Васыль!

Так они препирались, как двое глухих, мечась по горнице: Васыль искал винтовку, чтобы убить Юзефяка, считавшего, будто он способен убивать друзей, а Юзефяк хватал десятника за полу куртки, за руки, умоляя все более слезливо, чтобы его убили именно здесь, в этой деревне, на этом дворе, в этой горнице. Ивась, осатанело пьяный, еще кипящий ревностью, тоже посылал по хате, отталкивая Юзефяка от Васыля, искал оружие. Но молодуха и хозяин якобы невзначай преграждали ему путь, а Колька бочком, украдкой стаскивал винтовки под кровать. Только Панько спокойно сидел за столом, тоже во хмелю, но опаснее других, поскольку помалкивал.

Наконец Васыль скорее свалился, чем сел на лавку.

Тут догнал его Юзефяк и облапил за шею так нежно, что тот снова впал в сентиментальность.

— Дружище, дружище,— забормотал пан десятник.— Я знаю, чего тебе надо. Ты хотел спить нас. И дать деру. Напоил. Так беги! Пожалуйста, беги. Отвезем тебя в уезд. Немцы начнут допрашивать. Будут бить, руки выкручивать, прижигать пятки. Беги! А потом шлепнут. Чего стоишь? Бери все, бери винтовку, бери коней. Беги! В лес!

Юзефяк спохватился: это же его собственные мысли — вчерашние и совсем недавние. Точь-в-точь. Все совпадало. Он хотел этого, и потому тогда, в пути, завел речь о самогоне. Но сходство деталей тем более подчеркивало разницей в содержании. Бежать? Зачем? От смерти? Все равно помирать, не сегодня, так через тридцать лет. И к чему ждать, мучиться, бегать, брести по снегу. Тут, на месте, от руки друга...

Долго, путапо втолковывал он это Васылю. Тот, совершенно выдохшийся, прибег к последнему, слабому аргументу:

— Нельзя, велено доставить в уезд, передать в гестапо. Я обязан выполнить приказ.

— Скажешь, что при попытке к бегству,— осенило Юзефяка, и, окрыленный тем, что простое и самое подходящее решение найдено, он продолжал: — Скажешь — этот поляк, мать его так и разэтак, выскочил и пустился наутек. А мы кричали: стой, стой, и стреляли, и застрелили. И все. Конец. Ну, вставай, пошли.

Васыль встал, поддерживаемый могучей рукой Юзефяка. Голова его моталась из стороны в сторону, волосы прилипли ко лбу. Он смотрел на стол, на печь, с трудом собирая обрывки мыслей.

— Где винтовка? — Юзефяк ковал железо, пока горячо.— Давайте сюда. Пан десятник приказывает.

Но винтовок не было. Только Панько сидел со своей, зажатой между колен, опираясь на ствол руками. Юзефяк накопец заметил его.

— Давай винтовку! Встать. Ты должен меня расстрелять. Ну, кругом!

Панько вскочил. Эти слова ему что-то напомнили, он вытянулся по стойке смирно, взяв винтовку к ноге. Но после этого условного рефлекса наступила реакция: отшвырнул пинком табуретку, грохнул кулаком по столу, заревел, принялся вперемижку выкрикивать украинские и

польские ругательства. Грозил, напоминал какому-то капиталу, что получил от него по морде, поносил старшину, который назвал его украинской свиньей, буйствовал, бил бутылки, смел со стола посуду, задел лампу, и огромные тени заматались по стенам.

— Вы, вы все! Убью! Убью! Я вам покажу седьмой дивизион! Я вас! Свиньи вы, у-у-у!..

Все от него шарахнулось, молодуха заголосила, Колька откатился кубарем к печке.

Щелкнул затвор, хозяин запустил бутылкой в лампу. Внезапно тьма, свалка у дверей, стук вырванного засова — и клубок тел вывалился в холодные сени. Вслед им еще неся хрип Панько.

Потом был какой-то провал. Юзефяк очнулся во тьме, очень холодной, но еще приятной после гнетущей духоты горницы. Терзали его, выворачивали наизнаку приступы тошноты. В голове шумело, опа, казалось, выписывала ровные окружности, словно фонарь на ветру. Юзефяк ничего не понимал — где он, зачем и почему. Ничего не хотелось делать. С величайшим усилием чуть отполз от стены, чтобы распрямить затекшую шею. Лежал, то впадая в дремоту, то просыпаясь от новых приступов тошноты.

Очнувшись в десятый или пятнадцатый раз, он уловил наконец в безграпичном мраке и тишине какие-то звуки. Кто-то ходил, кто-то кого-то будил, кто-то кому-то приказывал кого-то искать. Крайне медленно дошло все это до его сознания, из которого были вытравлены все воспоминания и ассоциации. Примерно через полчаса он привел эти впечатления в какую-то систему. Кто-то пропал, и это кого-то весьма огорчало. Искали пропавшего — безрезультатно. Он всякий раз прислушивался к поискам с тревогой: может, теперь получится? Очередная неудача разыскивающих наполняла его бескорыстным сочувствием. Хотел бы помочь, да слишком угорел, чтобы пошевелиться, даже подать голос.

И снова полоса полусна-полубодствования. На сей раз Юзефяк проснулся, уже малость опаматовшись. Начал различать голоса. Тот, что отдает приказы и покрикивает, — Василь, друг. Кто-то стоит во сне, кто-то артачится, не желает вставать, ворчит.

Шаги. Дверь в темпоте отворилась, хлынула волна затхлого, провонявшего самогонном тепла, шаги, снова стук дверей, струя холодного воздуха, такого чистого, что даже словно бы отдаст ладаном и сеном. На дворе какая-то беготня и вдруг — один за другим — пять выстрелов неподалеку.

Ах, все вернулось на свои места. Ехали в гестапо. Перепились тут. Теперь его ищут. А он лежит в сепях пьяный вусмерть.

А вот вывод не приходил. Ну и пусть ищут, пусть найдут. Все сплошная бессмыслица.

Он не испытывает ни страха, ни ненависти. А только усталость и желание спать.

Еще одно пробуждение. Теперь все те на погах, выбежали во двор, топают сапожниками в каком-нибудь метре от его головы. Тянуло сказать им, что он лежит здесь, но не было желанья пошевелить губами. На дворе скрипят ворота, кто-то подводит лошадей к саям, кого-то посылают за старостой — надо будить народ, устроить облаву, послать в уезд за пемцами.

Снова выходит кто-то из горницы, останавливается у дверей, смотрит в щелочку на голубоватое мерцание звезд и снега.

Юзефяк ощущает жгучую узкую струйку стужи, вползающую, словно змея, в сени. Она касается лица. Юзефяк не может сдержаться, чихает.

Человек у дверей шарахается назад, словно пораженный током. Потом подходит, шепчет:

— Кто здесь?

Это Колька.

— Не бойся, я свой.

Колька припадает к нему, он испуган.

— А мы думали, что ты сбежал. Совсем.

— Не бегал и не буду...

— Тише! Они убьют тебя.

— Ну и что?

Кольке недосуг философствовать. Он хватается лежащего за плечи.

— Подымайся, только тихо. Они во дворе.

Юзефяку неохота вставать. Но трудно ему и возражать этому волевому мальцу. Он петоропливо подымается, подталкиваемый ручонками подростка. И вот уже стоит, по-

шатываясь. Голова опять идет кругом. Он смачно сплевывает.

Колька перетаскивает его через порог, усаживает на лавке. Потом бежит в угол, с кем-то совещается лихорадочным шепотом — очевидно, с дядей.

Возвращается, садится возле него и вздыхает.

— Почему не бежал? Теперь все село на ногах. Поймают...

Юзефяк все еще воспринимает события с какой-то метафизической отрешенностью от мирской суеты. По-видимому, тут действие самогонна отражается гораздо сильнее, чем даже на двигательных центрах и вестибулярном аппарате.

Хозяин ахает, сползает с лавки, подходит и присаживается в белье, смутно белеющем в скупом свете, сочащемся из синих оконцев с двумя звездочками по углам. Молчит. С трех сторон нарастает собачий лай: староста уже начал подымать село. На дворе Васыль беспощадно подгоняет хныкающего Ивася. Кричит: «Припеси фонарь!» И хозяин молниеносно хватает Юзефяка поперек, укладывает на лавке, прикрывает лоскутным одеялом.

Ивась вваливается с грохотом, громогласно повторяет приказ десятника.

— Нет фонаря, паночку, нет. Ваш пан вийсковый разбил.

— Где он, мать его...

— Да, видно, сбежал. Загуляли вы, господа хорошие.

Ивась с деланной озабоченностью еще распекает хозяина и клянет весь свет.

Этот внезапный визит ускоряет принятие решения. Хозяин наклоняется к Юзефяку.

— Беги в сторону уезда. Там тебя искать не станут. В километре от села бери правее, там будет тропа к лесу. Лесом иди прямо. Будет деревня, Гореваха. И там обрати внимание на третью усадьбу, богатую, там твои, поляки, Миткевичи прозываются. Может, спрячут тебя.

Дали ему тулуп, барашковую шапку. Свою Юзефяк потерял спягу в сених. Искать ее там сейчас не хотелось. Он постепенно оживает, начинает пробуждаться в нем страх.

Хозяин ведет его в чулан. Маленькое окошко — отсюда виден сад, сарай заслоняет его со стороны двора, где теперь конвоиры.

Оконце узкое. Хозяин и Колька подталкивают его сзади. Наконец упирается руками в снег, потом высвобождает ноги. Тулуп бросают ему вдогонку.

Он еще не чувствует стужи. За сараем голоса — Панько вернулся, докладывает: в уезд послан нарочный, народ разбужен, собирается возле церкви, и тогда начнут облаву.

Юзефяк бредет среди нагих яблонек. Снег глубокий, кусты крыжовника тонут в сугробах по самые макушки. Он с трудом вытаскивает ноги.

Вот жерди изгороди. Здесь Юзефяк обнаруживает спасительную тропинку. Кто-то пробирался здесь, по задам — может, на свидание, — и снег малость утопан. Тут можно бежать — через пять минут начнется облава.

Его замечают две-три собаки. Но уже все село содрогалось от лая, и эти наиболее яростные голоса утонули в общем хоре.

За последней хатой тропа поворачивала к проселку. Еще виднелись вдали мчащиеся сани — нарочный ехал к немцам. Юзефяк двинулся за ним следом, то бегом, то шагом.

Дорога вправо едва проторенная, ненаезженная. Теперь, когда уже не бросало в жар от мысли, что в любую минуту может влипнуть, он почувствовал наконец, что такое ночь, снег, декабрь. Лицо его горело от бега, однако ноги уже прихватывал мороз. Юзефяк то и дело пулся бегом, с силой притоптывая или шагая стремительно, шевеля пальцами ног, которые, несмотря ни на что, все заметнее немели.

Наконец лес. Углубляясь в сосняк, подумал: «Теперь я дома». Лишь значительно позже убедился, что лес может оказаться также только ловушкой.

Пока что дом этот был чертовски неуютен. Декабрьская ночь еще властвовала, не обнаруживая ни малейших предвестников рассвета. Была одноцветной, но с тремя оттенками. Самым черным был лес, небо, густо усыпанное звездами, тоже было черным, но бесчисленные светящиеся точки придавали ему синеватый оттенок. Снег, жадно поглощая все отблески звездного мерцанья, казался почти белым.

Юзефяк шагал прямо на север, как показывала стоявшая вверх тормашками Большая Медведица, единствен-

ная знакомая в глубинах неба. На жгучем чистом воздухе выдыхались остатки винных паров. Он с отвращением думал о себе самом. Как обнимал Васыля, того самого, чьи руки наверняка были обгажены кровью невинных детей. А всего хуже, что проворонил возможность удрать верных четыре часа назад. Четыре часа! Километров двадцать быстрого хода. Мог бы уже скрыться, мог бы уже преспокойно размышлять, что же дальше?

И теперь пытался это делать. Но мороз, пробиравший его все основательнее, ограничивал способность прозревания будущего. Как магическое заклятье, звучали в ушах слова хозяина: село Гореваха, третий двор, Миткевич. Вот и все, чем он располагал на земле. Ни друзей, ни денег, ни оружия. Только надвигающаяся откуда-то сзади опасность погони. Облава. Впрочем, Юзефяк не отдавал себе отчета, какой она приняла размах. В здешних краях немцы еще редко сталкивались с партизанами, и этот первый, сбежавший, представлял для них немалый интерес. Следовало показать населению, на что они способны. Следовало его поймать, дабы никому не повадно было подымать голос или руку против могущественного рейха.

В мертвой тишине леса, в ночи, подгоняемый морозом, брел Юзефяк в Гореваху, а в нескольких километрах позади него, в Тростянце, завершалось перетряхивание овинов и погребов. Васыль, напуганный своим проступком, ударил по лицу старосту, когда тот без должного рвения, зевая, промямлил: «Ну и что» и «небось давно след простыл». После этого официального акта местный административный аппарат заработал без скрипа, быстро и четко. Осмотрели место злонамеренного исчезновения. Нашли шапку беглеца в сених и следы, ведущие от окна каморки к тропе на задах. Хозяин, призванный к ответу, отпирался, избитый — умолк. Отправили его с молодухой и Колькой в уезд.

Но только там, в уезде, в еще неизвестном широком кругам общественности учреждении, которое потом обрело масштабы стихийного бедствия, в гестапо, был продемонстрирован ультрасовременный, истинно европейский подход к делу. Докладывая о происшествии, Панько, естественно, утаил предысторию с самогоном, зато пустился в пространные рассуждения об опасности, которая грозит округе со стороны беглого преступника. Результат был неожиданный. Дежурный немецкий офицер начал

расследование с того, что вклеил Панько несколько оплеух. Тогда выяснились обстоятельства побега. Был вызван начальник оперативной группы. Разложили карты и изучили район Тростянец в радиусе двадцати километров. Разбили его на квадраты. Составили маршруты для пяти патрулей в составе четырех сотрудников. («Не вооружен, но очень сильный», — Панько.) В Тростянец выехала специальная комиссия. Один из патрулей направился в Гореваху. Уведомили также волость и обомлевшего от страха Дикого. Панько взяли под стражу.

Панько диву давался, почему это происшествие вызвало столь огромный резонанс. Между тем речь тут шла о вещах поважнее, чем личность Юзефяка, и совершенно с ним несоизмеримых. Этот пустяковый инцидент совпал со своеобразным «психо-социологическим моментом», как выразился начальник окружного гестапо, докладывая по инстанции. Он уже давно подыскивал повод, чтобы показать населению, что рейх всемогущ и беспощадеп к своим недругам. Надлежало произвести инъекцию всеобщего страха. Но что поделаешь, если округа была идиллически спокойна. Кто-то запоздал со сдачей обязательных поставок, кто-то не поклонился коменданту — эти инциденты, хоть и заслуживающие строжайшего пресечения, носили все-таки чисто локальный характер. Тем временем события развивались своим чередом, под Москвой положение было неясное. Правда, это скрывалось, вуалировалось обтекаемыми формулировками в ловко спрепарированных сводках главного командования, но уже начинались перешептывания, сплетни, комментарии. Именно теперь, когда несколько померк нибм непобедимости, надлежало впрыснуть ошеломляющую, лошадиную дозу страха.

Дело Юзефяка для этого вполне годилось. Во-первых: он писал листовки, агитировал, будучи задержан — сбегал. Во-вторых: жители села Тростянец, несомненно, оказали ему помощь. В-третьих: волостная полиция проявила преступное легкомыслие, манкируя своими обязанностями. И прежде всего следовало любой ценой изловить беглеца.

Пожалуй, часа через три — так считал Юзефяк, которого жестоко донимала стужа, — то есть не более чем через час, над полянкой справа от дороги звезды померкли. Близился день. Гореваха все еще не показывалась. Он

ускорил шаг, добрый километр преодолел короткими перебежками, скользя по снегу, спотыкаясь, падая. Знал, что в деревушке днем ни один чужой человек не пройдет незамеченным. Значит, оставалось либо попасть туда до рассвета, либо целый день отсиживаться в лесу без пищи, без огня. Последнего он бы не выдержал, об этом не хотелось и думать.

И он бежал, останавливался перевести дух, сопел, в груди хрипело, сплевывал густую волокнистую слюну. Каждая пробежка приносила прилив иллюзорного тепла, но тем яростнее всякий раз набрасывалась стужа. Ресницы были уже не заиндеветшие, а обледенелые. Упал, оступившись в наезженную колею, и, пожалуй, с полминуты пролежал, обессиленный, пока не припекло обнаженных ладоней.

Справа приближался рассвет. Звезды бледнели и гасли. Без них на какое-то время сделалось темнее или, вернее, сумрачнее. Могло показаться, что небо подернулось тучами, что земля, пастывшая за ночь, кутается теперь морозною мглой.

И еще промелькнула сотня-другая сосен, высоких, медпокожих, стройных. На востоке туман вроде бы поредел. Проступили две горизонтальные багровые полосы на полукруглом золотистом поле, очерченном понизу черной зубчатой линией леса.

Эти первые теплые краски побудили его сделать первый бросок. Пробежал с полкилометра. Вдруг сосны копчались. Горевала обосновалась в лесу, едва найдя место для узкой полосы огорода. Но дальше, к востоку, было просторнее, и там он увидел, чего достиг за последние минуты рассвет.

Медлить было нельзя. Где-то на середине деревни хозяйки-соседи уже затопили печи. Сладостный — после такой ночи — запах дыма медленно растекался над крышами, задерживаясь у стены леса. Далеко на другом краю деревни брехали собаки, которым неизвестно кто прервал самый приятный и самый крепкий предрассветный сон. Поднятая ими тревога сюда еще не дошла.

Он шагнул, бормоча: «Третий двор. Миткевич». Места в Гореве не хватало, усадьбы теснили друг друга кривобокими ригами, покосившимися сараями. Не успел оглянуться, как миновал третью. Зашел во двор, опасаясь

собачьей будки, висящего на волоске адского шума, на дыпочках подкрался к окошку, постучал.

Это было подобно балансированию на острие ножа: постучишь тихо — не услышат, слишком громко — услышит и собака. Долго барабанил толстым, пожелтевшим ногтем в черное стекло. Где-то в деревне вытаскивали ведро, скрипел журавль, замычала проголодавшаяся корова.

Наконец за стеклом мелькнула какая-то тощая фигура в белом, глянула на него и снова спряталась за печку. Юзефяк не прервал своей вкрадчивой и упрямой барабанной дробы. Немного погодя появилась дородная баба, еще не старая и смазливая, поглядела издали, потом подплыла к окну:

— Чего надо?

— Здесь живет пан Миткевич? — прошептал Юзефяк.

Это была ошибка. Но что ему оставалось делать? Не мог он тут, на дворе, пускаться в пространные объяснения. Баба не упустила случая воспользоваться дипломатической отговоркой:

— Нет его, нет его. Уехал.

— Пустите меня, хозяйшка, я тоже поляк.

— А чего вам?

— Дело есть, я скажу, только впустите.

— Ах, какая жалость! Нет мужа. Не могу.

Просил еще минут пять, но ничего не выпросил, кроме нового адреса, какого-то Дерчука, пятый двор, по этой же стороне, он наверняка дома и, бог свидетель, не откажется принять гостя.

Двинул дальше, вымотанный душевно больше, чем за всю дорогу. Теперь все решали почти секунды. Петухи несли взапуски, требуя завтрака, то и дело новая хата заявляла о своем пробуждении струей дыма из трубы, уж и собаки, уgomонившиеся позже других, начинали подавать голос, правда, еще не на непрошеного гостя, а умирно повизгивали, выпрашивая подачки.

Дерчук действительно был дома. Стоял на крыльце, позевывал, глядел на сонных кур, ковыляющих по двору. Проворчал себе под нос:

— Чего?

— Пустите, хозяин, погреться, все объясню.

— А кто вас прислал?

— Да тут, неподалеку, пани Миткевич. Я к ним заглянул, а пана Миткевича нет дома.

— Как это? Дома он.— Дерчук подозрительно уставился на пришельца.

— Не знаю, пани Миткевич сказала...

— Дома он, наверняка. Наврали вам, к чему ступайте.— И вдруг почти прыгнул к двери, захлопнул ее за собой и, только глянув еще в окошечко, прорезанное в бревенчатой стене рядом с входом, буркнул: — К Миткевичу, к Миткевичу ступайте, пусть не врет.

Тут Юзефяк уже начал терять надежду. Подспудный страх перед рассветом и погопей сменила злость на всех этих Дерчуков и Миткевичей. Это главным образом и потянуло назад, в тот двор. Пусть по крайней мере знают, что они лжецы, негодяи.

Жена Миткевича уже не отнекивалась, открыв форточку, умоляла Юзефяка сжалиться над ними и пойти себе с богом. Объясняла, что у них есть враги, что муж служил в польском войске, что за ними все следят и могут донести. Что у них трое малых детей — стащила их с постели, подвела к окну: взгляни и смилуйся.

Он молчал. В горле застряли резкие слова. Этот материнский эгоизм выглядел безусловно оправданным. Что значил он, Юзефяк, по сравнению с тремя детьми. Чувствуя, что пришелед сдается, женщина добавила:

— Дерчук все видел и донесет, он в ссоре с мужем.

Юзефяк повернулся и пошел прочь. Чувствовал себя отверженным, отрешенным от человечества. И впопх охватило его смертельное безразличие. Пусть преследуют, нес с ними. Стоит ли ради таких людей, с такими людьми...

Почувствовал отвращение к деревне. Он вернется в лес. В этом сказалось до чего же жалкое и ребячливое желание отомстить бездушным горевашанам. Пойдет, замерзнет в лесу, найдут его, начнутся суды-пересуды, и те остатки совести, которые заглушил бурьян эгоизма и трусости, отзовутся в душе пани Миткевич почными кошмарами, видениями, будет она вскакивать с воплями, будет сожалеть. Впрочем, отправится к ксендзу, даст ему пару яиц, исповедуется и обретет покой души. Что им человеческая жизнь!

Было уже совсем светло. Над соснами на востоке разбухал красноватый парост рассвета. Сосняк был уже зе-

ленный, яркий, сочный от розового отблеска зари. На другом конце деревни собаки залаяли громче.

Последний двор слева стоял чуть на отшибе, отделенный от деревни небольшим наделом. Захудалый, без загородки, с кособоким хлевом, прилепившимся к задней стене халупы.

Юзефяк направился к ней почти бездумно. Может, отчасти движимый ненавистью к Горевaxe и обидой на людей: не пожелали меня принять? А я пазло...

Не стучал, прямо ввалился в горницу. Она была почти пустая, только что теплая. У стола сидел тщедушный и бледный мужичонка с редкой и рыжеватой щетиной на щеках. Он повернулся к Юзефяку с глуповатой улыбкой:

— А, добрый день, пожалуйста, пожалуйста.

Эта улыбка и топ удивляли: мужичонка как будто уже давно дожидался его пришествия. Юзефяк подозрительно на него покосился, с минуту раздумывая, не дать ли деру. Но тепло слишком соблазнило. Точно после длительной голодовки его наконец подпустили к пище.

— Магда, — пискляво позвал хозяин, — давай завтрак!

Юзефяк сел. Пришла изможденная женщина, вытащила из печи картошку. Ели ее с солью, горячую, рассыпчатую. Хозяин все улыбался, и Юзефяка временами брало леденящее кровь сомнение — не чокнутый ли?

После завтрака хозяин вышел, ни о чем не спрашивая Юзефяка. Хозяйка наконец присела. Взгляд ее был разумным, понимающим. Она не интересовалась, видал ли его кто-нибудь. Дала ломоть хлеба, вывела в сени, велела лезть на чердак. Лежало там сена не более, чем на один хороший матрац. Юзефяк зарылся в него, получил приказ не шевелиться.

Разумеется, тут же уснул. Разбудили его голоса внизу, в сенях. Потрясенный до глубины души, услышал хриплый голос немца.

Делать ему было нечего. Припал всем телом к глиняному полу.

Отвечала хозяйка. Спокойно, естественным тоном. На какой-то смеси украинского с польским предлагала:

— Конечно, покорнейше прошу на чердак.

Некогда было думать, объяснять себе, что это измена, гнусная измена, что его выдал придурковатый хозяин. И он инстинктивно забился в угол. Весь дрожал.

Заскрипела лестница, приставленная к люку. Сквозь щели в охапке сена, которым прикрылся, он увидел подымающуюся женщину с вилами в руках. Она влезла на чердак, следом вынырнула каска, красный от мороза лоб, рыжие брови, автомат.

— Пожалуйста,— сказала хозяйка,— пусто,— и словно невзначай пырнула вилами в сено пониже ног Юзефяка.

Немец перехватил автомат, окинул взглядом тесный и пустой чердак, слез. Хозяйка последовала за ним, украдкой оглянувшись, приложив палец к губам, вдохнула и спустилась в сени.

На этом чердачке он провел несколько дней, слезая по ночам вниз, чтобы прогреться у печки и перекусить чем бог послал. Как-то вечером хозяин, по-прежнему глуповато улыбаясь, отвел его в лесную сторожку, затерявшуюся в ельнике, за пустошью и полоской замерзших теперь болот.

Там он снова отсиживался у мрачного лесника, дожидаясь, пока иссякнет ярость преследователей. Юзефяк недооценивал немцев.

Однажды под вечер он увидел их, выкатывающих на саях из ближнего перелеска прямо к сторожке.

Выскочил в окно в рваных войлочных бурках, без шапки. Обувку потерял в сугробах, тут же за домом. Убегал босой, в мороз, подгоняемый выстрелами.

Это было самым страшным. Подобравшись к нему вплотную, они травили его теперь непрерывно, без передышки. Юзефяк слышал за спиной лай гончих. Свежий снежок выдавал любой его шаг. Всю ночь, и день, и еще одну, бесконечную, трескучую от мороза, подмигивающую беспощадными звездами,— эту, самую длинную ночь своей жизни он провел в сплошной, непрерывной беготне.

Как спасся? Кто бы поверил — незамерзший ручей. Какой-то родник пробивался из-под замшелых корней поваленной старостью сосны. Слишком шустрый, чтобы его мог остановить мороз. В этот ручей и прыгнул Юзефяк, когда патруль с собаками подтянулся так близко, что он, пожалуй, слышал не только лай собак, но и сопение усталой солдатни.

Был это, разумеется, акт отчаяния. Он брел по племени дну, то и дело падал, ободрал лоб о какую-то проклятую корягу. Ног не чувствовал — в этой жгучей воде они онемели, едва прошел несколько метров.

Преследователи с разгона перемахнули через ручей, собаки потеряли след, остановились. Люди, менее расторопные, увидели какую-то лисью тропу и стремительно рванули вперед. Когда заметили свою ошибку, над Юзефом наконец смиростивилось небо. Внезапно посыпал снег.

Вместе с метелью он ворвался вечером в какую-то деревню. словно призрак. Окровавленная, обледевшая борода, зияющая рана на лбу, изодранная и задубевшая куртка, синие ноги с побелевшими пальцами.

Третьей по счету удачей — после ручья и вьюги — оказалась встреча с женщиной. Он попал к стареющей бездетной вдове, и та, поплакав с полчаса над его несчастной долей, всю свою нежность, поневоле накопленную за долгие годы вдовства, употребила на то, чтобы спасти это странное, оочечневшее привидение.

Он лежал у нее в каморке, метался в лихорадке, стопа, бранился, скрежетал зубами. Вдова тряслась над ним, как над птенчиком, готовила отвары из трав, натирала ступни домашними спадобьями, поила горячим молоком. Недели через две, в январе, он подпнулся на ноги. Теперь он прятался еще тщательнее, на чердаке или в сарайчике.

Была какая-то разительная диспропорция между делом и последствиями. Что же он, собственно, совершил? Паивная, сумбурная листовка в десятке-другом экземпляров? Пара громких фраз, брошенных за выпивкой у механика? И, наконец, бегство — ради спасения от смертельной угрозы?

А ответ? Тянувшиеся неделями чрезвычайное положение в нескольких волостях. Десятки патрулей, сотни обысков, облавы, охватывающие целые лесные массивы. Собаки. Станковые пулеметы. Чуть ли не танки.

Лишь в конце января начали стихать слухи о все новых налетах и обысках в деревнях. Но когда наконец высунул нос из хаты и размял ноги, прогуливаясь ночью, увидел приклеенные к церковной ограде два больших объявления на красной бумаге. Луна зашла, и трудно было что-либо разобрать. Почудилось только, что на одном крупными буквами напечатана его фамилия. На дру-

гом виднелись незнакомые фамилии. Осторожно содрал оба плаката, принес к вдове.

При свете огарка прочел: за поимку или указание места пребывания Юзефяка, государственного преступника, — 5000 марок вознаграждения. Пять тысяч! Впервые шевельнулась в нем — слаб человек! — все сильнее разрастаясь, амбиция, жажда власти, убежденность в собственной цепности.

Другая бумага была более мрачного содержания. Он читал: Димитр Костюк, Микола Петренко, Алена Бондар, Павел Гнат, Иван Хвелевой, Василь Левицкий. Все — к смертной казни. Кто это? За что?

Долго терялся в догадках. Пояснение было слишком общо: за пренебрежение служебными обязанностями, нанесшее серьезный ущерб интересам Германии. И за помощь, оказанную врагам рейха.

Он тупо глядел на красный, словно пропитанный кровью, плакат, сообщавший о судьбе шести человек. Кто эти неизвестные, союзники по борьбе, эти первые жертвы? Бумага этого не говорила. Только имя, только фамилия. И возраст: пятьдесят четыре года.

И вдруг: тринадцать лет. Тринадцать. Микола Петренко. Как трудно было постичь эту чудовищную загадку! Ведь это же Колька, — Колька, повзрослевший в официальном изложении, «Микола Петренко». А тот — его дядя. А та — молодуха, дочь хозяина.

Вторая тройка расшифровывалась проще. Павел — Панько. Иван — Ивась. А Василь — пап десятник. Приговорены к смерти? Бумага сухо заключала: «Приговор приведен в исполнение».

Он сидел долго, подперев голову руками. Не мог плакать — это продлевало муки. Думал о Кольке, о хозяине, о расторопной, дебелий, рослой дивчине, еще видел ее на фоне пылающей печи, ее крепкие руки, пышные волосы.

Это он, Юзефяк, уничтожил целую семью. Как вестник смерти — кого коснулся перстом, тот пал. И даже те трое, молодцы, чьи руки обгажены кровью детей, — и этим достаточно было с ним столкнуться, чтобы погибнуть.

Не жалел молодых. Удивлялся немцам: даже собственных слуг... Дивился также самому себе. Возможно, даже не без оттенка самолюбования, как после знакомства с первым плакатом — о вознаграждении за поимку. И чувствовал себя бесконечно одиноким.

Хотелось выпить. Водка избавила бы от мрачного самосозерцания. Но водки не было. Вдова спала. Заснул и он под утро, а проспнулся другим человеком.

Восхищение самим собой, досада, чувство одиночества, еще не унявшийся страх перед погоней обернулись в ярком свете утреннего солнца волей к борьбе. Он «государственный преступник», за его голову назначено вознаграждение. Дешево, слишком дешево его оценивают. Он это им докажет.

И вечером двинул в волость — к Дикому. В Тростянце видал стертую с лица земли усадьбу старого Костюка. В местечке переночевал у случайного знакомого и узнал, что Дикий собственноручно подсобил рейху в искоренении и пресечении государственного преступления. Опасаясь, что разделит участь своих молодцев, проявил дьявольское рвение. Хилимончик, механик, учитель угодили за решетку. Двух последних отослали в уезд, Хилимончика Дикий пристрелил лично.

Враг обрекал его на одиночество, истреблял всех, кто был ему хоть немного близок. Подлюсть Дикого вывела Юзефяка из равновесия. Он вскочил и кинулся напрямик в волостную управу. К счастью, был вечер, часовой его не узнал, рывкнул только, щелкнул затвором. Надо было уходить. Из-за угла халупы смотрел на зеленоватый свет лампы в «кабинете» Дикого. Чуть не плакал оттого, что безоружен.

До самой весны скитался от села к селу неприкаянный. Передавали его из рук в руки кумы и родичи, обиженные на рейх или более дальновидные.

Накопец солнышко начало пригревать до полудня, потекло с крыш, на березах и вербах набухли первые почки, пришла оттепель. В это время Юзефяк пережил три важных события: раздобыл оружие, совершил первый подвиг и обрел первого соратника.

Сначала был подвиг: в бору, на полянке, тарахтела небольшая лесопилка. Двое рабочих разрезали тут сосновые бревна на полуметровые дощечки. Он шел по дороге, выискивая под соснами бурые островки опавшей хвои, очистившиеся от снега, подсохшие. Остановился, поглядел на ровные штабеля золотистых дощечек — была их тут уйма, зимой не вывозили готовую продукцию. Один из сторожей заметил путника, подошел, спросил, что слышать на белом свете.

Юзефяк дал ему закурить.

— Нельзя здесь,— рабочий кивнул на доски,— это для немцев. Если увидят, что курят так близко... Завтра повезут на фронт. Зачем? Черт их знает.

Солнце припекало, как обычно в конце марта. Доски благоухали смолой. Легкий ветерок ерошил хвою, разгуливал среди штабелей.

Юзефяк попрощался, отошел немного, свернул в лес, подобрался сосняком к самым штабелям, достал спички.

Отойдя с километр, он увидел косую тучу дыма, которая, клубясь позади, догоняла его скипидарным духом.

Вечером к приютившему его мужику прибежал тот самый рабочий с лесопилки. Юзефяк собрался было дать тягу. Но рабочий, обрадованный тем, что нашел-таки странного путника, успокоил его многозначительным взглядом. Вышли вместе.

Под весенними звездами, овеваемые еще теплым дыханием близкого леса, проговорили часа три. Это был первый соратник, первый подчиненный. Он уже не мог вернуться к прежней жизни. Читал объявления о Васыле и Панько. Знал, что его ждет.

Тут Юзефяк вторично отведал снадобья покрепче водки — известности.

— Значит, ты Юзефяк? — спрашивал рабочий. — «Государственный преступник»? — произнес он с уважением, словно высокое звание «кавалер ордена» или нечто подобное. — Так это за тебя обещают вознаграждение? И тех из-за тебя?..

Зимними вечерами по таившимся под снегом деревьям, где ни газет, ни книг, ни радио, а единственное развлечение — бутылка, кружили, как выяснилось, целые легенды о чужаке, которого преследуют вооруженные силы Германии. Рассказчики, за отсутствием деталей, сами их придумывали, слушатели, жадно подхватывая эти байки, в свою очередь становились повествователями, добавляли, развивали, руководствуясь житейской логикой и подсознательно канонами народного эпоса. Раз государственный преступник — значит, должен что-то совершить. Столько сил потратили, такой шум подняли, гоняясь за ним, — значит, действительно он угрожал их всевластию.

— Ты взорвал эшелон под Сарнами? Ты сагитировал и увел в лес всю уездную полицию? Ты убил коменданта? Это правда?

Юзефяк помалкивал, смущенный, ошеломленный своей славой, улыбаясь чуть иронически и чуть растроганно. Не знал еще, что ему делать со сложной о нем легендой. Но подсознательно делал то, что следовало: не опровергал и не подтверждал. Его молчание и улыбка дополняли образ героя, предводителя обиженных рейхом — он не только бесстрашен, но и скромн.

Второй работяга с лесопилки тоже сбежал после пожара, но убоился борьбы, скрылся в далеком городе. Страх его только укрепил решимость первого соратника. Он почувствовал себя возвысившимся над обыденностью, достойным стать рядом с «государственным преступником». Он пришел с «приданным», которому не было цены: сведениями о спрятанном оружии, которое собрали деревенские ребята в сентябре 1939 года.

Пришла настоящая весна, зазеленел орешник, на дубах лопнули почки, уже грозило нашествие комаров. Третий и десятый боец стал плечом к плечу с «Рудольфом», как нарек себя Юзефяк — бог весть почему столь претенциозно и на немецкий лад. Летом гитлеровцы устроили вторую облаву, двоих партизан убили, третьего, раненого, удалось спасти, протаскив, увязая по пояс, пять километров болотами. Осенью отряд Рудольфа впервые пережил моральный кризис: Юзефяк все лето неосмотрительно втолковывал бойцам, что в этом году война кончится. Но именно осенью немцы затрубили о своих успехах на Волге и Кавказе. Кое-кто, разочаровавшись, ушел, одного Юзефяк пристрелил, когда тот попытался устроить бунт в отряде и подорвать авторитет командира. Остальные притихли. Окончательно успокоил их приказ рыть землянки в чащобе, на песчаном острове среди болот. Там предстояло им зимовать.

Еще одна зима, долгая, многотрудная и студеная. Тяжелее рейдов, риска, гораздо тяжелее боев оказались пустые вечера в землянках. Ребята вздорили между собой, играли в карты, потягивали самогон собственного изготовления, скучали без женщин. Все группы, отправлявшиеся на задания, составлялись поголовно из добровольцев: возможно, будет стычка, и, уж конечно, не обойдут стороной деревни. А в деревне — девчата, гармошка, будут танцы да перешептывания по углам, пожиманье горячих ручек, свидания под черным зимним небом.

В конце зимы узнали о великих переломах на фронте. Самым близким был Сталинградский, всего-навсего каких-то полторы тысячи километров. Весна была периодом накопления сил. Вначале Рудольф ходил сам на все задания, потом — только на крупного зверя: пускать под откос эшелопы. У него уже были свои минеры, которые закладывали взрывчатку, потом все дожидались в каких-нибудь зарослях и, приложив ухо к земле, улавливали лихорадочный пульс эшелона. Самыми волнующими были последние минуты ожидания вспышки, дыма, громоподобного взрыва. Однажды вызвали целую бурю: состав был с авиабомбами. Бросились врассыпную, позади содрогалась земля, взрывная волна срывала шапки, опрокидывала на заболоченную вязкую почву.

Самым любопытным было то, что теперь, когда он действительно стал опасен, немцы его почти не трогали. Отзывали мелкие гарнизоны в города, впереди железнодорожных составов пускали на разведку дрезины, запретили продвигаться по дорогам мелкими группами. Перешли к обороне. Юзефяк вспоминал свое адски трудное начало и думал с оттепком горького тщеславия: он силен, только сила принимается в расчет, особенно у этих... у немцев. Бежавший из плена русский солдат, который к нему пристал, говаривал: ударь медведя хлыстом — зарычит, ударь медведя колом — покорится.

Но схваченных партизан ожидали пытка и смерть. В городах вывешивались списки казненных заложников. Свою беспомощность в лесах немцы восполняли все более осатапелым террором в населенных пунктах покрупнее. Реже осатапело обрушивались на деревни, выжигали подчистую, жителей расстреливали на месте. Гореваху развеяли с дымом.

Как-то патруль привел пред светлы очи Рудольфа самого Дикого. Юзефяк потерял дар речи, глядел на пленника, с трудом глотая слюну. Дикий стоял довольно непринужденно, когда узнал в грозном Рудольфе своего давнишнего узника — даже обрадовался. Может, возлагал надежду на дружественный тон своего «допроса», может, вспомнил улыбку Юзефяка, тогда, перед отправкой в уезд.

Юзефяк помнил все.

— Так как же насчет Польши и поляков? — гаркнул

он вдруг. На лице Дикого не осталось и следа иллюзий. — Где Хилимоньчик?

Как несправедлива судьба. Подлец совершает одно или сотню преступлений, и нет такой силы, чтобы воздать ему по заслугам. Что теряет этот иссохший старикашка с рыжевато-седой бороденкой и бегающими глазками? Ничего, кроме никому не нужной, поистине никчемной жизни.

Юзефяк чувствовал это подсознательно. Бешенство, распиравшее грудь, толкнуло его к плетню. Одним движением он вырвал здоровенный кол, размахнулся им обеими руками, крикнул, точно лесоруб. Дикий, словно складной пожик, расплющился на земле. Кол сломался на три части, Юзефяк отшвырнул оставшийся обломок, плюнул, отошел. Тощий труп зарыли за овином.

Были еще мрачные недели блокады, когда немцы в связи с приближением фронта пытались прочесать свои тылы. Тогда уже за ними гонялись самолеты, на дорогах патрулировали тапки, с трех сторон надвигались отборные части, поддерживаемые минометами. Настигнутый при отчаянной попытке форсировать железнодорожное полотно, Юзефяк трое суток отбивался в безнадежном положении. Отряд был рассеян, нескольких раненых пленников немцы торжественно повесили в городе у костела, Юзефяк спасся чудом. Может, помог ему опыт времен первого побега.

Но осенью он уже снова командовал отрядом, называл его бригадой, поддерживал связь с соединениями покрупнее, получал инструкции и оружие, действовал в рамках гигантского плана дезорганизации немецких тылов перед репашущим наступлением на уже действительно близком фронте.

Та осень была долгой. В декабре и даже январе возвращались затяжные оттепели. Нагое рыжее жнивье, низкие тучи, сочная зелень сосновой хвои. Вечерами откуда-то с востока доносился басовитый гул. Народ валом валил в отряд. Чувствовалось, что немецкому владычеству на этих землях приходит конец. Юзефяк до поздней ночи подсчитывал, сколько утекло месяцев — и каких месяцев. Вспоминал имена павших, думал о сожженных деревнях, об отступлениях, о летних ночах, щедрых росами и комарьем, о неделях голодовки среди болот, о докучливых недосыгаемых самолетах, о предрассветных атаках на немецкие форпосты, о стуже, грязи, страхе — сперва за себя,

потом — куда более сильным — за отряд. Неужели эта житуха уже кончается?

Я встретил его в Р., в начале февраля, вскоре после освобождения города. Было пасмурно, низко стлалась облака, снег засыпал домишки предместий, загромождал сугробами тротуары и мостовую. Город был забит партизанами. Все новые и новые отряды выходили из лесов, тянулись колонны: обозы, конные, пешие. Это были странные и живописные фигуры, в тулупах или утлых немецких шиннелишках, в огромных меховых шапках и войлочных бурках. Главным их украшением было оружие. У каждого уважающего себя партизана висел на шее автомат, на поясном ремне — один или два пистолета, третий — в заднем кармане, порой еще винтовка за спиной. Но самым ценным сокровищем считались ручные гранаты. Кто-то таскал на поясе по пять-шесть штук яйцевидных «лимонок». Некий — воистину — мученик моды щеголял с массивной противотанковой гранатой на животе. На улицах валялись груды повенских, сверкающих красным лаком мип от немецких мипометов, ребятишки волокли тяжелые противотанковые ружья, на рыночной площади детвора забавлялась брошенными немцами артиллерийской батареей.

Стены еще пестрели гитлеровскими объявлениями на трех языках: «Отныне каждая капля немецкой крови будет оплачена постоянно возрастающим числом расстрелов. В этом убедятся те элементы, которые своей деятельностью и отношением саботируют общеевропейскую борьбу за судьбы немецкого народа. В порядке возмездия за последние акты террора 18 ноября 1943 года будет казнено большое количество...»

Кто-то толкнул меня. Я оглянулся — позади меня стоял высокий человек в черном полушубке, в шапке и сапогах, с крупным мясистым посом и светло-голубыми глазами.

— Я — Рудольф, — сказал он и удивился, что это известие воспринято без должного восторга. — Не слышали обо мне? — добавил он слегка разочарованно.

Потащил к командиру дружественного отряда.

— У меня еще не устроено, — пояснил Рудольф с извиняющейся улыбкой.

Комапдир был нездоров, лежал в постели с женой, которая, вероятно, тоже прихварывала. Несмотря на это, приняли нас радушно. Хозяин извлек из-под кровати огромную бутылку с какой-то жидкостью, густой и желтой. Это был неочищенный спирт. Мы пили его из единственного в доме стакана. После первого глотка я заговорил сильным дискантом, а Юзефяк принялся рассказывать; именно то, что было изложено выше.

Потом встали, не слишком уверенно двинулись к дверям. В большом покинутом немцами здании Рудольф принялся отплясывать со мной какой-то импровизированный казачок. Врач из его бригады, маленький, чудовищно завышленный, чесался, запустив обе руки за пазуху трофейного мундира, и смотрел с растерянной улыбкой, как Рудольф, откалывая коленца, подскочил к его походной аптечке, сгреб какие-то пузырьки и пошвырял их об стену. Затем рванул из кобуры пистолет и вцепил восемь пуль в потолок.

А потом были еще сражения на Турие, под Владимир-Волынским и Ковалем. Была переброска за Вислу по воздуху, прыжок с парашютом, были бои в Свентокшиских горах, еще одна встреча с передовыми частями, и снова радость, выражаемая с тем же неумным стремлением забыться. Ибо к лику героев не приобщишься задаром. За героизм расплачиваются спокойствием души. Обыкновенный человек может стать героем. Но я не знаю, всякий ли герой способен снова превратиться в обыкновенного человека.

РОЖДЕНИЕ БОЛДЫНА

Дело происходит осенью 1943 года в партизанском отряде где-то на западных окраинах Полесья. Рассказывает Мрочный, молодой парнишка, адъютант Болдына, партизанского генерала.

За столом сидели плотно, рука к руке. Болдын на торце, напротив него Элька. У стены — Зиберт, Крупницкий, Процналь. Мы вчетвером втиснулись на другую скамейку, спиной к двери.

На столе обычный ужин: нарезанная большими кусками вареная грудинка — малиновые полоски мяса в опаловом жиру. Была миска довольно паршивого, без мяса, бигоса. Был хлеб. Была отварная, уже остывавшая картошка. Главное же, была водка в больших, литровых бутылках.

Лампу я повесил к бревенчатому потолку. Рыжеватый ее свет играл на потных лицах и красных носсах пировавших. В маленькое оконце глядела на нас антрацитовая осенняя тьма. Пили стаканами, глотали холодную жидкость из запотевших сосудов. Покрякивали. Отрезали ножом куски грудинки. Перед Элькой лежало на тарелочке величайшее здешнее лакомство — соленые огурцы.

Мы пересалили на второй литр, когда Болдын почувствовал, что вечер вышел какой-то странный. Люди поднимали стаканы, провозглашали привычные тосты, пачиная с традиционных, политических, проглатывали водку, но все это, казалось, происходило в полной тишине. Хорошее настроение Болдына отчего-то никому не передавалось.

— Мрочный! — крикнул он мне, хотя я сидел подле него. — Что положено делать адъютанту?

Это означало: разлить. Я шел вдоль стола, наполняя стаканы. Налил Эльке. Она сидела, не поднимая головы, все еще дулась из-за того, что ее заставили устроить этот банкет. Налил кривопосому Процналю, молчаливому Крупницкому, оловянноглазому Зиберту. Этот и не взглянул на меня. Талалей был повеселее, но вел себя чудно. Под-

мигивал Процналю и чем-то вполголоса допекал его: мол, может, он, Талалей, пошел бы начальником штаба, раз уж тот такой знаток разведки. За Талалеем Гринфельд, перед ним кружка, он умоляюще смотрит на меня, прося пощады. Ну и Ванадек, рядом со мной, с генерала глаз не сводит.

— Эй, готово? Что ты копаешься, Мрочный? Неужто и тебя эта банда уже сагитировала, а?

То была еще шутка, но уже не только шутка. Наши гости, должно быть, уловили что-то в голосе генерала, так как поспешно рассмеялись, но вышло это у них жидковато.

— Смеются, слышишь, Мрочный? Ну ладно, посмеемся и мы. Наше здоровье, ребята! Всех нас, понятно? Твое, товарищ Крупицкий! И твое, Процналь. Твое, Зиберт! За всех вас. Поехали, по-нашему, до дна!

Семеро вскинули подбородки. Выпил и я свои два глотка. Что-то, видно, произошло и с моей головой, и с головами остальных, только мне стало вдруг вроде как весело, а за столом зашумели.

Талалей замахал руками перед самым посом Процналя. Говорил он достаточно громко, я слышал обрывки фраз:

— Где ты их пашел... У Красика и в мыслях...

Я не обратил бы на это внимания, если бы не Крупицкий. Впервые за весь вечер лицо его ожило. Он смотрел на Талалея то ли прося его о чем-то, то ли грозя.

— Дерьмо...— сквозь зубы процедил Ванадек и, навалившись сзади на Гринфельда, большим пальцем ткнул Талалея под ребро.

Талалей, смеясь, обернулся.

— Чего? Ах ты черт, я-то уж подумал, не девушка ли?

— Заткнись, дурень! — тихо цыкнул Ванадек.

— С чего это? Сам, что ли, хочешь?

— Что там еще? — прогремел Болдын.— Мрочный!

Показал на стаканы. Я схватил бутылку. Она была пуста. Я беспомощно озирался по сторонам. Генерал сразу же заметил это.

— Элька! — крикнул он.— Боеприпасы!

Та быстро поднялась. Она уже не дулась. Тоже, паверпое, пропустила несколько стаканчиков. Кивнула мне. Мы пошли в спальню. Болдып что-то бросил нам в донгопку, и теперь уже гоготали все.

— Дурачье, — буркнула Элька в спальне. — Петушатся, а захоти я, любого как клопа раздавлю.

Она остановилась, повернулась ко мне. Глаза у нее блестящие, но неподвижные. Небольшие кирпичные пятна румянца на скулах. Губы сухие, рот полуоткрыт.

— Не веришь? Любого! И словечка бы не затратила. Вот так, смотри, и ему крышка...

Она сделала полшага, навалилась на меня всем телом, подставила губы. Я отскочил.

Она как-то странно, гортанно засмеялась.

— Ну, видишь. И тебе бы крышка, если бы только Роман увидел. А еще смеются...

— Товарищ... — выдавил я из себя. — Надо...

— Трусишь, молокосос? А если бы я сейчас крик подняла, что ты меня душишь, он бы, знаешь, влетел сюда, в куски тебя изрубил... Подойди-ка!

Я стоял пристыженный, напуганный, похолодевший. Стиснув зубы, она схватила меня за руку. Очевидно, почувствовав этот холод, лишь ущипнула меня ногтями в ладонь, раскачала и отбросила мою руку, словно скомканную тряпку.

— У, балда!

— Элька... давай...

— Для кого Элька, а для тебя товарищ генеральша. Бери свою водку... — Она пнула ногой большой, под массивным замком, сундук, стоявший в углу. Я всегда думал, что там самые важные бумаги.

— Ключ... — просительно протянул я.

Она швырнула мне ключ. Я открыл сундук. Там ровными рядами стояло штук двадцать литровых бутылок.

— Возьми три. Ключ!

Я вернул ей ключ. Она пошла первой. Нагруженный бутылками, я с трудом закрыл дверь. Нас встретили шумными возгласами.

— Что же вы так долго? — хохотал Болдын. — Элька, признавайся!

— Иди-ка ты... — отмахнулась она, когда он попытался обнять ее.

Села на свое место. Я откупорил очередную бутылку и снова обходил гостей. Тем временем настроение у них поднялось. Прощальным стремительно вскочил:

— За здоровье нашего любимого генерала Болдына! Ура, ребята!

Все сорвались с мест, подняв кружки и стаканы, полезли к Болдыну.

— На немца! Веди нас на немца! — старались они перекричать друг друга.

— Он на нас собрался, по мы зададим ему перцу! — проорал Ванадек.

— ...ведь наш любимый генерал своевременно разгадал его планы! — тотчас же добавил Пронцаль.

— ...ведь генерал все предвидит! — не унимался Ванадек.

— На немца! На Ависсу! — вдруг закричал Талалей.

— Пьем, ребята!

Пили стоя, запрокинув головы, растроганные, взволнованные. Пил и я — и испытывал какой-то восторг, словно дурацкий этот жест рукой и бульканье в горле уже были началом того дела, о котором кричали. Я устоял на Болдына, позабыв обо всем неприятном в нем или смешном, ощущая в себе лишь этот восторг, готовый исполнить любой приказ, какой бы он ни бросил мне, веря, что приказ будет мудрым, необходимым, единственно...

— Садитесь, садитесь... — замахал руками Болдын.

Тяжело рассаживались по своим местам. Негромко переговаривались, но Болдын повысил голос, и все смолкло.

— Ведь генерал все предвидит! — сказал он. — Подумай-ка, Мрочный, что за молодцы у меня офицеры! Уж и на слово мне верят.

Стало тихо. Я отвернулся. Несмотря на выпитое, все ждали чего-то, вдобавок чего-то неприятного. Не сводили с Болдына глаз, только Крупицкий косил на Эльку, будто хотел, чтобы она как-то спасла положение. Но та презрительно падула свои красивые губки, даже головы не подняла.

Болдын с минуту смотрел на нее, словно и он надеялся: как-нибудь она да удержит его от того, что должно сейчас произойти. Не дождался, решительно мотнул головой, волосы снова упали ему на лоб.

— А на Ясёде как было, а, ребятки? Вы-то помните, вот он только, — кивнул на меня, — не помнит. Ты что, Мрочный, думаешь, я всегда был таким великим? Думаешь небось, назначили меня, школы я там всякие кончал, начальству задницу вылизывал? Черта лысого! Сам я себя назначил, не так разве, мужики?

Закивали дружно головами, словно фарфоровые китайские болванчики, одобрительно зашумели. Крупицкий уже не смотрел на Эльку. Сидел, опустив голову, зато Зиберт так и впился в него глазами. Я не успел взглянуть на остальных, потому что генерал хлопнул меня по плечу:

— Слышишь, Мрочный? Знаешь, как я сам себя назначил? Знаешь, где, как начался великий Болдын? Ну, тогда слушай.

Он с минуту разглядывал меня.

— А ведь не так давно это было, полтора года назад, правда, ребята? Весна сорок второго. Немец не то, что сейчас, драчливый был. Собралось нас под Кобриным — сколько же, человек двадцать? И того не было. Мы даже не очень-то хорошо понимали, что делать. Вот только командир у нас был первоклассный, товарищ Винецкий, светлая ему память. Ребята, за Винецкого! Мрочный, наливай! Ну!

Вскочили. Стало очень тихо, все смотрели на Болдына, он выпил, выпили и они, сели и помолчали еще немного.

— Да-а,— заговорил Болдын.— Мужик был хороший, политически подкованный, не то что... — он осекся, быстро добавил: — Мы с вами. Как он у нас появился, все сразу на лад пошло, рельсы развинтили, динамита у нас еще не было, глядим, уж и поезд под откос. Ну, у нас словно крылья выросли. Сидим, помню, в кустах, светает, майское утро, туман. Гудит, слышим. А в нашей округе никто о партизанах и слухом не слыхивал, так что пемец спокойный, погудел на мосту и дальше. А мы на насыпи, на повороте мы те гайки... Летит поезд, и вдруг грохот такой, будто дом кверху тормашками перевернулся. Помните, ребята? Продналь, ты был? Талалей, Зиберт? Только Крупы, то есть товарища Крупицкого, не было и Гринфельда... Сердца у нас... Ладно, даже постреляли чуток, но патронов мало, мы болотом и деру. В поезде-то, сам понимаешь, вермахту до чертовой матери! Два вагона перевернулись, а один прямо с насыпи свалился. Из остальных немчура повалила с винтовками, пулеметами, даже с минометной батареей. Только мы залп, а они на нас. Винецкий лежит, лежит за ольхой, потом к нам, не справимся, ребята, по одному и бегом! Направление на Ясёлду, на черную избу. Немцы огнем поливают, ребята один за другим, без толкотни, по-солдатски — и ходу. А кусты-

ки кончаются, знаешь, как это под Кобриным бывает, да откуда тебе знать, варшавянин, сучий ты сын, словом, немного кустиков, а дальше голым-голо, как на заднице, а потом болота. Зря это мы все затеяли, должен тебе сказать, после я так подумал, к чему вся эта стрельба, пустили поезд под откос — и дело с концом. Был бы лес еще или ночью, тогда пожалуйста. Но ведь дураки еще, молодые. Без стрельбы, считали, просто-напросто нельзя, не пастухи, мол, партизаны же. Один, значит, за другим, ты, Процналь, первый, пет? Я помню, черт возьми, такая уж собачья у меня память, слишком много помню. Да, вот уж нас и десятеро осталось, трое, Винецкий, я, ну и...

Оборвал, покраспел, посмотрел прямо перед собой, сам не знаю на кого. Словно кость какую, в горле застрявшую, сплился проглотить, кадык у него заходил, па висках пот. С трудом проглотил все же это что-то и, уже не глядя больше на них, на меня одного только, продолжал:

— Вот Винецкий и говорит: Болдып, мотай, черт тебя поберет. А я ему: после вас, товарищ Винецкий. А он: я приказываю. А я: приказу не подчиняюсь. Ну, он за револьвер и ко мне. А я его под руку, револьвер вытянул. Бежим. Он мне: пусти, чтоб тебя... А я: ни за что, товарищ Винецкий. Он: я виповат, я отвечаю. А я: все виноваты, опростоволосились, то есть стреляли вместо того, чтобы ноги уносить. Попробовал вырваться, но я покрепче. Так и тащимся по болоту, а немцы по пятам. Они уж, наверное, видят нас, туман поднимается, станковые пулеметы стучат, только плах-пах, пули по болоту. А потом миномет поставили, и по залпу в минуту, четыре мины. Тут сразу черные фонтапы, брызги, грязь. А мы и бежать-то еле-сле можем, тропка через болото вся разбита, проваливаемся чуть не по колено, не разлетишься, того и гляди — ноги переломает. Бежим мы, это, значит, так, а тут залп и прямо в самую точку, четыре взрыва по четырем углам, метрах эдак в двадцати друг от друга. А четвертый прямо около нас, вот как до двери, только ближе к Винецкому, помнишь, Процналь? Да как тебе помнить, ты ведь за Мешкуцами был, я знаю. Ладно, плюхнулись мы в болото, когда поутихло, хочу встать, не могу, Винецкий... Я его все рукой обнимаю, чтоб тащить, и упали мы так, в обнимку. Вот встать... и не могу. Винецкий не пускает. Я к нему. А у него...

Умолк. Скривился. Продналь показывает мне глазами. Я понял, схватил бутылку, принялся разливать.

— О, это дело,— взял себя в руки Болдыш.— Растут у нас люди. Вот из Мрочного адъютант получается, а не лакей. Хорошо, одним словом, полголовы как топором снесло. И вообще весь, будто заяц, осколками продырявлен. А я ничего. И рука моя, которой я его обнимал... ни царапины. Я закричал: ребята, ребята... А тех уж и след простыл. Один этот... Ладно. Этот последний, может, с полкилометра... Так, что мне было делать? На загривок, труп тащить? Я только по карманам у него... Там и бумаг-то никаких, ничего, мы, лесной народ, с этим очень строго... Пачка немецких сигарет, спички. Да, документы фальшивые. Я все это сгреб и бегом. Еще с полкилометра по мне жарили, потом бросили.

Замолчал. Стаканы заждались. Болдыш поднял свой:

— Ну, помянем нашего товарища Винецкого, без которого не было бы на свете никаких Болдышов. Болтают у нас, умер, но память о нем живет. Верно, в наших сердцах, и нигде больше. За эту память, ребята!

Все залпом. Правильно. Напряжение, которое я ощущал всего четверть часа назад, до того, как началось это повествование, улетучилось. У Продналя побагровело лицо, мне казалось, ему плакать хочется. Одна Элька выглядела обыденно, может, просто скучала. Ну и Зиберт, неподвижный, уставившийся куда-то в дверь своим тяжелым, оловянным взглядом.

— Эта черная изба, оттуда до нее оставалось километров тридцать, на реке. Раньше был там паром, но его еще перед войной убрали, движение слишком маленькое. Этот берег — сплошное болото, ни деревеньки, ни леса. Немного лозняка. Ну, и развалюха, что конура собачья, только повыше. Зачем нам Винецкий сюда идти приказал, ясно: хотел переправиться на другой берег. Там и лес, и тишина, даже полиции еще не было. Только дорога туда неблизкая, либо болотами, либо через деревни. А тут депь, май, светло, уж и солнце проглядывает. Иду болотом, вижу: рощица. Я туда, передохнуть. А там вся наша братия. Увидали меня, а товарищ Винецкий? И рассказывать не пришлось, по роже моей догадались — несчастье. Тут все в крик: как, что. Рассказываю. Молчат. Лишь то один, то другой волком на меня взглянет. Вы, говорю, что, чего уставились? Вот бумаги его, вот сигареты! Молчат. У, черт,

не люблю я этого! А хуже всего... тот. Вы знаете... Ни звука, и глядит! Ты что пилишься, — я ему. — Ну что? Ну, говори! — за автомат... А он, помните, любил все наперекор... Ты автомат-то псу под хвост суй, это он вроде как мне, понимаете... Ты скажи лучше, зачем его бросил? Ах, сукин ты сын, а что мне делать, по болотам, на собственном горбу?.. А ты, ты-то где был, собака? Удрали все, а мне — тащи? Прав я или нет, ребята?

Стих. Все молчали. Не смотрели па него. Уткнулись в свои кружки, стаканы, в стол. Элька поморщилась.

— Прав я был? Что, молчите? Тащить надо было, одному, на спине, по болоту голому, под минами?..

— Ну что вы, — вырвалось у меня. — Конечно же, товарищ генерал, само собой, вы были правы...

Я словно всех разбудил, ибо все вдруг разом закивали головами, как китайцы, как китайские фарфоровые болванчики, наперебой загалдели, закричали:

— Ну конечно, конечно же, генерал, ясно же, что за вопрос...

— Товарищ генерал, — выбился вперед Прочналь. — Ваша была правда, и, сй-богу, печего вам переживать. Это мы дураками были, а вы, геперал...

— Полюбуйтесь-ка на него, какой проповедник нашелся! — обрезал его Болдын. — А тогда проповеди твои не нужны были. Одного твоего слова, быть может, хватило бы, одного-единственного... Ведь знаешь, Мрочный, Прочналь и тогда важный был. Я так, обыкновенный петух, а он, ого-го, брат, и тогда уже интеллигентом был. Штаба еще не было, а он уж его начальник! И ничего, сволочь, ни полслова...

— Оставь его в покос! — бросила Элька.

Глянул на нее. Какой-то злой огонек зажегся у него в глазах, потом он сразу как-то обмяк, даже улыбнулся:

— Ты слушай, Мрочный. Я тебе рассказываю. Они все наизубок знают, уж и слушать не хотят. Я, значит, к этому... Закрой пасть, говорю. И вообще, чего вы тут развалились? Встать, вперед марш. Через час, если с места не сдвинетесь, немцы вас тут за шиворот, как щепят. Наверное, под Мешкуцами опп уже... А люди измученные, чтоб ты знал, всю ночь не спали, сорок километров прошли, еще с позавчерашнего дня, ночь под мостом, теперь по болоту бегом. Вот то один, то другой ко мне, отвяжись, мол. И немцев, дескать, никаких здесь нет, испугались-де

они, из поезда, мол, поса не высунут... Понимаешь? Немцы тогда, в сорок втором... Испугались, мол... Ну, я, знаешь, меня словно кто за горло схватил... Я бы этих дураков, каждого за шиворот и по морде, за шиворот и посом в землю, в землю, как щенка нагадившего... А то, видишь, они на меня с руганью, чтоб отвязался, немцев, мол, никаких, можно и брюхом кверху, па солнышке...

— Но, товарищ генерал, я ведь... — перебил Процналь.

— Ты ведь да! Конечно, признаю, Процналь, ты языком пошевелил! Сказал: ребята, он прав! Ты это сказал, и потому я тебя уважаю... Ну, уважаю! Во всяком случае, ты у меня начальником штаба. Только поэтому, Процналь. Не сказал бы тогда этих слов, — да что тут разводить. А коли сказал, тогда твое здоровье!

Процналь поднялся. Весь красный. Кривой нос его покрылся испариной. Болдын протянул к нему стакан, чокнулись.

— За здоровье дорогого нашего полковника Процналя, начальника штаба! — рывкнул Болдын. — Все пьем, вы тоже, товарищ Крупа!

Выпили. Крупицкий сразу сел, не взглянул даже. А Зиберт так и вперился в него.

— Значит, Процналь сказал. И, подумай, Мрочный, подействовало. Было утро, солнце, голое болото, на полкилометра, километр несколько кусточков, а больше ничего, трава сухая. Мы наддали. Но тропка разбитая, от кочки до кочки метра два, сам не знаешь, прыгать или брести по щиколотки, по икры, а если совсем плохо, то чуть ли не по колено в грязи. А что делать? Раз уж двинулись, то до следующих кустов, хочешь не хочешь, дойти нужно, иначе ведь и присесть негде. И видно тебя отовсюду... Километр идем полчаса, другой. А ребята, народ тертый, устали, снова лаяться. Зачем, да для чего, да подождать бы до ночи, а ночью — по дороге!.. И немцев никаких нет... Мне уж и отбрехиваться осточертело. Бредем, все в поту, в грязи, пить чертовски хочется, а тут вода что кофейная гуща, смрад, плесень зеленая... Опять кустики. Тут Процналь снова языком заработал, с грехом пополам пропихнул их дальше. К вечеру добрались до Мешкуц. Идем болотами, а дорога возле деревни. Ну, все в крик: на дорогу. Процналь просит, где тут... Я обложил их хорошенько. Деревня-то деревней, а кто знает, что в ней? Подойдем, один пулемет, и от нас ничего не останется.

Они упираются. Кто ты такой, чем лучше нас, что тут раскомандовался? Было так, Талалей?

— Было, генерал, было!

— Гляди, какой удалый! Ты же больше всех на меня кидался, уж и сам не пойму, чего это я тебя еще люблю...

— Да ведь я, генерал, правду. Какой из меня дипломат. Что в голове, то и на языке.

— Так прикуси-ка язык. Слышишь, Мротный? Леаут, значит, на меня. И Талалей тоже. А хуже всех... ты знаешь уж... хорошо. Я ему — командир не командир, но помню, мол. Нельзя, говорю, чтоб тебя. Он на меня, я ему в морду...

Осекся. Исподлобья взглянул на собравшихся. Все снова усталились в стаканы и кружки.

— Гляди, как деликатно, гляди, Мротный...

— При чем здесь деликатность? — выскочил Ванадек. — Вы правильно его, товарищ генерал. Выхода не было.

— Старайся, Ванадек, отрабатывай. Должок есть за тобой. Ладно, я его в морду, он на меня с кулаками. Тут Талалей, падо признать, хорошо себя повел. Ребята, говорит, делать печего, пошли назад в болото. Пошли. Что, не прав я был? Потом разузнал, в деревню как раз немецкая рота пришла. Прислал. Попимасшь, движение на дороге остановилось на два дня, так тех, с поезда, двинули на нас, проучить, чтоб ным не повадно было. Ладно, опять болотом. Ночь напролет топаем, ноги словно чугунные, во рту сушь, в ушах звепит, в животе бурчать начинается, а чуть остановишься, будто в муравейник уселся: комары. Вот, скажу я тебе, в такую вот ночь... А ночь короткая, светает уже. Ни деревеньки. Подходим к Ясёлде. Ну, ребята говорят, здесь отдохнем. Я молчу, расхотелось уж этих дураков погопать. Черная изба, три шага на пять, стены дырявые, мокро, темного соломы прогнившей. Подошли ребята к избе и вповалку. Храпят уже. Я чуть замешкался, смотрю, и места свободного нет. Попимасшь, как селедки в бочке. На боку лежат, на спине места не хватило. Стал у избы, гляжу. Ясёлда широкая, разлилась. Знаешь, прямо как Висла под Варшавой. Наш берег высокий, голый, ни кусточка. Там — густой ольшаник, ивняк, дальше сосны. Ну, думаю, психи. Их тут любой пальцами как вшей передущит. Удирать некуда, прятаться — и герорить печего. И так мне обидно стало, честное слово, был я мальчонкой, пять лет, мать в город со-

биралась, так я тогда точно так же себя чувствовал, хоть плачь. Ведь и жаль очепь, а понимаешь, что сделать ничего не в силах. Спят бугаи, храпят, воища, попробуй-ка растолкуй им... Знаешь, если вот у мужика бабы долго не было, дуреет, если не посст — так порой хуже зверя, а уж как не выспится, совсем дрянь дело, не зверь даже, а сам не знаю что, дерьмо. Гляжу на них. Хорошо бы, думаю, послать кого куда, лодки поискать, и на тот берег в кусты. А лодок нет, так все равно что, хоть бревно или несколько досок. И подальше отсюда, подальше, ведь...

Засопел, вытер мокрый от пота лоб. Оглядел всех за столом. А они сидят молча, глаза вниз. Элька резко дернула головой:

— Кончай уж, спать...

— Видишь, Мрочный. С этими бабами... Самые нахальные. Ребята, те ничего, языки на замок. А баба на рожоп лезет.

Элька встала и, не говоря ни слова, пошла в спальню.

— Ты куда, Элька? — крикнул Болдын.

Попытался было ее обнять, чуть не свалился на пол. Она хлопнула дверью.

— Ну, может, оно и к лучшему, — сказал он. — Говорить легче, язык хоть придерживать не падо, как, мужики?

Все вежливо засмеялись.

— Ладно. Стою подле избы, плакать хочется. Смотрю, и Процналь тут. Я ему: принимайте, товарищ, отряд. Надо поднять их, на тот берег. Правильно, отвечает Процналь. Я ему: принимайте отряд, командиром будете. Хорошо, говорит... Хотелось, видишь ли, ему покомандовать, и сегодня еще не позабыл...

— Ну, товарищ геперал...

— Ладно, ладно. Я, говорю, вам помогу. Надо ребятшек на тот берег, иначе кончено будет на Ясёлде с партизанами совсем. Верно, отвечает, пошли будить. Идем, значит. Я одного за шкирку, блесст как баран, глаз не открывает. Хочу его на поги поставить, он валится словно мешок. А Процналь другого. Только он деликатный, ручкой за плечико: товарищ, товарищ, — словно пташка в ушко ему чирикаст. А товарищ: му-у-у, что корова, да как выпустит залп... Вот тебе и товарищ. Я и его тоже за шиворот, подпимаю — с ног валится. Что делать? Солнце вот-вот выглянет, туман начал рассеиваться, нас видно, как

на тарелке, бери вилку да подцепляй. Прощаль давай кричать: товарищи, в интересах мирового революционного движения... Ну, все очень правильно, разумеется... Даже под знаменем Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина! А ребята спят. Вот черт! Мрочный, ты чего зеваешь? Как там стаканы, пусты?

Я быстро наполнил их. Болдын всюду разошелся, ни на кого внимания не обращает, сыплет свое:

— Я ему: знаете, товарищ, другого выхода нет, водой их надо! Прощаль уставился на меня: ты это, брат, рехнулся? А я уж к берегу лету. И надо же, подумай только, нахожу ведро. Иногда в голову приходит: не случись мне тогда найти того дырявого ведра, командовал бы я или нет? Ты как считаешь, Прощаль?

— Командовал бы, товарищ генерал. Раз уж такой...

— Ну-ну, поехал. А вы, товарищ Крупа?..

— Крупицкий, товарищ генерал...

— Хорошо, хорошо, Крупицкий. Вы как полагаете? Вы насчет диалектики ученый, как по-вашему? Случайность решает?

Крупицкий ответил не сразу. Надо было справиться с непослушным лицом. А Зиберт в это его лицо впился, словно на нем кино показывали.

— Мы не признаем случайностей, товарищ генерал. То есть не один, так другой был бы. Это не ведро...

— А! Тогда спасибо, это меня утешило. Не ведро, стало быть, котелок...— Он постучал себя по лбу.— Ладно. Я за ведро. Оно у воды валялось, ручка цела, в боку дыра, набрал до краев, бегу, а оно на метр поливает! Прилетаю, Прощаль языком мелет, ребята спят. Я — бац! Водой по рожам! Ха-ха-ха! Надо видеть было. Ребята как повскакали, а я уж выпзу, с новым ведром, подбегаю, а тот... тот...

Он осекся, тяжело засопел.

— А тот!..

Встал, кровь прилила ему к голове, щеки побагровели. Хотел продолжать, горло у него перехватило, он судорожно ловил ртом воздух, махал руками. Я со страхом смотрел на него, не знал, что предпринять. Первый сорвался Талалей, заорал:

— Воды!

Я вылетел в сени. Там стояло ведро. Подбежал к генералу. Талалей вырвал у меня ведро.

— Стакан давай.

Он подскочил к генералу. Хотел поднести стакан к губам. Но генерал был слишком красен, слишком вне себя, казалось, ему недостает воздуха, казалось, эта вода, которую мы зальем ему в рот, не успеет сделать свое дело, не успеет остудить его. И тогда он взмахнул стаканом, хлестнув прозрачной водяной тряпкой по красному, давящемуся лицу генерала.

Мы стояли тут же, молча, окаменев. Талалей перед Болдыном, а тот, еще секунду назад хватавший руками воздух, словно вызволенный наконец этой водой из-под власти демона, поднялся, и лишь в глазах его можно еще было заметить остатки не бешенства, но, скорее, удивления, а кровь отливала от головы с каждым ударом сердца, от лица, от шеи, от затылка...

И глаза уже обычные. Посмотрел на нас не без издевки.

— А вы что, думали, меня уже хватило?.. Нет еще, чтоб вам пусто... Спасибо, Талалей. Ты свой парень, рот раскрой — одну чушь понесешь, но в случае чего... Спасибо. Ну, что уставились? Садитесь.

— Мы, может, лучше пойдем, товарищ генерал... — пробормотал Процналь. — Вы, товарищ генерал, устали, отдохнуть бы вам...

— Садись! — рявкнул Болдын. — Пойдете, когда я вас вышвырну вон, не раньше. Мрочный, водки!

Кончилась предпоследняя бутылка. Я разливал, люди прятали от меня глаза, не решались взглянуть на меня. Да и мне не очень-то этого хотелось.

— Так, — произнес Болдын, когда я закончил. — На чем, значит, мы остановились, Мрочный?

Я растерянно оглядел собравшихся. Стоило ли напоминать о событии, сама мысль о котором, кажется, давила и душила генерала? Но ни одна пара глаз не решилась ничего подсказать мне. Время ползло в тяжелой тишине, у Болдына уже губы начали подергиваться, наконец Талалей все-таки набрался духу:

— На том, что вы, генерал, как раз с этим вторым ведром...

— Верно! Так, слышишь, Мрочный, я, значит, с этим вторым ведром в гору. Вода льется, все штаны мокрые, по с полведра осталось, бац! А тут ко мне...

Сердце у меня остановилось. Но тишина длилась все-

го несколько мгновений. Колдобину па сей раз он преодолел, вернее, проскочил одной-двумя педомолвками:

— Я ему: заткнись! Вставай в строй! Ребята только-только глаза продирают, еще на карачках ползают, сами не разберут, что к чему... А он ко мне... И матом меня, и матом! Я: в строй! А он меня матом. Я: товарищ Процпаль приказал... А он: я, говорит, твоего Процналя, знаешь что?.. Я: ребята, подъем, а то немцы вас... А он... А ребята на карачках... Ни тпру ни пу. Проснулись уже, крик мой, наверное, напугал их, а он на них тоже орать, ложись, этого... — на меня — не слушать... А они сами не знают, вставать не вставать, ложиться не ложиться... Тогда я...

Он снова загнулся. У меня опять от страха все внутри похолодело, но теперь это было у него не бешенство, это было — самодовольство:

— А я за автомат! Встаешь или нет? А он ко мне. Я палец на спусковой крючок. И он, согнувшись пополам, на колени, посом в мои ботинки. А я и не взглянул на него. Становись! И вот все уже псуются сломя голову, наперегонки из избы, уже навывтяжку стоят, глаза пялят! А я по сторопам — где товарищ Процпаль, доложить надо. Вижу, товарищ Процпаль прямо передо мной, второй в первой шеренге; за этим, как его, за молчуном этим, Четом. Глазам своим не верю, а товарищ Процпаль нос па-право, подбородок к небу. Ну что же, сам захотел. Я ему не приказывал, так ведь, Процпаль?

— Так точно, товарищ генерал.

— Вот, значит, и стал я командиром. Понимаешь, Мрочный?

— Так точно, товарищ генерал.

— Ни шипа ты не понимаешь. Думаешь, и дело с коп-пом? Приложил хама — и в доме тишь да гладь? Дурак. Только все и началось теперь, Мрочный. Давайте-ка, ребята, за Процналя. Его здоровье! За то, что был такой вежливый.

Процпаль, весь красный, поднялся, потянулся стакапом к Болдыну, а потом покорно чокнулся по очереди со всеми нами. Последним чокнулся с ним Круцицкий: посмотрели они друг другу в глаза, в чем дело, понятия не имею, по бросил я взгляд на Зиберта. Тот так и не отрывал от них глаз.

— Хорошо, Мрочный, слушай. Теперь-то и началось самое паршивое. Еще когда я прикидывал, как их разбудить, знал: тут мы не укроемся. Надо за Ясёнду. Но как? Река вздулась, ни одной лодки, ближайшая деревня, Мешкуцы, километров десять, да и откуда там лодки, к тому же в ней немцы. Вот и думаю: хоть бы что, плот, пара бревен, хоть бы что, лишь бы на тот берег. Я даже подумал: может, избу разобрать. Но как? Да и изба старая, бревна трухлявые. Как разбирать, как потом бревна вязать? Вот паскудство, ничего в голову не идет, только что с водой этой. Стою теперь, люди передо мной по стойке «смирно», пялятся на меня, я знаю, страшно, конечно, но не только, черт возьми, не только! Страх — это во мне... Типа... того... Людей на ноги поднял, а дальше что? И, скажу тебе, ничего я не придумал. Просто что-то само во мне зашевелилось. Люди стоят, а я, слышу, — говорю. Но знаешь, как-то так глухо... будто что-то там во мне спряталось и само говорит, меня не дождавшись, а я только рот разеваю и слушаю... И что говорит? Умно, черт побери. Ребята, говорит, ни минуты нельзя тут больше, плоты вязать быстро и чтобы через десять минут на том берегу. А кто будет копать... И больше ничего даже не сказал, только по прикладу похлопал... Говорит это во мне, кончило, гляжу, люди вмиг уже за избу, палегли плечами — треск, пыль, изба летит; они за бревна, трухлявые, факт, одно, другое, первое спустили, оно на дно, второе, третье... Но там дальше нашли покрепче; с южной стороны, солнышком лучше просушенные, а вязать-то печем, кто-то кусок проволоки из реки... остальные кто чем, ремнями своими... А я стою, хотел было сначала даже сам помочь, но меня словно кто за шиворот и не пускает... Стою и только матом их, только матом... И на часы, еще четыре минуты, еще две... Тут я малость перехватил, в десять минут не уложились, но на восемнадцатой плот был уже на воде, первые восемь во главе с Процалем на нем на корточках, поехали. Я остался, через полчаса плот вернулся, я последним влез, р-раз, течение нас подхватило, да, немного промокли мы, но через четверть часа — и уже на том берегу...

Он оборвал себя. Сидел молча, но уже успокоенный, словно засмотрелся в собственные воспоминания, сам на себя не похожий, обыденный — и далекий. Я хотел палить ему водки, но он придержал мою руку.

— Что, Мрочный, думаешь, все? Нет, говорю тебе, это

только пачало. Думасишь небось, под минометами, потом по болотам, с этой сволочью, тот плот — все это жуть, по зато после уж все тихо. Черта с два. Вот там как раз, за Ясёлдой, только и... Отвел я ребят от берега, кустики там, даже хорошо: можжевельник, сосенки, песок, значит, не болото. Здесь, говорю, ребята, спать. Чечет в караул, остальным спать. Как начнет темнеть, подъем. Ребята, кто где стоял, там и в кусты завалился. Казалось, я прта закрыть не успел, а со всех сторон уже храп. А я сел, какой тут сон, и в мыслях нет. Сижу, чтоб мне пусто было. Вот где страх-то начался. Но какой? Ты, брат, состаришься, внуков дождешься, а ничего похожего не испробуешь. Ведь это, браток, особый такой страх. Наш, генеральский. Что там ни говори, а мы люди не обычные. И то у нас не так, и другое. Но уж совсем не такой, так это у нас страх. У каждого свои страхи, мальчонка темноты боится, рядовой — капрала, баба — не уберечься, те — чтоб на них командир не паорал. А мы, генералы... А я, Болдып... Эти наши страхи. Сижу в можжевельнике и даже думать не думаю. Слушаю. Слушаю или за кустарник выползу, смотрю. Что выглядываю, что выслушиваю? Известное дело — немцев. Смотрю — припили или нет? А может, летят? Думаешь, боюсь, что вот-вот прилетят? Оно и видно, что ты еще щенок. Сижу, слушаю, аж пот прошибает, а ну, как не прилетят? Соображаешь? Не боюсь, что придут. Боюсь, что не придут.

Посмотрел на меня, на тех. Покачал головой.

— Ты слышишь, Мрочный? Это просто. Я там ребят за шиворот. Мразь эту пристрелил. Им спать не дал, за реку погнал. Все из-за того, что немцы придут. И что, послушали меня, все, во главе с товарищем Процпалем. Поверили. Ну, а если немцы подведут, что тогда? Соображаешь? Вот то-то и оно. Сижу, зараза, ничего не слышать. Настанет, рамышлино, вечер, проспнется. Спросят Чечета: немцы были? А потом: так что он нам головы дурит? За чем... того... Растолкуешь им, что надо было, дескать, учитывать, то да се, знаешь, как Процпаль заливает? Учти, солдат генералу в банку не заглядывает. Наплевать ему, что там генерал думает, что учитывает. Его одно интересует: чтоб был этот генерал прав. А если нет — то какой же он генерал? А уж такой, каким я тогда... Первый день... После той бузы с...

Потряс головой, протянул стакан:

— Нет, воды дай! Так, слышишь, Мрочный. Полдень, ничего, тишина, солнышко пригревает. Знаешь, будь я верующим, честное слово, молился бы об этих пемцах. Дело к вечеру. Я уж кумекаю, чего бы им наплести, когда проснутся, чем бы головы им заморочить. А тут, слышу, самолет... Знаешь, штурмовик, над самой землей... Ничего, ничего, а потом вдруг рев — и нет его. Прошелся над тем берегом, повернул. Так близко, что наших несколько пропустились, головы из кустов повываивали. А на том берегу какое-то оживление. Смотрю, бипокля тогда у меня еще не было, но зрение хорошее. Лазят, слолочи, по бревнам, оставшимся от черной избы... Человек сто... Ну, говорю, ребята, что бы вы запели? Это, говорят, уж совершенно точно, товарищ... Замечаешь, Мрочный? Товарищ!

Он сорвался с места. И все вскочили.

— Совершенно точно! Так говорят, думают так. А что мне их похвалы; раз уж все свершилось, раз уж все позади. Раз уж немцы расползлись по тому берегу. Во мне тогда все уже перегорело, перекипело, состоялось. Вот, если мне страшно, одно твое слово... Если ничего еще не сложилось, вот, тогда... Ну, ладно, товарищи, заговорил я вас до смерти. Привет, валяйте теперь спать. Прощаль, завтра в девять с докладом лично.

Повернулся и пошел. Слово в рот водки не брал. Закрыв дверь. С минуты все молчали. Потом взгляды... Крупицкий, Прощаль, Вападск; Зиберт и Талалей на них исподлобья... Зиберт — свинцовым, Талалей — насмешливо.

Прощались, расходились. Я вышел с ними. Накрапывал дождь, наверху было темно, я вздрогнул, вспомнил, что это детский страх, возвратился назад.

Болдын стоял в сених у дверей.

— Засов! — скомандовал он.

Повернулся и ушел.

ПУСТЫЕ ГЛАЗА

— Отправление! — крикнули на перроне, локомотив глубоко вздохнул, и поезд тронулся тихоночко, без ощутимых толчков. Это был небольшой состав, в середине два спальных вагона и вагон-ресторан, впереди, сразу за локомотивом, и в хвосте — вагоны с охрапой. Правда, на полчаса раньше ушел бронепоезд, который также нес изрядную долю ответственности за безопасность этого путешествия.

— Отправление, отправление! — несколько раз повторил Гитлер, отвернулся от окна, подошел к столику в углу салона и посмотрел на собравшихся.

Поезд набирал скорость, лизгал и шатался на стрелках, нелегко было стоять навытяжку, как того требовало присутствие фюрера. Солидные мужчины, застывшие в неудобных позах, — зрелище это не вызывало у Гитлера ни веселья, ни сочувствия. Но тут же почему-то подумал, что салон выглядит очень уютно. Он пришел в хорошее настроение и с улыбкой в глазах оглядел поочередно всех, кому удалось попасть в эту экспедицию.

Здесь был Гиммлер, бесцветность которого — о, чудо! — оказалась более надежной, чем импозантность величественного Геринга, чей авторитет теперь явно пошатнулся. Был здесь также Геббельс — на этот раз ему удалось удрать из Берлина, где как-никак он был гаулейтером, и таким образом он не отстал от Гиммлера в их непрекращающейся борьбе за благосклонность фюрера. Был еще Йодль, скорее, по долгу службы, для доклада главнокомандующему о положении на фронтах. Был, наконец, доктор Морелль, властитель тайнств магии, вероятно, ставленник кого-либо из претендентов на наследство фюрера, возможно, даже Бормана, оставшегося в новой имперской канце-

лярии. И было, разумеется, еще несколько лейтенантов и капитанов, адъютантов, связных, персонально отвечающих за жизнь и здоровье вождя третьей империи в этой знаменательной поездке.

Впрочем, Гитлер не впервые совершал такое путешествие. По установившемуся ритуалу, около трех часов полудни он отправлялся с Бреславского вокзала в Берлине. Перед его поездом на расстоянии часа езды замирало всякое движение, зеленые семафоры послушно открывали путь пескольким вагонам фюрера, которые почти с одинаковой скоростью пробегали и через крупные города, и через пустынные лесные пространства. Часов около восьми поезд подходил к густым городским застройкам Верхней Силезии, а еще через час въезжал на территорию генерал-губернаторства. Такой распорядок движения имел свое основание. Из Берлипа следовало выехать пораньше, до палета английской авиации. А в губернаторство следовало приехать попозже, во всяком случае после комендантского часа: таким образом путешествие можно было сохранить в тайне. Сам фюрер говорил, что степной польский пейзаж действует на него угнетающе и вызывает зевоту. Дальнейший путь через Краков — Львов — Подволочиск вел па Виппицу. Впрочем, после летних успехов Гитлер намерен был передвинуть свой полевой штаб еще дальше на восток. Именно туда направлялся он теперь, в середине ноября 1942 года.

Итак, он стоял и смотрел на своих спутников. Поезд неся как одержимый, через верхпесилезские станции, разъезды и перепутья. Гиммлер сомкнул каблуки, по уставу держал руки по швам, только втянуть живот никак не удавалось — слишком растолстел рейхсфюрер СС за последние годы, слишком ему везет, слишком он в себе уверен теперь, после геринговского затмения. Геббельсу с его короткой погодой еще труднее стоять неподвижно. А Йодлю не терпится, у него куча папок, снова Тунис, армия Роммеля, Тулон. Нет, пусть эти господа знают свое место, пусть еще цемпожко постоят так.

Гапси, адъютант, наклонился к уху: очень срочно, доктор Франк просит ненадолго задержаться в Кракове и разрешить в течение некоторого времени сопровождать фюрера до следующей остановки.

Гитлер поморщился: Франк за последнее время совсем слинял. Увы, пребывание в провинции всегда уменьшает масштаб человека.

— Где по расписанию мы должны остановиться? — спросил фюрер у Ганси.

— В Жешове.

— Очень хорошо. Пусть доктор Франк ожидает меня на вокзале в Жешове. Сколько мы там стоим?

— Около восьми минут. Столько, чтобы воду...

— Отлично. Ступайте и телеграфируйте.

Ганси ушел, и Йодль тотчас сделал полшага вперед.

— Нет! — почти крикнул Гитлер. «Получай, что заслужил, нахал!» — хотел он сказать Йодлю, но сказал только: — Садитесь, Йодль, — подумав при этом, что сидя рапорты не подают. — И вообще сядем. Сегодня больше не будем работать. Для того чтобы человек мог справиться со своими обязанностями, он должен с равным тщанием соблюдать дисциплину отдыха, как и дисциплину труда. Но отдых вовсе не означает полного прекращения работы, как то следует из еврейского понимания шабеса, перенятого, впрочем, христианством вообще и английскими плутократическими пуританами в особенности. Отдых не является также измешепием вида работы, как это понимают московские большевики, которые вынуждают землекопов играть по вечерам в шашки. Еврейско-плутократическое понимание отдыха глубоко аморально, но большевистско-азиатское еще опаснее, поскольку оно ведет к стиранию границ между профессиями, специальностями, а следовательно, и человеческими индивидуальностями. Если все землекопы станут играть в шашки, опасность для европейской цивилизации многократно возрастет, ибо азиатская масса, оставаясь массой, приобретает звериное коварство, какое мы наблюдаем, например, у лисы. Поэтому Розенберг должен уничтожить не только всю коммунистическую литературу на восточных территориях, но также игры вроде шашек и шахмат...

Несколько утомившись от этого монолога, он сделал паузу и еще раз оглядел сидевших. Лица у них были глубоко взволнованные. Он оглянулся вокруг. Теперь салон показался ему еще более уютным. «Провидение вложило мне в грудь дивный дар, — подумал он. — Во всем, чего я ни коснусь, мне удастся пайти черты, до сих пор скрытые от людей». В глазах Геббельса была такая мольба, что он решил больше его не мучить, и продолжал:

— Наше национал-социалистское понимание отдыха вытекает из глубочайшего уважения к человеческой лич-

ности и направлено к ее защите перед массой. Заметили ли вы, что игроки в кегли очепь часто по профессии пекари? В Штирии, близ Линца, я однажды убедился, что из семи пекарей шестеро были завзятыми любителями кеглей. Существуют два толкования этого явления. Можно было бы считать, что пекарь, который целый день швыряет в печь буханки хлеба, испытывает потребность в повторении подобного движения в часы отдыха. Можно также сделать вывод, что тут действует привычное пристрастие к закругленным формам. Так или иначе, наше понимание отдыха опирается именно на этот закон. Отдыхая, мы повторяем то, что мы делали во время работы, но в более свободной тональности, без усилия. Благодаря этому выдающиеся личности не теряются в бесформенной массе. Каждый остается в той сфере, к которой он призван. Пусть пекари играют в кегли, мы будем размышлять.

Он продолжал бы долго говорить на ту же тему, ибо еще чувствовал напор смутных, до конца не прояснившихся мыслей, которые рождались у него где-то между головой и сердцем тем более стремительно, чем горячее становились глаза Геббельса, чем торопливее топографировал якобы скрытый от него в коридорчике человек из ведомства Бормана. Но вот Йодль начал незаметно поддвигаться к Гиммлеру, извлекая поверх из груды папок какую-то одну, наверное, самую важную. Неуч и грубиян, он не может примириться с решением фюрера, отложившего рассмотрение государственных дел, пусть и важнейших, на более поздний час. Теперь он будет убеждать Гиммлера, будет искать его покровительства!

Гитлер оборвал свою речь, умолк и слегка нахмурился. Быть может, с минуту продолжались восклицания и вздохи, выражавшие восторг со стороны, пожалуй, самого находчивого из его свиты, Геббельса. Потом Гиммлер, от избытка чувств вытягивая шею, дабы как-то символизировать свою безграничную преданность, начал что-то говорить об англичанах, американцах, плутократии, о положении в Северной Африке. Совершенно неоправдан был этот переход, и гиммлеровская страстность была явно дутой. Но Геббельс как-то не разобрался в игре Гиммлера и, опасаясь, как бы тот не обскакал его, включился в беседу. И сразу загорелся.

— Англия никогда не была Европой! Сутью ее цивилизации всегда было предательство! Вспомните кельтские

мифы, все они кончаются предательством! Англичане — это евреи Европы! Во многом можно упрекнуть Вильгельма II, и если говорить о государственном руководстве, то он в подметки не годится нашему фюреру, но один вопрос он поставил правильно: боже, накажи Англию! Смысл этого лозунга не вызывает сомнений.

Гитлер кивал головой. Они, видимо, плохо поняли этот жест, потому что теперь все стали перебивать друг друга:

— Американцы еще хуже!

— Это те же англичане, только еще больше объевреившиеся!

— Черная измена! В то время как мы защищаем Европу в калмыцких степях, они наносят удары в спину!..

— Наказание, наказание, которое мы им определим!..

— Если бы не рейхсмаршал, они были бы уже наказаны раз и навсегда...— Это, разумеется, пробормотал Гиммлер.

— Фюрер! — Йодль решил, что «артиллерийская подготовка» закончена и пора идти в прямую атаку, протянул папку: — Здесь ваше решение... предательство плутократов...

У Гитлера забурляло в груди, он внезапно встал, и только то, что вслед за ним все остальные тоже вскочили, как по команде, его успокоило. Он махнул рукой: садитесь. Сам он, однако, не сел, почувствовав новый прилив ораторского вдохновения: ему легче было говорить стоя.

— Основой наших побед является вера! — с горячностью сказал он. — Вера немецкого народа в национал-социалистскую идею и в своего фюрера. А между тем какой вывод можно сделать из этой шумной болтовни относительно англичан, американцев и всего прочего? Только тот вывод, что у ближайших сотрудников фюрера эта вера не слишком тверда.

Совершенно подавленный Геббельс открыл было рот, но не выдал из себя ни звука. Остальные робким бормотанием пытались выразить протест. Он взмахнул рукой, и они замолчали.

— О, да, о, да! — сказал он. — Я снова прав, а вы не правы. Ибо что означают эти крики, это возбуждение, эта шумная ненависть? Прежде всего они означают, что у вас нет достаточного ощущения собственной силы. Тот, кто силен, тот спокоен. Мои враги часто любят меня изображать как полупомешанного истерика, у которого бывают при-

ступы безумия. Меня это очень развлекает, я попрошу вас, Геббельс, пересылать мне все карикатуры такого рода. Меня это развлекает потому, что я вижу, как плохо меня знают мои враги, как ошибаются, судят обо мне поверхностно. Действительно, десять лет назад, даже пять лет назад у меня бывали приступы бешенства. Ну да, ведь тогда была совершенно другая ситуация! Вспомните-ка выборы тридцать второго года. Похоже было, что мы снова полетим к чертям, как в двадцать третьем! Или позднее, когда нужно было раздавить этого клопа Рема! Или когда я убедился, что моими гепералами управляет какой-то английский майоришка из «Интеллидженс сервис»! Но какой огромный путь отделяет нас от тех времен!

Он вложил слишком много чувства в последнюю фразу, ему пришлось на минутку замолчать; он поднял глаза, отвел руку вправо, потом вскинул ее. Теперь молчали все, не сводя взгляда с его глаз.

— Что означает ваше антианглийское бешенство, Гиммлер? И ваше, Йодль? Оно означает попросту, что вы не чувствуете уверенности в своих силах, что давшая мною оценка предательского удара англосаксов на Северную Африку для вас неубедительна.

— Фюрер! — почти с отчаянием крикнул Гиммлер.

— Нет, Гиммлер, выслушайте меня до конца. Вы паседаете на меня, маневрируете, подсовываете мне на подпись какие-то приказы, будто чрезвычайно срочные. Для чего все это? Для того, чтобы я поверил вам, чтобы я погряз в этих Туписах и Кирепайках. Вы поднимаете шум, потому что вас испугали действия англосаксов. И, как обычно, вы не правы!

Геббельс, радуясь, что он не попал в число неверующих, приободрился, глаза у него загорелись, он собирался было подбросить несколько своих замечаний. Нет, он должен подождать, пока фюрер не выскажется до конца.

— Я человек из крови и плоти и могу себе представить, что кто-то теряет власть над собой. Но вы ее теряете потому, что не верите своему фюреру! Да, да, да, не верите! — Ввиду их бурных протестов ему пришлось повысить голос. — А я еще раз вам повторяю: то, что происходит на Западе, нам на руку! Понимаете? Что вас испугало, малодушные вы люди? То, что Роммель отступает, что он там потерял немного пленных? Который это раз он отступает? Третий! Войска стран оси уже три раза переходили там

в наступление и теперь в третий раз отступают. Какое это имеет значение? Никакого. Пошлем еще двести тапков и прогоним англичан за Нил. А высадка англосаксов в Алжире нам только помогла. Очень просто: мы получили возможность оккупировать остальную часть Франции и пресечь махинации, которыми там занимались коммунисты и английские агенты. Кроме того, мы располагаем теперь более легким путем для снабжения Роммеля, потому что Бизерта у нас! Конечно, не обошлось без неприятностей. Жаль, например, кораблей, затопленных в Тулоне. И это ваша вина, Гиммлер! Вы могли организовать там более бдительный контроль и заблаговременно убрать будущих саботажников. Но я утверждаю — и со всей настойчивостью повторяю, — что дела в третьей империи никогда не были так хороши, как в данный момент. На Западе, на Востоке наши войска проникли так далеко, как никогда до сих пор! Никогда еще мы не были так близки к окончательной победе. И поэтому никогда я не был так спокоен, как теперь. А вы?

Они молчали, не решаясь посмотреть ему в глаза. Геббельс первый пришел в себя.

— Фюрер воистину слишком терпелив к нам, к нашему малодушию. Конечно, ситуация теперь для нас намного лучше, чем месяц назад. Месяц назад мы должны были угадывать, где ударят англосаксы, они ведь должны были где-то ударить, их собственные коммунисты не дали бы им жить. Поэтому нам надо было сохранять боевую готовность по всему фронту! А сегодня мы знаем, куда они нанесли этот пресловутый англосаксонский удар. Они так долго к нему готовились, что не скоро смогут его повторить. И нанесли его в конце концов не там, где это могло быть для нас действительно болезненным, не в Европе!..

Гитлеру пришлось его прервать, довольного этого глубокомыслия. И он как бы подвел итог дискуссии:

— Я силен, следовательно, я спокоен. Страсть всегда вытекает из какой-либо слабости. Садитесь, садитесь, Йодль. И с папками подождите до утра. Не хочу я себе морочить голову донесениями о каком-то очередном английском генерале. Впрочем, там их столько посмеяли! Я никогда не смогу запомнить их имена!

Он посмотрел на присутствующих. Все с Йодлем во главе дружно улыбались. Лицо у Гитлера прояснилось, салон снова показался уютным. Поезд несся как вихрь,

просекал силезские городишки и шел теперь по прямому, как шпага, пути к Кракову. Вечер был темный, холодный и дождливый, но в салопе никто об этом не думал. Здесь было тепло, свет не резал глаза, кресла были мягкие и удобные. Из кухни как раз принесли пирожные и фрукты. Ганси, увидев лакея, беспокойно заерзал.

— В чем дело?

— Я хотел бы проверить охрану... — покраснел Ганси. — Все ли в порядке... Мы въехали на территорию... генерал-губернаторства...

— Садитесь, Ганси, и не лгите. Я по глазам вижу, вам хочется закурить. Не будете курить. В Байрейте я познакомился с одним купцом, Меклем, который пригласил меня как-то к себе в Нюрнберг. На дверях его квартиры висела надпись: курильщикам вход воспрещен. Я до того не дошел, чтобы вывешивать подобные надписи, но курильщиков не терплю. Вы должны выбирать: либо я, либо табак! Абсолютно неверным является убеждение, будто солдат на фронте не может обойтись без табака. Верховное командование совершило большую ошибку в начале войны, назначив солдатам ежедневный рацион сигарет. Разумеется, теперь неудобно его отменять. Но после войны я сразу же это ликвидирую! Я жил в такой пучке в Вене, что по целым месяцам обходился без горячей пищи. Но каждый день тратил по тринадцать крэйцеров на сигареты. Однажды я подумал, что за пять крэйцеров я мог бы купить себе масло для бутерброда. Я бросил сигареты в Дунай и с того времени ни разу не закурив. Я убежден, что, продолжая курить, я никогда не смог бы устоять перед массой забот, которые позднее преследовали меня в жизни. Быть может, этой малости немецкий народ обязан своим спасением.

— Поразительно! — сказал мечтательным тоном Гиммлер. — К каким историческим последствиям может иной раз привести такой мелкий факт!

— Дело в том, — тотчас вмешался Геббельс, — что в жизни великого человека нет маловажных дел. Все, к чему прикоснется избранник судьбы, становится великим. Так, по-моему, следует объяснить событие, о котором нам рассказал фюрер.

— Наш фюрер, — не унимался Гиммлер, — конечно, обладает гениальным даром предвидения будущего. Но тогда, в Вене, и он не мог предвидеть, какие последствия повлечет то, что он выбросил в реку коробку сигарет. И я

как раз хотел бы возблагодарить судьбу за то, что она так направила тогда руку фюрера!

Гейббельс, видимо, усмотрел в этих словах некое отравленное жало, потому что покраснел и даже встал.

— А я утверждаю,— первно сказал он,— что в появлении фюрера нет ничего случайного! Историческая необходимость призвала его к жизни! Смертельные несправедливости, которые испытал немецкий народ, должны были родить своего мстителя!

— Тот, кто так гениально предвидит будущее...— начал Геймлер.

— Еще немного — и вы сделаете из меня ворожею или медиума,— перебил его Гитлер.— Предвижу, предвижу!.. Неужели вы в самом деле считаете, что своими победами я обязан дару ясновидения?

Все молчали. Его слова, его тон захватили их врасплох. Гейббельс начал кое о чем догадываться, но и он не рискнул ответить.

— Я предвижу, потому что я силен! Я так силен, что в состоянии в соответствии с моей волей изменить очередность фактов. Подумаешь, великое искусство предвидеть будущее, которым ты сам управляешь! Мой повар — более великий провидец, чем я: он с абсолютной точностью может сказать, что подаст мне на обед через два месяца!

— Но все-таки, фюрер,— пробормотал Геймлер,— интуиция...

— Интуиция! Когда я говорил, что Чехословакию разорвут национальные противоречия, я был прав, не правда ли? Я безошибочно предсказывал, а? Потому что был достаточно сильным, потому что создал партию Гейнлейна и крепко держал ее в кулаке. Когда я говорил, что в Польше усилятся преследования немецкого меньшинства, я тоже гениально это предвидел, не правда ли?..

— Но с Чемберленом, фюрер, в тридцать восьмом...— не сдавался Геймлер,— все генералы предостерегали, пугали, что война на носу, что надо отступить, и только ваша интуиция...

Гитлер посмотрел на него как-то так странно, что Геймлер осекся. Все молчали, и тишина эта была почти обескураживающей. А ведь в глазах Гитлера не было ничего грозного, в них даже, скорее, можно было увидеть веселые искорки.

— Всегда и всюду,— начал он снова,— решает сила. Чтобы быть правым, нужна сила. Чтобы тебе поклонялись, нужна сила. Чтобы метко предвидеть, тоже нужна сила. И чтобы быть спокойным, тоже, тоже, дорогой Йодль, дорогой Гиммлер, нужно полное ощущение силы. Ну, Ганси, когда мы будем в Жешове?

— Через... через два часа примерно, фюрер.

— Что ж, для ужина времени хватит. Мы должны поужинать теперь же, а то в Жешове нас ждет этот несчастный Франк, и он столько наболтает о своих бестактных поляках, что людям впечатлительным испортит аппетит. Этим предсказаниям мы обязаны не моей силе, а попросту опыту. Мельчает Франк, все более ничтожные дела не дают ему покоя. И после каждого разговора с ним я чувствую какую-то тщетность и пустоту.

Все опять дружно улыбнулся. Лакей отворил дверь, Гитлер и его сподвижники двинулись в вагон-ресторан. Гиммлеру удалось занять второе место, сразу возле фюрера, Геббельс нарочно замешкался, притворившись, будто должен что-то еще взять в своем купе. Зато Йодль послушно пошел третьим.

Опыт, в общем, не подвел фюрера. На жешовском перроне, маленьком, залепанном лужами, исхлестанном ноябрьским ветром, ждал Франк. Вид у него был такой жалкий, что охрана из лейбштандарт «Адольф Гитлер», молниеносно занявшая весь перрон, едва его не вытолкнула, приняв за какого-то второстепенного чиповника из местного крейсамта или ландвиршафта. Его выручил Ганси.

Гитлер вышел на перрон в довольно благодушном настроении: после нескольких часов езды соприкосновение с твердой почвой действовало успокоительно. И после духоты вагона приятно было подышать даже на ноябрьском ветру. Только вот Франк!..

Франк стоял навытяжку, напряженно двигал головой, руки держал по швам и не смел их оторвать от брюк. Очевидно, он хорошо понял смысл этой жешовской встречи: не заслужил генерал-губернатор нескольких часов путешествия с фюрером, он заслужил только эти несколько минут разговора на перроне под холодным дождем.

— Ну, как поживаете, Франк? — Гитлер протянул ему руку.

— Фюрер! — У Франка не хватило слов.

— Я не мог остановиться в Кракове, — не слишком изобретательно врал Гитлер, — сами знаете, на Востоке каждая минута на счету, я должен как можно быстрее быть в полевой штаб-квартире. Что у вас?

— Нехорошо, фюрер. Очень тяжело. Иначе я бы не посмел...

— Ну! — Гитлер не выносил дурных вестей и мрачных оценок; после первых слов Фрапка топ фюрера изменился, исчезла даже та не бог весть какая любезность, с которой он с ним поздоровался. — Докладывайте, по кратко. У меня нет времени.

— Фюрер! — Франк еще больше смутился и совершенно забыл про золотое правило, допускавшее в разговорах с Гитлером только приятные темы. — Больше трех лет я нахожусь в этой стране и должен заявить, что мне все тяжело.

— Ну!

— На территории генерал-губернаторства я сталкиваюсь с организованным сопротивлением. За минувший год сила этого сопротивления заметно возросла. И одновременно я должен отметить, что правительству уделяет так мало внимания делам генерал-губернаторства!

— Конкретно!

— С первой минуты, с октября тридцать девятого года, я старался, чтобы влияние рейха в генерал-губернаторстве опиралось не только на нашу армию, полицию и государственный аппарат, но и на немецкий национальный элемент и, наконец, на определенные круги внутри самого польского общества. К сожалению...

— Ну!

— К сожалению, в правительстве рейха по этому поводу нет единодушного мнения...

— Говорите короче, Франк. И конкретнее...

С Фрапком произошла странная и нехорошая вещь: он забыл о всех соображениях осторожности и стал говорить напрямую, откровенно, словно решив, что терять ему больше нечего.

— Фюрер, если мы хотим, чтобы эта страна принесла нам какую-нибудь пользу, то должны на кого-то здесь опираться. Я дорожу здесь каждым, в ком течет хоть капля немецкой крови. Я составил списки лиц, принадлежащих к немецкой нации. Можно себе представить, каково к ним отношение поляков! Иногда оно претворяется в обыкно-

венный террор. Польский террор в оккупированной нами стране! Конечно, я примерно наказываю за любые его проявления. Но дело не только в наказании. Тот, в ком течет хоть капля немецкой крови, должен знать, что родина-мать примет его с распростертыми объятиями, как блудного сына, и отнесется к нему не хуже, чем к первородным... Между тем имперская канцелярия не отвечает на мои письма по этому вопросу и на практике различия между фольксдейчем и рейхсдейчем есть, остаются, даже углубляются. Как в этих условиях можно работать?

— Дальше.

— То же самое происходит в польских делах. Я хорошо знаю, что народ этот не заслуживает никакого расположения и что некоторые его слои должны быть полностью истреблены. Однако тем более мы должны стремиться к тому, чтобы опереться на преданные нам элементы, чья помощь может быть нужна. Так, например, исключая евреев из экономической жизни, я старался связать с нами тех, кто приходил на их место. К сожалению, я не нашел поддержки со стороны правительства рейха. Когда я старался связать с нами этих людей, пообещав им какую-то незначительную часть оставшегося после евреев имущества, имперская канцелярия сделала мне строгое внушение и потребовала скрупулезной передачи в казну рейха всего, что мы получили в результате еврейской акции. В итоге для распространения пронемецких настроений в этой стране у меня не остается ничего, кроме пропаганды...

— Что еще?

— Я уже давно веду доверительные разговоры с некоторыми видными поляками о возможных формах их участия в великой европейской войне за судьбу немецкой нации. Несколько раз разговоры доходили до завершающих стадий. И всякий раз имперская канцелярия отвергала мои предложения по этому вопросу. В результате почти все, с кем я беседовал, оставили мысль о том, чтобы связаться с рейхом, и ищут поддержки у англосаксов.

— Так, так. Все?

— Фюрер, прошу простить меня. Только забота... Только забота...

— Все?

— И наконец, борьба с польским террором и саботажем... Я давно уже прошу согласия на систематическую организацию публичных казней террористов... Я придаю

огромное воспитательное значение этой форме возмездия врагам рейха. И в этом вопросе, к сожалению... Мирные средства завоевания симпатий нехороши, другие, карательные, тоже нехороши. Я сам не знаю, что мы хотим сделать с этой страной...

— Это все, надеюсь?

— Так точно. Может... какие-нибудь указания, вопросы?

— Да. У меня есть вопрос. Что сделало генерал-губернаторство для выселения поляков с территории Замостья?

— Так точно, фюрер... Конечно... Подготовительное изучение, оперативные группы...

— Конкретно, сколько поляков оттуда изъято, сколько немецких колонистов расселено?

— Точных данных, фюрер... я не подготовлен. Но сразу, сразу по возвращении...

— Да. Генерал-губернатор не подготовился. Важнейшая задача, какая перед нами стоит. Цифр нет...

— Так точно, фюрер, так точно! Я все время помню об этой задаче... Лично инструктирую...

— Но цифр нет. Почему? Потому, что генерал-губернатор проводит на своей территории свою собственную политику. Другую, да, другую, чем политика рейха. Гиммлер!

Франк вздрогнул, словно этот возглас означал, что теперь его передадут в руки Гиммлера. Лепетал какие-то оправдания, клялся, что докажет свою преданность. Гитлер подождал, пока подойдет Гиммлер, и перебил Франка:

— Послушайте, Гиммлер, что я думаю о политике Франка в генерал-губернаторстве. Доктор Франк, несмотря на мои многократные напоминания, пытается проводить здесь собственную политику. Одни польские общественные слои истребляет, другие старается привлечь. Я хочу в вашем присутствии в последний раз заявить доктору Франку, что такая политика не имеет ничего общего с намеченной мною линией поведения в отношении этнических масс генерал-губернаторства. В вашем присутствии, чтобы вы были свидетелем. Чтобы доктор Франк в будущем не мог оправдываться, утверждая, будто имперская канцелярия, мол, то, имперская канцелярия другое...

— Фюрер...

— Хватит. В сотый и последний раз повторяю, что не желаю брать на себя никаких обязательств по отношению

к кому бы то ни было из этой массы подонков и воров, которых вы, кажется, доктор Франк, признаете за нацию. Той глупости, какую патворили с Бандерой, я повторять не намерен. Ясно я выражаюсь, Гиммлер?

— О да, фюрер!

— А у вас, доктор Франк, есть еще какие-либо сомнения?

— Нет, фюрер. Больше нет.

Это было сказано не без пафоса. Гитлер слегка поморщился, но не разрешил себе усмехнуться.

— А чтобы в будущем доктор Франк не жаловался на нерасположение и отсутствие помощи с моей стороны, я дам ему один совет, одну льготу и соглашусь с одним его предложением. Во-первых, любые переговоры, а значит, любые уступки для политика — это не удовольствие, а печальная необходимость. Какая необходимость велит вам, доктор Франк, заискивать перед этими спившимися перекупщиками, которые распылились здесь после изоляции евреев?

— Фюрер, их благодарность...

— Вот именно, именно, вы сами признаетесь. Нам достаточно их благодарности. Они должны будут держаться нас, даже если мы им не окажем и крохи доверия, которого, впрочем, они не заслуживают. Не так ли, доктор?

— Так точно, фюрер, так точно.

— Вот вам и совет. Что касается льготы, она тоже является необходимостью. Я вижу, что доктор Франк переутомлен. В особенности его подводит память. А поскольку здоровье верных слуг рейха чрезвычайно нас заботит, я сплума с него одну очень важную обязанность. Гиммлер, с сегодняшнего дня на вас возлагается акция в специальной зоне Замостья с обязанностью еженедельного рапорта.

— Так точно, фюрер!

— И наконец, мое согласие. Доктор Франк не сможет меня упрекнуть, что я отвергаю все, что он предлагает. Я отвергаю все пустое и неудачное. Умные предложения, доктор, я принимаю от каждого. Я согласен с вашей идеей показательных методов борьбы с террором.

— Спасибо, мой фюрер, спасибо! — Франк снова вытянулся, голос у него задрожал, на лице появилось что-то вроде воодушевления. Он благодарил с таким жаром, словно наконец получил ключ к разрешению всех одолевавших

его забот... И словно согласие фюрера уравнивало удар, нанесенный ему за полминуты до этого.

Гитлер секунду еще думал, что означает эта дрожь в голосе, чего в ней больше — пагубной обиды или спасительного страха. Но так как от своего собеседника он не ожидал никаких взлетов мысли, дилемма тотчас же ему прискучила. Впрочем, Ганси уже вертелся у двери вагона. Локомотив сменили, новый нетерпеливо посапывал. Холодный ветер пригнал дождевую тучу. Ледяные струйки секли лица.

— Спасибо, доктор,— сказал он, вытягивая руку. Ладонь Франка была противно липкая и холодная.— Спасибо и желаю больших успехов. А особенно веры, доктор, большей веры, большего доверия к своему фюреру.

В вагоне было жарко. Вскоре жара показалась невыносимой. Гитлер опустил стекло, высунулся из окна. Поезд как раз трогался. Маленький темный перрон с призрачными синими огоньками у дверей. Одинокий коротышка Франк с плотно сдвинутыми каблуками и вытянутой кверху кистью руки.

Но скорость была уже слишком велика, все сильнее хлестал дождь. Гитлер почувствовал гнилое удушье угольного дыма и отвернулся. Ганси захлопнул окно.

Тотчас подбежал Гиммлер. Из-за стекол пенсне холодно поблескивали голубые выцветшие глаза. Нетрудно было догадаться, о чем он заговорит.

— Доктор Франк...— зашептал он.— Давно уже мне казалось подозрительным...

Гитлер взглянул на часы.

— Доктору Франку,— оборвал он Гиммлера,— мы посвятили точно четырнадцать минут. То есть, по-моему, слишком много, если припять во внимание значение дел, которые он нам изложил. Поэтому ни слова больше о Франке и его любимой Польше. Договорились, Гиммлер?

Лицо Гиммлера налилось кровью, и это не понравилось Гитлеру. Он кивнул головой, прошел через салон в свое купе. В салоне Йодль вскочил с кресла. Папок у него не было, он размахивал только листиком бумаги.

— От Цейцлера! — умоляюще прошептал он.— Очень важно!

— Вероятно, какая-нибудь глупость.— Гитлер нетерпеливо схватил шифровку.— Конечно!

Это было одно из тех штабных донесений, которые тысячами проплыли через его руки. Он с раздражением читал закругленные генеральские фразы. С таким сильным раздражением, что в определенный момент не выдержал и швырнул листок на столик.

— Сколько раз я вам говорил, Йодль, чтобы вы не смели мне морочить голову мелочами?! Сколько раз?

— Фюрер! — пролепетал Йодль. — Только исключительная важность...

— В чем эта исключительная важность?

У Йодля тряслись руки, когда он вторично протянул листок. Гитлер заставил себя успокоиться. Трясущиеся руки Йодля немного ему помогли.

«Барон фон Вейхс докладывает: сегодня в четыре утра большевистские войска крупными силами перешли в наступление на фронте третьей румынской армии. К западу от Клетской сломлена оборона четвертого румынского корпуса в юго-западном направлении. Одновременно прорван фронт второго румынского корпуса в южном направлении...»

— Карту! — прошипел Гитлер.

Свернутая в рулон, она была у Йодля под мышкой. Придерживая ее края портсигаром и пепельницей, он расстелил карту на куцем столике. Они склонились над ней. Большая дуга Дона, выпяченная к востоку. Варварские названия возле редких кружочков населенных пунктов. Только возле жирного пятна Сталинграда, уцепившегося за Волгу, этих кружков сбжалось больше.

— В полдень они были к северу от Перелазовского, — шептал Йодль, водя пальцем по карте. — А также в районе Селивановской. Вот здесь, фюрер, ниже, о, значительно ниже.

— Ну и что с того, что ниже? — Гитлер выпрямился. — Замечательно!

Йодль взглянул на Гитлера чуть снизу. Что-то странное сверкнуло у него в глазах. Достаточно было этой искорки для взрыва.

— Я ведь говорил, что глупости! — крикнул Гитлер и хлопнул кистью руки по карте. — Мои генералы более суеверны, чем штирийские бабы! Я ведь знаю, что вы имсете в виду, Йодль! Что там уже зима — и вы тут целкаете зубами со страху. Ну, что вас так испугало, что?

— Фюрер! — шептал Йодль. — Умоляю, минуту внимания....

— Та зима не повторится, Йодль. Твержу вам, кричу вам много месяцев. Та зима не повторится...

— Одну минутку, фюрер...

— И знаете почему? Потому что теперь я командую, а не какой-то там Браухич. А меня эти страхи не пугают, понимаете, Йодль?

Йодль явно не понимал. Надо было повысить голос.

— Что вас так испугало? Что прорвали оборону? А как было под Старой Руссой? Не только прорвали! Окружили всю армию! Для догматиков вроде вашего Браухича десятой части этого было бы достаточно, чтобы обратиться в бегство! Но командовал я! Воля, Йодль, воля решает! Когда неприятель прорывается, он не обязательно должен нас окружить! Еще до того он сам попадает в наше окружение. Как было под Харьковом, Йодль! Полгода назад!

Печальный, усталый Йодль встал павытяжку. Он по смотрел в глаза, смотрел куда-то в сторону и ниже. Он сдался.

— Хорошо, Йодль. Даю вам вашу минуту.

— Фюрер, только умоляю вас, выслушайте спокойно! Само по себе, действительно, донесение еще ничего не значит. Все зависит от того, какие силы враг сумеет ввести в действие.

— Предположим, что большие. Что с того?

— Ведь это удар по коммуникациям шестой армии.

— Разумеется. Ну и что с того? Что вы предлагаете?

— Фюрер... — Йодль переминался с ноги на ногу. — Не стоит ли просмотреть дислокацию частей фон Паулюса? Теперь, когда мы практически захватили Сталинград, концентрация в самом городе такой внушительной силы...

— Вы хотите отвести часть войск в тыл?

— Воссоздание стратегических резервов...

— То есть вы хотите сделать именно то, чего добиваются русские? Как я должен это понимать, Йодль? Уже три месяца все русские контрнаступления направлены к одной цели — оттянуть наши войска из района Сталинграда. Как я должен понимать то, что мой ближайший советник предлагает мне сыграть им на руку?

Он говорил это сурово, почти с угрозой. Йодль вел себя как полагается, он побледнел и замолчал. Он не отважился шутить!

Гитлер зато почувствовал явное облегчение: хлопнул Йодля по плечу и улыбнулся.

— Я шучу, Йодль. Я ценю остроту вашей мысли. Я знаю ведь, что вы имеете в виду. Бойтесь Канн? Глупости, Йодль. Покажите лучше, каковы резервы третьей румынской армии.

— Первая кавалерийская дивизия и двадцатая пехотная, фюрер.

— Вот видите. Достаточно.

— ... кроме того, в распоряжении барона фон Вейхса Сорок восьмой бронетанковый корпус.

— Ну и отлично. Больше, чем требуется.

— Сорок восьмой корпус уже получил приказ двинуться на Клетскую.

Гитлер еще раз бросил взгляд на карту.

— Хорошо. Покойной ночи, Йодль. И выше голову! Когда они попадут в мешок, мы их будем вынимать оттуда голыми руками!

Все-таки он вынудил его улыбнуться. Гитлер вошел в купе с прояснившимся лицом. Потом вспомнил страшный декабрь минувшего года. Никогда, никогда он не позволит себе так терять голову! Эти приступы ярости! Увязание в мелочах! Ведь тогда, прогнав Браухича, он проводил у карты по двадцать часов в сутки, каждой дивизией распоряжался лично, каждому полку непосредственно отдавал приказы. Со стыдом он вспомнил ту страшную зиму. Ведь это значит, что он потерял веру в самого себя! Он заставил себя успокоиться. Никогда больше это не повторится!

Как всегда перед наступлением ночи, он почувствовал страх. Уснет ли? Морелль уже ждал в соседнем купе. Гитлер открыл дверь и кивнул ему. Морелль вошел, он принес на тарелочке три голубые пилюли и одну зеленую.

— Я очень устал, Морелль. Хватит ли мне этого?

— Фюрер, после такого заряда слон уснет как дитя.

Гитлер посмотрел с сомнением: уместна ли эта острота? Потом улыбнулся. В старом добром стиле немецкого народного юмора.

Он лежал четверть часа с «Заратустрой». Заснул так внезапно, что едва успел высунуть руку, чтобы погасить свет.

Пробуждение пришло тоже внезапно, и он не успел заметить, как вскочил с кровати. Он стоял в полной темноте и тяжело дышал. Что случилось? Поезд шел сквозь почь. Гитлер отогнул край занавески. Грязная белизна снега, редкие черные обрубки деревьев. Ни огонька, ни искорки. Он отворил дверь в коридор. Ночные голубые лампочки. Часовой трясется, опершись о стену. Задремал.

Всюду спокойствие, ночь, тоска. Не приснилось ли ему что-то? Ничего. Только внезапная, непонятная сила рванула его и выбросила из кровати, как из пращи. Не случилось ли чего-то плохого вчера?

Сразу же вспомнилось. Это все проклятый Йодль. Надо ему было, черт его дери, надо было как раз перед спом...

Он тут же забыл о Йодле. Набросил шинель на меху. Ганси выскочил из своего купе, попытался его задержать, потом семенил сзади, озябший, зевая от страха.

Вагон оперативного управления был ярко освещен. Гитлер, стиснув зубы, принуждал себя сохранять спокойствие, сам себя уговаривал: первая кавалерийская, двадцатая пехотная, сорок восьмой бронетанковый закрыли прорыв, давно закрыли...

Еще до того, как вошел, он уже понял, что отсюда идет таинственный призыв, пять минут назад вырвавший его из спасительного небытия. И что тщетны его самые яростные заклятия.

В вагоне все было в движении, словно это происходило в полдень, а не в три часа утра. В большом салоне по крайней мере с полдюжины оперативных офицеров склонились над картой, размахивая белыми листками телеграмм. Офицеры отстраивали друг друга, потом опять сталкивались, что-то подклеивали, втыкали булавки, препирались сквозь зубы.

Не замеченный ими, Гитлер постоял молча некоторое время. Он слышал, как учащенно они дышат. Слышал обрывки фраз: «на северо-восток, в направлении Клетской», «нет, на северо-запад, в направлении Серафимовича», «у меня подтверждение от фон Вейхса», «ничего подобного, у меня копия Цейплера», «провалились они к чертовой матери, что же они делают с сорок восьмым? Что это, пожарная команда? Удар на Моабит, удар на Панков? Где у них головы, господа, где головы?»

— Сорок восьмой! — Гитлер внезапно услышал собственный крик. Он словно плеснул водой в костер, такая тишина воцарилась в вагоне. Только старший из оперативных офицеров выпятил грудь и щелкнул каблуками.

— Господа!..

— Где сорок восьмой? — кричал Гитлер, уже склонившись над картой. — Где первая кавалерийская дивизия, где двадцатая?

Офицеры стояли полукругом, вытянувшись в струнку, и молчали. Никто из них рта не открыл. Никто не взял на себя ответственность за донесение.

— Фюрер... — Это Йодль выбежал из кабинета, вероятно вызванный Ганси. — Может, пройдем ко мне, фюрер, у меня все...

— Куда эти шуты загнали сорок восьмой? — У Гитлера перед глазами метались белые искры. — Почему не закрыли прорыв сразу, полностью?

— Фюрер, сорок восьмой направили...

— Куда?

— На Клетскую. Рассчитывали, что с той стороны последует главный удар. Но...

— Но! Но! А между тем главный удар из Серафимовича, да?

— Фюрер, ваша интуиция...

— Каждому это ясно! Кроме моих генералов! И где, где сорок восьмой находится в данную минуту?

Дрожащим пальцем Йодль тыкал в карту.

— Превосходящие бронированные силы противника... Корпус застигли врасплох на марше... бои продолжаются...

— Где?

— И направлении Усть-Медведицкой.

— Какой осел их туда загнал? А?

— Приказ барона фон Вейхса.

— Чепуха! А здесь что?

— Пятнадцатая румынская дивизия. Окружена.

— Сюда! Сюда немедленно! Выручить! Вместе с ней на переправы! Отсечь! Закрыть прорыв! Окружить!

— Фюрер...

— Хватит! Хватит, я говорю! Выполнять приказ!

— Фюрер...

У Гитлера свело челюсти, пропал голос. Он лишь поднял кулак и с такой силой хлопнул по столу, что стеклянная доска треснула, словно пронзенная пулей.

Йодль выбежал из купе. Гитлер упал в кресло, наклонился над картой, водил пальцем от кружка к кружку, искал голубые значки, бормотал под нос: зенитный полк, фронтовые базы, выздоравливающие... Двадцать девятая моторизованная. Немедленно заткнуть прорыв...

В Плоскирове серый рассвет. Пустой вокзал, лениво падающий снег за окнами. Гитлер встал из-за стола, шатаясь направился в салон. В вагоне оперативного управления его снова встретила ледяная тишина. Он даже не взглянул на офицеров.

Поезд стоял довольно долго. После завтрака и очередной порции мореллевых пилюль он хотел было выйти на перрон, но тут бледный Йодль выглянул из коридора.

Гитлер вскинул руку.

— Двадцать девятая двинулась на Клетскую?

— Двинулась, фюрер... то есть нет... фюрер.

— Что это значит? Да или нет?

— Фюрер, дурные вести...

Гитлер подбежал к нему, вырвал листок.

«Сегодня с утра большевики нанесли удар к югу от Сталинграда на левом фланге четвертой румынской армии, прорвав фронт в районе...»

— Двадцать девятая?

— Ее сразу ввели в действие.

— Задержала?

— Но заблаговременно, фюрер... Задержала, это точно, но только заблаговременно...

У него уже не было сил кричать. Не было сил, чтобы заразить этих ничтожных маловеров порывом вдохновения. Он отвернулся.

— Доложите о действиях сорок восьмого! — бросил он через плечо. — Где находятся большевики? Прут на юг, да?

— Нет, фюрер...

В глазах Гитлера что-то сверкнуло. Он схватил Йодля за руку.

— Задержали?

Йодль покачал головой. Отрицательно.

— Не на юг, фюрер.

— На запад?

— На восток.

Они встали над картой. Красная черта от Дона прерывалась на юге и потом сворачивала на восток, нацелен-

ная на Сталинград. Теперь навстречу ей, к югу от Сталинграда, появился небольшой выступ. Как раз возле Тундутова.

Йодль с беспокойством поглядывал на Гитлера. Тот махнул рукой и приказал отойти. Долго стоял один, вглядываясь в карту, призывая из своего подсознания какие-то таинственные, скрытые от глаз обыкновенных людей силы, спрашивая их, что означает то, что происходит на этой карте, ожидая, пока они подскажут, что делать, что он должен делать.

Его подсознание ничего ему не говорило, ничего ему не подсказывало. Была только усталость, и в конце концов он ей поддался.

Гитлер выпел из салона. В коридоре его поджидал Гиммлер. Притворился, будто вчера между ними ничего не произошло.

— Фюрер! — стукнул он каблуками. — Я обдумал перспективы создания специальной зоны Замостья. У меня есть предварительные проекты. Не согласитесь ли вы милостиво бросить взгляд?

Гитлер прошел мимо него, не останавливаясь. Он его не слышал и не видел. У него были пустые глаза.

Вышеизложенное не претендует на документальную точность, когда речь идет о местопребывании Гитлера в описываемый период. Зато точны военные данные. Некоторые высказывания Гитлера приведены дословно из опубликованных после войны стенографических записей его выступлений. — *Прим. автора.*

МОСКОВСКОЕ НЕБО

Тепла и темна летняя июльская ночь. Липовые аллеи стоят у реки в облаках горячего сладкого аромата. Запах душистого табака на клумбах перед расположенным полукольцом небольшим старинным особняком. Тяжелые ночные бабочки бесшумно парят над цветами, летают вперед и назад — спокойно, беззаботно, как в лесу. Ни одного огонька. Столица Страны Советов утонула в темноте. Не видно города-великана. Ночная Москва — совокупность миллионов огней, движения, говора — исчезла, слилась воедино с необъятными русскими полями и лесами. Яркое зарево света, видимое на десятки километров, погасло, слилось с почной тьмой.

Месяц войны как бы поменял ролями землю и небо. Земля стала темной, небо светлым. Сотни прожекторов обозначают горизонт, колеблются — далекие, прозрачные, стройные, как камыш над берегом черного озера, перекрещиваются и вновь возвращаются в вертикальное положение, острокопечные, как клинки, как стальные прутья решетки ограды, защищающей подступы к Москве от ночных разбойников и убийц.

Где-то там, далеко на западе, плотный огонь советских ночных истребителей уже встретил первые волны фашистских коршунов, расшвырял их, обратил в бегство. Но ночь глубока и темна, нескольким воздушным разбойникам удалось прорваться сквозь огонь заграждения, и теперь они жужжат, как надоедливые ядовитые мухи, летая вокруг города, пытаются подобраться ближе.

Длинные артиллерийские раскаты. Сигнал воздушной тревоги. Тревожные гудки. Хлопают двери, люди торопливо переходят в убежища. Члены добровольных дружин

противовоздушной обороны занимают боевые посты. Еще не умолк последний гудок, а все уже на своих местах.

Одно из таких мест на крыше многоэтажного дома в центре города. Враг еще не прорвался сквозь огненное кольцо прожекторов и разрывов снарядов зенитных батарей, опоясавшее московское небо на ближних подступах к столице. На боевом посту дружинников еще относительно спокойно, и первое, что поражает человека, — это фантастическая декорация ночного неба.

Прожекторы. Они весьма подвижны. Здесь и там врезаются в небо более сильные и толстые лучи — вспыхнули ближние прожекторы. А те, дальние, блекнут и кажутся потерявшими окраску нитями небесной ткани. Колеблются, взаимно пересекаются, неожиданно гаснут, чтобы через минуту вновь брызнуть фонтаном света. Ближние лучи медленно, дюйм за дюймом перебирают высокое небо. Звезды гаснут при их прикосновении и через секунду вновь загораются — такие же яркие, июльские звезды. Вот в зените, почти над головой, созвездие Вега, вот красный Сатурн. Сноп прожектора сметает его. Затем на небе возникает не один Сатурн, а несколько. Они вспыхивают на какую-то долю секунды, чтобы снова мгновенно погаснуть.

Горизонт грохочет. Выстрелы пушек зенитной артиллерии сливаются в одну протяжную мелодию — будто гигантская повозка, груженная железом, мчится по ухабистой мостовой. Звуки и изображения теряют связь между собой. Те красноватые точки, вспыхивающие высоко в небе, те полусекундные Сатурны — это разрывы зенитных снарядов. Враг над городом!

Нервы напряжены в ожидании. Небо повисло над головой, огромное, полное неожиданностей, которые не сразу распознаешь. Точки, точки, красные, маленькие, вспыхивающие на большой высоте.

Грохот орудий усиливается, повозка с железом поспешала галопом по каменным глыбам и рытвинам мостовой. На горизонте короткие, обрывистые вспышки, будто далеко за городом бушует гроза. В небе все больше красных точек, столь быстрых, мгновенных, что подчас они кажутся обманом утомленного зрения. И вдруг внезапно среди них вспыхивает нечто иное, более яркое, и долго не гаснет. Не успеешь еще сообразить, что же это такое, а тех ярких беловатых огней уже множество. Они повисли над городом,

не гаснут. Проходят минуты, пока заметишь, что эти огни медленно опускаются вниз, приближаясь к тебе.

Это ракеты, выброшенные на парашютах ночными разбойниками из гитлеровских бомбардировщиков. Воздушные пираты хотят увидеть объект своего злодеяния. Медленно плывет целое стадо осветительных ракет. Сверкает оно трупным светом, подплывает все ближе. Уже видны очертания крыши, трубы соседних домов. Неприятное чувство поднимается в груди: в темном небе кружат убийцы, высматривают свои жертвы, эти ракеты — их глаза.

Бить, бить без пощады по этим вытаращенным глазам! Секунды удлиняются. И вот внезапно над землей брызжут искры. Из-за крыш домов вылетают целые их потоки. Огромные снопы искр — продолговатых, зеленых и красных — пунктиром проносятся сквозь непроглядную темень ночи, обгоняя друг друга. Вылетают искры из разных мест, по сходятся в выси в одной точке и прошивают планирующие ракеты. Проходят минуты, пока долетают звуки выстрелов, сыплющих эти искры. Слышится ритмичное постукивание пулеметов: «Та-та, та-та, та-та!»

Ракеты плывут медленно, всем стадом, всей вереницей. Их мертвенный свет усиливается. Огонь зенитных пулеметов светящимися пулями окружает их со всех сторон. Вдруг одна из ракет раздваивается, уже не парит медленно и плавно, заколебалась, начинает падать. Ночной разбойник, мечущийся там вверху, уже потерял один свой глаз.

Небо прошито пунктирами пуль. Вылетают они с большой скоростью, одним молниеносным скачком проносятся в выси над головой наблюдателя, летят дальше, и кажется, что скорость их полета уменьшается. Заблуждение: так показалось, потому что они уже далеко. В их движении есть нечто эластичное, пружинистое. Как огненные стрелы, выпущенные с натянутого лука, они прошивают мягкое, податливое небо и где-то там далеко тонут в темноте, как в воде.

Две, три, пять ракет, разбитых этим огнем, падают погасшими на дно ночи. Смотришь, как они тонут во тьме, и в сердце пробуждается одновременно и радость и злоба. Злоба и ненависть к лютому врагу, к его мрачной, смертоносной силе, к его кровожадному способу мышления. И радость от того, что на эту слепую, безрассудную силу хищника мы отвечаем еще большей нашей силой, ясной и не-

преоборимо могучей, что в этом поединке правота на нашей стороне, что мы победим.

На горизонте десятки коротких, разорванных, конусообразных языков белого пламени. Не успеваешь сообразить, что же это такое, а уже в нескольких местах ослепительная белость зарумянилась, стала кровавой. Стервятники сбросили зажигательные бомбы. До места их падения далеко, можно только смотреть и злобно сжимать кулаки. Можно только всей силой своей воли желать выдержки, отваги, быстроты действий людям, которые борются с огнем там, на отдаленных крышах.

О, в отваге и быстроте действий не откажешь этим невидимым защитникам. Белые вспышки пламени возникали во многих местах, но сразу же и погасали. Их проглотила московская ночь — только это и видно отсюда. Но мы догадываемся, как там было в действительности. Московские люди — рабочие, интеллигенты, женщины, занявшие по тревоге свои посты на чердаках и крышах и охранявшие там спокойствие и неприкосновенность родного города, — самоотверженно набрасывались на эти пламенеющие, яркие комки раскаленного металла, засыпали их песком, бросали их в бочки с водой, хватали «зажигалки» за хвосты и выбрасывали с чердака вниз, на дворы, чтобы там другие защитники любимого города растоптали их до конца.

Только в двух местах пламенеющая белль перешла в грязноватую, свекольную красноту. Но и там не дали ей вспыхнуть пожаром. Видно было издалека, как один из очагов пожара уменьшался, ослабевал, затухал. И вот уже осталась от него только тучка дыма, затем и она пропала. И вновь все вокруг поглотила непроницаемая темень.

...Грохот не смолкает, трещат установленные вблизи пулеметы. Все небо разрисовано лучами прожекторов, полосами полета светящихся пуль, вспышками разрывов снарядов, остатками несбитых ракет и зажигательных бомб. Едва ли найдешь где-нибудь кусочек чистой, неисписанной черноты. Вряд ли также можно выхватить в непрерывном грохоте выстрелов и взрывов какую-то долю секунды относительной тишины, какой-то момент покоя. И именно в эти мимолетные и неуловимые перерывы можно услышать далекое, долетающее с большой высоты угрюмое завывание мотора. Убийца над нами, кружится в темноте, теряя ориентацию, не зная, что делать, как вырваться из этого ура-

гана взрывов, из этого света прожекторов, грозящего возмездием.

Снова бесятся пулеметы. Все близлежащие крыши мгновенно озаряются фонтанами светящихся стрел. «Бах-бах!» Ближняя зенитная пушка раз и другой грохнула, как бы предвещая начало новой схватки с воздушными пиратами. Откликнулись на ее вызов десятки зениток в других местах. Все небо, как бы раскачиваясь, загрохотало гигантскими ямбами грома: «Бах-бах, ба-бах, ба-бах!»

Стреляет вторая зенитка, третья, десятая... То, что минутой раньше казалось вершиной ночного грохота, теперь представлялось почти идеальным спокойствием. Тогда был лишь запев, а теперь защищающаяся от ночных убийц Москва заговорила с ними в полный свой могучий голос. Грохот и огонь. Десятки красных и зеленых пунктиров. Деревянный треск зенитных пулеметов. Бесчисленные рои огненных стрел.

Человек совсем уже запутался в этих двух категориях происходящего вокруг. Точки и стрелы, те двуцветные, красные и зеленые пунктиры, убегающие в ночную тьму, — это одно. Грохот и трескотня — это нечто другое. Человек не в состоянии уже ассоциировать то и другое, установить взаимосвязь первого со вторым, понять, какой пунктирной черточке, какому разрыву снаряда соответствует этот грохот и треск.

И во всем этом хаосе внезапно возникает что-то новое, чуждое, грозное, угрожающее. Слышится протяжный свист.

— Внимание! — крикнул кто-то.

Метрах в двухстах вспыхивает клубок огня — краткий, как мгновение. Раздается близкий грохот взрыва, более близкий, чем кажется. Многоэтажный дом заколебался, один раз, другой. Где-то дальше зазвепели стекла.

Фугасная бомба! Уже не видно даже места ее падения. Куцая туча дыма медленно поднялась над городом и через минуту бесследно исчезла в ночной тьме.

Грохот, грохот, грохот. Город зияет огнем. В небо летят снаряды и пули. Неважно, наверное, должен там чувствовать себя ночной разбойник, грабитель, хищник. Проует, видимо, хитрить, чтобы спасти свою шкуру, лезет ввысь, вывертывается туда и сюда.

Грохот. Ослепительные вспышки выстрелов и далеких разрывов снарядов, грозное шагание по небу лучей про-

жектеров, трескотня пулеметов. Все это слилось теперь в одно возвышенное, напряженное, горячее чувство борьбы.

На фоне скоротечности боевых усилий, огромного пакала борьбы вдруг слышится спокойный мелодичный звук часового механизма, выбивающий час. Нельзя понять, как эти серебристые нежные звуки дошли до нас, как они не затонули в наводнении взрывов, в шуме ночного боя.

Это Кремль. Бьют Кремлевские куранты. Необычное ощущение. Возвращаются спокойствие и уверенность. С облегчением сознаешь, что ночь подходит уже к концу и недобитый убийца вынужден будет вскоре убраться прочь. С радостью думаешь о том, что, несмотря на потоки взрывов, несмотря на паводок огней, несмотря на страшный ураган, который бесится здесь ночью, все остается на своем месте, все идет нормально, проторенным путем, все в порядке.

Этот спокойный звук отрезвляет уставшего, успокаивает расшалившиеся нервы, возвращает рассудок. Это голос капитана на палубе корабля, борющегося со штормом. Он действует как крик петуха в гоголевском «Вие».

Восток начинает светлеть. Еще одна пригоршня белых вспышек зажигательных бомб мелькнула где-то в пригороде. Темнота поглотила их мгновенно без остатка. Через минуту не знаешь даже, где они упали.

Лучи прожекторов на востоке начинают теряться в помутневшем предрассветном небе. Подходит конец ночи. Где-то далеко продолжают еще свой говор зенитные пушки. А здесь уже спокойно.

Выныривают медленно из тьмы крыши домов. Здесь и там видны на них постовые — добровольцы противовоздушной обороны. Стоят они на своих местах, зорко всматриваясь в небо, не выдавая ничем своей усталости после еще одной ночи борьбы с ненавистным врагом за целостность и безопасность прекрасного большого города, после еще одной победы.

Отбой тревоги.

С утра Москва особенно хороша. Над ней солнце и легкая мгла. С высоты поста ПВО видны архитектурные ансамбли столицы, огромные здания вдали, перспективы новых улиц, лента Москвы-реки, ясные конструкции мостов, деревья.

После отбоя идешь по городу и вновь чувствуешь сросшиеся воедино ненависть и радость. Ненависть к врагу,

который посмел соблазниться бредовым помыслом об уничтожении этого города, и радость, что ему это не удалось и никогда не удастся.

Потоки людей и автомобилей на перекрестках улиц. Энергичные загорелые лица, решительные взгляды. Эти люди защищали свой город минувшей ночью, как и каждую ночь с начала войны. Это они с остервенением набрасывались на зажигательные бомбы, проклиная врага на чем свет стоит, тушили пожары в самом их зародыше. Они идут теперь с боевых постов и горды тем, что не напрасными были их отвага и труд. Любимый их город, город большого будущего, столица Родины — Москва устояла перед очередным налетом врага и останется навсегда.

Сегодня теснятся людские толпы на одной из площадей. Тесным кольцом окружили они черный, исполосованный огнем зенитчик самолет. Это один из коварных убийц, один из сбитых в московском небе почтовых разбойников. Крест на фюзеляже такой же, какой был у крестопосцев. Крест хитца и свастика на хвосте коршуна. Не случайно два эти знака начертаны на фюзеляжах гитлеровских бомбардировщиков. Гитлеризм объединил в себе все самые худшие германские традиции. Это, по существу, те же самые отъявленные грабители и убийцы, которые семьсот лет назад, богохульно прикрывая плечи крестом, двигались на север и восток Европы, стремясь покорить славянские народы. Это те же самые кровавые грабители и убийцы, которых славяне «учили разуму» на льду Чудского озера, на полях под Грюнвальдом, которых гневно изгоняли в 1918 году с украинских, белорусских и польских земель. Это те же самые ненавидимые убийцы, и конец этого самого кровавого их похода на восток будет таким же бесславным.

Люди стоят в молчании и смотрят на сбитый бомбардировщик. Не первый это и не последний. Жители Москвы привыкли уже к их виду, к шуму их моторов и научились не только их ненавидеть, но и воплощать свою ненависть в молниеносные, уверенные и решительные действия, которые сводят к нулю любые усилия новых патентованных убийц. Молодые ребята, а таких много в добровольных дружинах противовоздушной обороны, смеются над зажигательными бомбами. Несколько дней развивалось среди них своеобразное соперничество: кто больше потушит таких

бомб и больше соберет их стабилизаторов — ведь это своеобразные «скальпы».

Самолет лютого врага беспомощно стоит на площади. У него обломаны крылья, разбит мотор. Стоит напоказ. Ночью его не видно. Днем же гитлеровские стервятники не осмеливаются сюда летать. Однако мне кажется, что этот самолет выставлен напоказ не только жителям Москвы, но и разбойникам из гитлеровской авиации. Он как бы говорит им: смотрите, что вас ждет, если осмелитесь еще раз замахнуться на целостность Москвы. В садах, на которые палатают вороны, обычно вывешивают на длинных шестах убитых вороньих стервятников. Так и в данном случае.

Сбитый стервятник гитлеровской авиации стоит на московской площади как зримый образ того, что произойдет со всем фашизмом.

В машине нас было четверо, пятый — шофер. Кроме шофера, все мы три года назад бежали из Львова. Разумеется, пассажиры подобрались не случайные. Львов освободили несколько дней назад. Каждый из нас оставил там кого-то из своих близких. И когда полковника Блонского послали туда по служебным делам, нам удалось получить краткосрочные отпуска и отправиться вместе с ним на его редакционном «виллисе».

Машина была великолепная, шофер — тоже. Мощенное клинкером красноватое шоссе устремлялось под колеса, словно блестящая шелковая лента. Был жаркий августовский день, но ветер обдувал нас, и, чтобы охладиться, достаточно было расстегнуть ворот мундира или протянуть вперед руку и поймать в рукав струю встречного ветра, освежавшую плечи и грудь.

Поручик Циммерман, который служил где-то по хозяйственной части, предусмотрительно купил на дорогу несколько килограммов вишен. Мы то и дело запускали руки в огромный пакет, вытаскивали пригоршни рубиновых ягод, выплевывали косточки.

Циммерман, молоденький хорунжий Колода и я сидели сзади на плоских подушках, брошенных прямо на железную лавку. Блонский, как хозяин, занял привилегированное место подле шофера — на пружинном сиденье. «Виллис» был классический, то есть открытый. При каждом толчке мы, сидевшие сзади, взлетали на воздух, ибо не за что было ухватиться, и на какую-то долю секунды превращались в стремительные болиды, чтобы потом с замиранием сердца упасть на подсакивающую железную лавку.

Это было единственное неудобство нашего путешествия, но могло ли оно испортить настроение?

Начинался август 1944 года, шло последнее лето войны. Мы ехали к семьям, оставленным три года назад. И машина и дорога были прекрасны. Мы только что выехали из Люблина, а вечером уже будем во Львове. От радости всех почему-то обуяло хвастовство. Каждый хвастался соответственно своим возможностям и служебному положению. Виллис, взвизгнув тормозами, лихо преодолел крутой поворот, у нас захватило дух, а Блонский обернулся и подмигнул:

— Ну и машина у меня!

Циммерман утвердительно кивнул и похлопал его по плечу. Потом, супув ему под нос рукав своего мундира, крикнул:

— Пощупайте! Вот это габардин!

У Колоды не нашлось ничего лучше тяжелого, самого обыкновенного пистолета. Он положил руку на кобур, взглянул на меня, ища поддержки, и прошептал:

— Хороша пушка!

Незаметно это перешло в какую-то игру. Каждый, оказывается, служил в лучшей части, не мог похвалиться начальником и был самым метким стрелком. Разумеется, зашла речь и о женах. Блонский и тут одержал верх: его половина была якобы так красива, что в округе говорили: «Это второй дом от того, где живет прекрасная Клара».

Мы с Циммерманом старались не отстать от полковника. Наши жены тоже были красивые, умные, верные. Мы расписывали цвет их глаз и волос, пока Блонский не достал фотографию.

Прекрасная Клара была действительно прекрасна. Огромные черные глаза, осененные длинными ресницами, тонкие дуги бровей. Нос прямой, пожалуй, слегка длинноватый, губы пухлые, капризные, что называется, созданные для поцелуя. Мы глазели на нее, пока Блонский с гордой, но уже несколько ревнивой улыбкой не отобрал фотографию.

— Теперь понимаете, что значит «дом, где живет прекрасная Клара»? — бросил он через плечо. — Да что красота! Если бы я гнался за красотой, то достаточно было бы вырезать картинку из рекламы мыла «Пальмолив». Самое главное — дупа! Это не только жена, это друг! Все понимает, все прощает. Вот она какая, моя Клара! Ну а ваши?

Мы с Циммерманом посмотрели друг на друга. В разговоре конкурировать с полковником было легко, за язык нас тянуть не приходилось. Но фотография прекрасной Клары оказалась слишком веским аргументом. Мы бы, конечно, переменили тему, если бы Блонский не стал упорствовать.

Жена Циммермана была совсем в другом стиле: походила на разбитую служапку. Вздернутый носик, ямочки на щеках.

— Веселая, словно кошечка, — комментировал ее фотографию счастливый супруг. — Прямо пестка из стихотворения Адама Мицкевича «Будрыс и его сыновья». А как меня любит! Бывало, войдет в комнату — за окном пепастье, а мне кажется — солнышко выглянуло.

Короче, он кое-как выкрутился с помощью этого солнышка. Я тоже обходным маневром избежал лобовой атаки Клары: принялся расписывать невообразимый оттенок золотых волос моей девушки, якобы не переданный халтурщиком-фотографом. Однако мы оба постарались как можно скорее замять этот разговор.

С добродушным схиством мы напустились на Колоду, который божился, что тоже женат, хотя ему было не больше двадцати и поэтому он мог сочетаться браком в лучшем случае семнадцатилетним подростком.

Припертый к стенке, Колода вспыхнул и, к нашему изумлению, тоже достал фотографию. Мы увидели вполне совершеннолетнюю женщину со старомодной прической и снова подняли его на смех. Пупцовый Колода клялся всеми святыми.

Пренеполненные этой добродушной насмешливости, мы въехали в Краснотав. Машина остановилась на площади в центре города, нас окружили зеваки, мы припились спрашивать, как проехать к окраине и какова дорога. Один крикнул, что хорошая, другой вспомнил о каком-то сожженном мостике, третий стал утверждать, что это, мол, неправда, и тон у него был такой уверенный, что мы, больше ни к кому не обращаясь, двинулись дальше на полном газу.

— Разве сегодня воскресенье? — спросил я, разглядывая толпы гуляющих.

— С чего это ты взял! — воскликнул Циммерман.

— Разгуливают совсем по-воскресному.

— Конечно! У всех праздничное настроение. Свобода! А у нас разве не праздничное настроение? — кричал через плечо Блонский. — Мы счастливы — вот что. Дождались конца Гитлера, едем к семьям. Сколько еще до Львова? Сто двадцать? Сколько делаешь в час? — толкнул он в бок шофера. — Восемьдесят? Через полтора часа будем на месте. Ну, газуй!

Мы вырвались из кривых улочек на прямую дорогу с разбросанными кое-где вдоль обочин деревенскими домишками. Шофер послушно прибавил газу. Возбужденные движением, палящим солнцем и радостью, мы принялись что-то выкрикивать и показывать друг другу великолепную, обсаженную тополями дорогу.

И вот таких, смеющихся, размахивающих руками, нас рванула какая-то бешеная сила. Машина на полном ходу свернула влево. Я отделился от сиденья, ничего не чувствуя, не понимая — ясно было только, что я лечу куда-то вниз головой. Потом патыкаюсь лбом на какое-то препятствие. словно чья-то могучая рука схватила меня за шиворот, как расшалившегося щенка, и безжалостно ткнула носом в землю.

Это ощущение, казавшееся беспредельным, внезапно исчезло. Я открыл глаза и обнаружил, что лежу на куче песка, оставшегося от дорожных работ. Поднял голову, повернул вправо, потом влево. Не больно. Приподнялся на локтях. Увидев своих спутников, вскочил.

Они лежали неподвижно, вповалку, раскинув руки и подогнув колени. Глаза были закрыты, рты разинуты, лица мертвенно-бледны. Я бросился к ним, преследуемый навязчивой мыслью: не все счастливы, а только я один.

Схватил за плечи того, что лежал ближе. Это был шофер. Он тут же, словно проснувшись, открыл глаза.

— Полный порядок! — воскликнул водитель, а потом с невыразимой ненавистью добавил: — Вот он, гад!

И показал вперед, на мостик метра в два шириной, который был переброшен через капаву, перерезавшую шоссе.

— Довольно болтать! — крикнул я, бросаясь к другому пострадавшему. — Идите сюда!

Вот открыл глаза Колода, за ним Циммерман, Блонский. Однако они продолжали лежать и тихо стонали. Колода с трудом сдерживал слезы, прижимая руку к клю-

чице. У Циммермана что-то случилось с локтем, Блонский не мог шевельнуться, очень болело правое бедро.

Из окрестных домов сбежались люди. Запрягли лошадей, мы подняли раненых и уложили на телегу.

Блонский простонал сквозь зубы:

— Видал, как я расхвастался! Вот тебе и вечер в семейном кругу.

— Пустяки! — попытался я его утешить. — Три года прождали, можно еще один денек потерпеть. Вам сделают перевязку, а завтра утром — в путь-дорогу. Лишь бы машина была в порядке...

Блонский покачал головой. Он не мог пошевелить ногой без стога.

— Обо мне говорить нечего. Только ты один такой счастливчик!

2

Оказалось, Блонский был прав. Старичок доктор осмотрел всех и троем вынес малоутешительный приговор. Колода, как выяснилось, сломал ключицу, Циммерман вывихнул руку, с Блонским было хуже всего: лопнула какая-то бедренная артерия и произошло кровоизлияние или что-то в этом роде.

Шофер остался цел и невредим, а я слегка рассек лоб. Несколько скобок, повязка, порция противостолбнячной сыворотки — и меня отпустили.

Самое удивительное, что машина в общем уцелела. Мы не могли этому поверить. Оказывается, в момент космического полета у каждого из нас в какой-то клеточке сознания запечатлелся пап «виллис», делающий невероятное сальто-мортале. Ветровое стекло, разумеется, разбилось вдребезги, однако мотор работал, колеса вертелись — в общем, машина не вышла из строя.

Случай этот сам по себе был довольно нелепый. Шофера подвел не передний баллон, не руль, не вообще какие-либо технические неполадки. Просто он был слишком утомлен, и ему вдруг померещилось, будто злополучный мостик действительно разрушен, как утверждал красноставский пессимист. Идя со скоростью восемьдесят километров в час, он уже не мог затормозить и поэтому на полном ходу свернул на проселок.

Жертвы этой несуразной аварии, мы проклинали свою судьбу. Я пытался утешить моих спутников, что, мол, за ночь состояние их улучшится и они смогут выдержать оставшиеся сто двадцать километров пути. Увы, утром им стало хуже — поднялась температура, и доктор не желал слышать их просьб о выписке. Он даже сказал, что они пролежат, вероятно, здесь с неделю.

Тогда Блопский откаплялся, чтобы придать голосу большую твердость, и заявил, что ничего не поделаешь, придется отправить меня одного. Я не смог возразить даже из вежливости, так как он добавил:

— Мы дадим тебе все адреса, письма, поручения. Раз ты такой счастливчик, то уж и наши дела как-нибудь уладишь.

Все лежали в одной палате. Колода и Блопский писали письма, Циммерман подозвал меня. Я подсел к нему, достал лист бумаги.

— Любимое мое солнышко! — начал Циммерман. — Я лежу в госпитале, но со мной все в порядке, пустяки, ерупцовый случай, поэтому посылаю письмо с товарищем, который тебе расскажет...

Он умолк, закрыл глаза. У него было продолговатое лицо, высокий лоб, большой нос и массивный подбородок. А теперь ввалившиеся щеки и тени под глазами делали лицо еще более вытянутым, и казалось, что он без сознания.

— Поручик! — произнес я вполголоса и взял его левую руку, неуклюже нащупывая пульс.

Он открыл глаза, отдернул руку.

— Пустяки, — сказал Циммерман.

Он лежал теперь с открытыми глазами, но не смотрел на меня, не диктовал.

— ...который тебе расскажет, — продолжил я его прерванную мысль, — что вся эта история продлится дня два, не больше...

Он отрицательно покачал головой.

— Наверняка не больше, — сказал я. — Ну, скажем, неделю.

— Не в этом дело. Покажите, что вы написали.

Я подал ему листок.

— Мы напишем, чтобы она к вам приехала. Вам сразу же станет лучше, верно? Ведь она такая милая! Настоящее солнышко...

Циммерман не слушал меня. С минуту он глядел на листок, потом скомкал его и швырнул под койку. Когда он снова поднял на меня вдруг потемневшие глаза, я пельольно отпрянул — столько было в этом взгляде непави-сти, явно адресованной мне.

Некоторое время он молчал, вероятно лихорадочно ища слова, которыми мог бы самого себя успокоить.

— Извините, — глухо проговорил он. — Не падо пика-ких записок. Разве вы виповаты? Это я сам, сам... Вы от-хлестали меня моими же собственными словами... Хватит одного адреса...

Я записал. В любую минуту меня могли позвать, и Циммерман решился высказаться.

— Пойдите. Расспросите. Только не говорите сразу, что вы от меня! Понимаете? Сперва порасспросите сосе-дей. И если... Нет, нет, что бы они ни сказали, посмотрите сами! Соседи могут ошибиться, солгать. Найдите какой-нибудь предлог. И обязательно, обязательно сами... С пей потолкуйте, спачала так, вообще... И только если увиди-те, что... помнит... Только тогда! Понимаете? Только тогда...

Он приподнялся и сел на койке так внезапно, что я уже хотел позвать санитарку. Но Циммерман вцепился ле-вой рукой в мое плечо.

— И скажете мне всю правду! Как только верпетесь! Смотрите внимательно, слушайте лучше. Женщины, сами знаете, порой говорят одно, а в глазах у них можно прочесть совсем другое. Глядите, глядите! И скажете мне всю правду, понятпо? Даже самую страшную... даже если у нее другой... Все равно, прошу. Потому что я должен, должен зпать!

Он хотел заставить меня поклясться. Я едва выкру-тился, так он был возбужден. Видно, его «солнышко» основательно припекло ему душу. Я пошел к остальным, а он еще кричал мне вслед, грозил пальцем, его взгляд словно говорил: всю правду, даже самую страшную.

Блонский был гораздо спокойнее. Дал мне письмо, на-звал улицу.

— Все ясно, — перебил я его. — Спрошу первого встреч-ного, где здесь живет прекрасная Клара...

Блонский махнул рукой.

— Пиши: дом восемнадцать «б», квартира пять. Очень просто — во флигеле справа. Признаюсь, что меня беспо-

коит ее судьба. Ты сам видал, какой у нее тип лица. Могли донести, что она еврейка, понимаешь?

Я кивнул, а Блонскому внезапно кровь ударила в голову. Уши побагровели, лоб сделался малиновым. Виски покрылись испариной, губы задрожали.

— Я болтаю сущую ерунду! — воскликнул он и завозился на койке, ища что-то. — Куда, черт побери, девался бумажник? Ну какая же она еврейка! — Он пашел пропажу и дрожащими пальцами вытащил фотографию.

— Ну сам посмотри — испанка. На худой конец — арабка, верпо? Смотри же, смотри!

Прекрасная Клара глядела на меня с затертого кремowego квадрата картона. Этот прямецкий носик был все же несколько длинноват. Достаточно было мысленно повернуть его в профиль, чтобы увидеть опасное закругление на конце или даже горбинку. Губы пухлые, капризные. Может, испанские, а может, и арабские. Я едва сдержал вздох.

Лицо Блонского уже просветлело.

— Я глупости болтаю, верно? Подумаешь, брюнетка! Кто докажет, что... ведь она, к счастью, жещипа... В общем, ступай, отдай письмо, пригези ответ. Собственно... Сам понимаешь, в машине достаточно места! Скажи: твой воробушек теперь стал полковником. — Он улыбнулся. — Так она меня называла, когда мы поженились. Я, конечно, свинья, что говорю это... Посади ее в машину, пусть придет... верно? Мы десять лет женаты, сам понимаешь...

Его нетерпение передалось и мне. К Колоде я подошел уже с протянутой рукой и заранее вымученно улыбаясь. Действительно, письмо у него было уже готово и адрес надписан. Но когда я хотел взять, Колода встал и, слегка пошатываясь, вышел со мной в коридор.

— О, это письмо! — воскликнул я, получив наконец послание хорунжего. — Кому? — И тут же прочел адрес: Анна Колода, Львов, городская больница...

Колода, краснея до ушей, пояснил: разумеется, жещипа со старомодной прической не жена ему. Это мать. Она работала акушеркой и даже жила при больнице.

Он тоже очень беспокоился за нее.

— Знаете, — шептал Колода, — она всегда была такая боевая... ее преследовали во время сапации. Мне было лет десять, я еще ничего не понимал. Помню только полицей-

ских, обыски... Ее уволили. Только в сороковом вернулась на работу... Я так боюсь...

Я утешал его как мог. Вероятно, мои доводы были слишком неубедительны, так как он все не мог успокоиться, стоял покрасневшийся, дрожащий. И тоже просил меня только об одном: сказать ему всю правду, даже самую страшную.

Я обещал и ему, тем более что это нагромождение страхов и надежд распирало мне грудь, гнало меня из палаты на августовский солнцепек, в машину, навстречу счастью — ведь оно в двух часах езды, — но его так жестоко были лишены эти три псудачника.

3

Действительно, через два часа мы очутились во Львове. Трудно описать, что я чувствовал, когда из синеватой дымки на горизонте возникли первые колокольни костелов. Это была какая-то удивительная смесь радостных и тревожных предчувствий, которые наконец вылились в безумное нетерпение.

Что поделаешь, меня называли счастливымчиком. Прежде всего я совершил бросок в далекое предместье, где три года назад нашла убежище моя златовласая. Там был домик — пизепький, маленький, затерявшийся среди тысячи ему подобных.

Я нашел его сразу: сколько раз за эти три года мне доводилось возвращаться сюда мысленно! Вернее, я нашел место, где раньше стоял домик. Теперь здесь был пустырь, заросший крапивой.

Черт побери, что же тут произошло? Не жгли, не бомбили. Я мог бы навести справки, но от нетерпения меня трясло как в лихорадке. Бросился в машину, велел ехать на улицу Потоцкого, на другой конец города. Там мы жили до июня. Уцелел весь квартал. И лишь несколько минут спустя я почуял что-то неладное, приглядевшись к этим чистым, приятным с виду серым домам с целыми стеклами и стенами без щербатых следов от пуль.

Мы остановились возле дома № 87. Сохранился даже униатский монастырь с купой верб на пригорке, хотя рядом с ним тогда стояли зенитки. Я кипулся на третий этаж. Потом бегал на четвертый и второй, на первый и че-

рез улицу. Никого. Ни живой души. Когда наконец я встретил какого-то старика, все объяснилось дьявольски просто: квартал занимали эсэсовцы. Гражданских отсюда выселили.

Только тогда пыл нетерпения несколько поостыл. Я просмотрел адреса друзей. Ближе всех жила прекрасная Клара.

Здесь дома были высокие, линиялые, мрачные, с запыленными окнами. 18 «б» был именно таким. Смердная подворотня, двор — узкий, глубокий колодец. Какая-то баба, которую я спросил, где пятая квартира, развела руками: она совсем недавно тут поселилась. Упоминание о Кларе Блонской, разумеется, ничего не дало.

Наконец я взобрался на четвертый этаж флигеля. Лестница была темная и грязная. Я долго барабанил кулаками по облупившейся двери. Только после сильного пинка слышались чьи-то шаги. Бесцветный голос долго выспрашивал меня из-за двери: кто, зачем? Я вспыхнул, пнул ногой еще раз. Кое-как отворили.

На пороге стояла супружеская чета. Они были все нестарые. Только какие-то сторбленные, заранее извиняющиеся, полные покорности, особенно после того, как увидели мой мундир. Я не понимал, чем это вызвано, к тому же торопился и поэтому заговорил очень вежливо.

О Кларе Блонской они ничего не знали.

— Как так? Она жила здесь в июне сорок первого.

Клапались, разводили руками. Они получили эту квартиру в сорок третьем. Была уже пустая.

От их подобострастных ужимок мутило, как от хлороформа. Я повернулся, спустился этажом ниже. Тут не пришлось ломиться слишком долго. Парень, выглянувший в приоткрытую дверь, торопливо отрезал: Блонской не знает, живет здесь только год.

Я слонялся по дому с полчаса. Поразительно: ни одного человека, который бы прожил здесь больше года! Я был туп, не разбирался в оккупационных порядках и потому ничего не понимал.

В конце концов я вышел на улицу. В соседнем доме повторилась та же история: никого, кто бы помнил сорок первый год! Подавленный этим упорным невезением, усталый, близкий к отчаянию, я забрел еще в один двор.

Здесь было немного уютнее: два кустика сирени, обломанные, как старые веники. Скамеечка. Ни души.

Я сел, закурил, пытаюсь найти хоть какую-нибудь логику в том, с чем встретился на этой улице.

И тут невезение вдруг кончилось. Из самого темного угла подворотни, привлеченный, видимо, запахом хорошего табака, вынырнул старик с седыми усами и бакенбардами à la Франц-Иосиф. Когда я угостил его папиросой и спросил, живет ли он здесь только год, мой новый знакомец гордо ухмыльнулся: шестьдесят лет!

Он был привратником и, разумеется, знал все и всех. Тайна улицы была проста: в сорок втором евреев отсюда вышвырнули. А заодно и несколько нееврейских семей.

Я спросил о Кларе. Клара Блопская. Прекрасная Клара, добавил я, видя, что имя не производит на него впечатления. Никакого эффекта.

— Ну та, из флигеля восемнадцать «б»! Прекрасная Клара, ведь так ее звали. Такая черпая, с большими глазами, брови как нарисованные, алые губы...

Старик смотрел на меня озадаченно. Видно, его задело за живое: как это он мог забыть такую примечательную соседку...

— Конечно, ничего не скажешь, в восемнадцатом «б» была пара подходящих евреечек. Одна тоже чернявая, так из-за нее этот поручик-гусар совсем спятил, даже стрелялся...

— Какой гусар?

Старик, оказывается, спутал вторую мировую войну с первой, я с трудом вернул его к действительности.

— И потом, — заявил я, — никто не говорит, что она еврейка! Конечно, брюнетка, это верно. Но мало ли брюнеток на свете? Испанки, арабки...

Старик кивнул головой, поддакивая. К примеру, он лично встречался с турчаками. В Боснии. Я довольно грубо прервал его воспоминания и велел подробнее рассказать о выселении.

Он был при этом, все видел. И как 18 «б» выселяли — тоже видел. Флигель «очистили» немного позже. Но прекрасной Клары не помнил.

— А вы знали всех жильцов?

Старик божился, что знал. Перечислял: на первом этаже Любковичи, что держали лавку, на втором этаже Ашер, адвокат...

— Во флигеле, во флигеле!

Он смотрел на меня, морща лоб в доказательство того, что напрягает всю свою память, и отрицательно качал головой:

— Во флигеле были одни старики. Ну как же, прекрасно помню! Блюм, который держал табачную лавочку, мог бы быть моим дедушкой! А жепу его и вовсе под руки тащили, сама уже не могла идти. И еще жила старуха, косая. Ни одной молодой. В шестнадцатом, верно, была молодуха, которая как раз перед войной родила ребенка. Эта была пичего, пикто бы не сказал, что еврейка...

— Ну? — перебил я с искрой надежды.

Но старик сразу же погасил ее:

— Курпосая была, как деревенская девка! Так се взяли вместе с мужем...

В отчаянии я начал допытываться, кто бы тут еще мог рассказать о выселении. Старик заверил, что никто. Вся улица была еврейской, выселили их всех, даже вместе с привратниками. Его оставили только потому, что был награжден какой-то австрийской медалью.

Доверяться лишь его петвердой памяти было перазумно, я встал. Он снова потянулся за папирсой. И еще раз собрался с силами, чтобы поблагодарить меня:

— Ей-богу, помню! Эти две старухи, Блюмиха и косая, притащились последними, когда всех уже погрузили. Эсэ-совец выругался, и сами евреи начали их торопить. А один, адвокат, вовсе рассердился да как крикнет: «Клархен, живее!..»

— Клархен? — переспросил я, пораженный.

— Ну, та, косая...

— Которая?

— Старуха из флигеля, которая тащила Блюмиху.

— Как ее фамилия? Блонская?

Он развел руками:

— Та, у которой муж при русских работал в газете! Я же говорю — косая!

— Опять вы свое!.. Глаза такие черные, огромные, верно? Хороша собой, молода...

— Откуда! — махнул он рукой. — Вся седа!

— Ну и куда же их? В гетто?

Старик снова махнул рукой.

— В лагерь?

— Так говорили, чтобы не было шума! А на самом деле в Белжец и...

Он показал толстым пальцем на ближнюю печную трубу. Потом, видимо для пущей наглядности, затянулся и выпустил вверх струю голубого дыма.

Я вскочил и почти бегом направился к виллису. Поехали по следующему адресу.

Больница находилась на дальней окраине. Приземистое желтое здание главного корпуса вытянулось вдоль улицы, остальные прятались в глубине огромного, пустоватого, без единого дерева двора.

В больнице работали свидетели всех трех лет оккупации. Но едва первая попавшаяся мне на глаза баба, рябая и крикливая, услышала фамилию Колоды, как тут же умолкла, словно подавилась, начала что-то невнятно бормотать, попыталась даже улизнуть под предлогом неотложных дел в инфекционном отделении. Я задержал ее почти силой. Тогда она спросила, кто я такой.

Пришлось долго объяснять, что я совсем не знаком с матерью Колоды. Только увидав письмо хорунжего, она поверила, что я всего-навсего посланец.

Все было просто и чудовищно. В сорок третьем ночью нагрянуло гестапо. Весь госпиталь перевернули вверх дном. Взяли троих: интенданта и двух сестер, в том числе мать Колоды. Та, другая, вышла через несколько месяцев. А остальных... Баба развела руками. Она почему-то не могла произнести этого слова, хотя поторопилась заверить, что все обошлось вполне прилично — не в каком-нибудь лагере или газовой камере. И добавила как бы для ясности: божья воля, по приговору суда...

В ее взгляде было что-то такое, что поколебало мое заранее сложившееся мнение об этом мрачном деле.

— Организация... — буркнул я как бы утвердительно. Баба покачала головой.

— Организация? — повторила она презрительно. — С голоду! Это была порядочная жепщина. Лекарства продавала палево, пан капитап, вот и вся организация.

— Погодите, погодите... — Я не мог сообразить. Вспомнил рассказ хорунжего. Что-то было еще до войны. Обыски, увольнения с работы.

Баба слушала меня, сочувственно качая головой. Потом махнула рукой и одним словом низвела на землю пу-

танные воспоминания хоружего: аборт. И, заметив мое невольное изумление, разозлилась и крикнула:

— А как вы думаете, легко ей было учить ребенка? Одпой? Все вы, мужики, такие: бросаете бабу с брюхом и еще хотите, чтобы она всю жизнь оставалась цветочком лавровым...

Циммермапы жили в другом, более веселом районе. Во дворе, довольно чистом, было темно-зеленое. В окнах — горящие любопытством жадные глаза. На втором этаже играл патефон, доносилась мелодия «Катюши» — песенки о девушке, которая выходила на берег реки, дожидаясь нареченного с далекой границы.

Двенадцатая квартира оказалась тоже во флигеле, под самой крышей. Когда передо мной предстала болезненная с виду и немолодая толстуха, я растерянно помолчал несколько секунд. Стоило ли Циммерману так волноваться?.. И к чему вся эта конспирация?

Грустная женщина смотрела на меня с тревогой. Я сказал:

— Пани Кристина Вавжиско? Я приехал...

И переступил порог, готовый сообщить ей о событии в Красноставе и предложить поездку к супругу.

— Это уж слишком! — завопила она. — Как вы сместе? Что это — нападение? Я вызову милицию...

Я остолбенел. Взрыв ее гнева снова отбросил меня на лестницу. Я начал смущенно извиняться, мол, перепутал адрес. Однако на дверях черным по белому было выведено: № 12.

Толстуха вдруг опомнилась. Во всяком случае, настолько, чтобы, захлопывая у меня перед носом дверь, рывнуть:

— Ступайте вон туда! Она здесь больше не живет. Говорят вам — напротив, ишь дерет глотку!

И махнула рукой в сторону окна, из которого доносилась «Катюша».

Я пошел через двор, не понимая, чего взбеленилась толстуха, и скорее пытаюсь отогнать самые страшные догадки. Но когда после звонка раздались торопливые женские шажки, повеяло из-за двери крепкими духами и я увидел глаза той, что отворила, у меня не осталось ни малейших сомнений. И на сей раз ближе всего к истине оказались пахучие предположения.

Мне отворила дверь невысокая стройная женщина,

круглолицая, со вздернутым носиком и большим ртом — подобным лицам в нашем славянском мире чаще всего сопутствует так называемый темперамент. Она была в кургузом розовом халатике и вместе с тем довольно щедро накрашена. Но больше всего пастораживало то, что она решительно ни о чем не спрашивала.

— Ах! — воскликнула женщина, увидав мой мундир. — Офицер! Польский офицер! — И, отпрянув, припала к стене, очевидно желая показать этим, насколько она взволнована, и заодно оставляя мне открытым путь в переднюю.

Когда я вошел, она юркнула куда-то в подра квартиры, повторяя, что у нее страшный беспорядок и что она не ждала такого гостя. «Катюша» тотчас умолкла. Минуту спустя женщина появилась, еще сильнее подкрашенная, но в том же халатике, а вслед ей поплыла уже иная мелодия, и томный женский голос принялся в приказном тоне призывать меня к различным конкретным действиям: «Прилли, обними, поцелуй...»

— Паши Кристина Вавжишко?.. — начал я, втайне надеясь, что и на этот раз ошибся адресом.

— Конечно! Вы меня знаете? Любопытно... Кто-нибудь из моих знакомых... Ну признайтесь же!.. Кто? У меня их столько, что сама...

— Но ведь прежде вы жили в двенадцатой...

— Очень давно! — махнула она рукой. — Такая каморка, что просто совестно... Еще до войны, что поделаешь. Но как же вы...

Она вдруг затихла и уставилась на меня. Только сейчас ее осенило: об этом мог рассказать только тот, кто знал ее в те времена.

Другим, осиншим голосом она спросила:

— Кто вам сказал? Кто вам сказал? — И тут же, шагнув вперед, закричала, словно допытываясь: — Погиб? Да? Ведь я знаю, что погиб! Иначе бы сам... Едва вы вошли, я подумала... Ну? Скажите же, погиб? Ну конечно, да, да, да!..

Я не смотрел ей в глаза, боясь, что она случайно прочтет в них правду и будет разочарована. Ничего не говоря, я повернулся и пошел к дверям. Она стояла, припав к стене. Я ощущал на себе ее взгляд, чувствовал ее тревогу, в которой была, пожалуй, примесь гнева и сожаления. Женщина молчала. А другая, в соседней комнате, продолжала

между тем уговаривать: «Поцелуй, может, в последний уж раз».

Я вернулся в помятый «виллис». Больше некуда было схать, некого искать. Я подумал: действительно, падо быть счастливи́чком, чтобы за один де́нь взвалить себе на плечи три такие истории... И осталась четвертая, моя собственная, еще не распутанная...

Но, словно в награду, уже под вечер я встретил жещипу, которая знала все о моей златовласой. Можно себе представить, что я пережил, когда наткнулся на нее где-то возле Академической. Руки мои затряслись, и я сел прямо на ступеньки. И не удивительно — чего можно было ожидать после тех трех историй?..

Между тем я и в самом деле оказался счастливи́чком. Знакомая, заметив мою растерянность, тотчас замахала руками. Ничего страшного с моей златовласой не произошло. Правда, ей пришлось скрыться из Львова, так как ею заинтересовалось гестапо, но теперь она была где-то за линией фронта, в деревне, вне опасности.

Засыпая, я подумал: как все перевернулось вверх дном за этот один-единственный день. То, что вчера казалось пределом жестокости и бессмыслицы, явилось прямо-таки великим благом и перстом судьбы. Ранения и ушибы избавили моих друзей от куда более мучительного соприкосновения с безжалостной правдой. А тот, кому пришлось столкнуться с ней лицом к лицу, вознагражден судьбой...

4

Зато следующий день оказался самым тяжелым. В Красноставе припекало августовское солнце, окна в больничных палатах были завешены. Смущение овладело мною уже в дверях палаты, едва я услышал голос Блонского. Он лежал в углу. Его температурный лист не вызывал оптимизма: по вечерам полковника лихорадило. Глаза его горели. Он сжал мою руку и, конечно, принялся умолять, чтобы я сказал всю правду.

Было довольно темно, и я мог не опасаться, что выдам себя взглядом. Начал с описания улицы. И с того, что всех оттуда выселили.

— Только не крути! — крикнул Блонский. — Выкладывай всю правду! Всех или только евреев?

— Даю слово! — воскликнул я, счастливый тем, что в этом по крайней мере почти не было лжи.

Эта нотка правдивости сделала свое. Блонский уже не перебивал, а только поторапливал, если мне не хватало слов. Так, например, я замялся, говоря о причине выселения, по полковник воскликнул, что все ясно — видимо, устраивали квартал «nur für Deutsche»¹. Когда я снова помедлил — надо же было объяснить, куда выселили, — Блонский нетерпеливо отмахнулся — это, мол, несущественно. Раз всех — значит, здесь сыграли роль экономические или стратегические соображения. Только под конец он опять припер меня к стене: знает ли кто-нибудь о судьбе Клары?

Я развел руками.

— Ведь вся улица.

— Да, да! — торопливо подхватил он. Долго тряс мою руку, благодарил. Потом нашел фотографию, с минуту разглядывал и протянул мне. — Я сумасшедший! — горячился полковник. — Ведь каждый ребенок скажет... Испанка...

Я усердно кивал головой и пристальнее всматривался в фотографию прекрасной Клары. Когда пришли саптары взять его в перевязочную, я вытер со лба пот и вздохнул с облегчением...

Но преждевременно. Из соседней палаты уже звал Циммерман.

Тут было светло. Циммерман подкарауливал меня, и я не успел напустить на себя безразличие.

— Всю правду! — немедленно потребовал он. — Ничего, не бойтесь, я здоров. Не то что бедняга Блонский. Собственно, я мог бы сразу же ехать, если бы проявил настойчивость. Ну, что с ней? Были у нее? Не потеряли адрес? Квартира двенадцать. Были там?

Я кивнул.

— Ну! — крикнул он.

— Ее там нет... — неуверенно начал я.

— Нет? — снова крикнул он, схватив меня за руку и пристально глядя в глаза.

Я покраснел, кашлянул.

— Там какая-то толстая пожилая женщина, — сказал я. — Спросил о вашей...

— Ну! Ну! — понукал он, и в его голосе прозвучала угроза.

¹ Только для немцев (нем.).

— Говорит, переехала...

— Ну ясно! Ну конечно! Должна была переехать. Наверняка нашелся бы какой-нибудь подлец, донес про меня или что-нибудь в этом роде. А куда перебралась?

Я снова залился краской. Начиналось самое трудное. Но прежде, чем я успел хотя бы откашляться, он продолжал:

— Естественно, откуда бабе знать! Если жена переехала, так затем, чтобы скрыться, и ей незачем было болтать об этом соседям... Ну, благодарю вас, сердечно благодарю! Через несколько дней поеду сам. В крайнем случае дам объявление...

Он сжимал мою руку левой рукой. На какую-то долю секунды наши взгляды встретились. Теперь покраснел он.

— Не знала, — произнес вполголоса Циммерман. — Послушайте, капитан... Помните наш уговор? Всю правду, какая бы ни была... Баба вам не сказала? Она сама перебралась из двенадцатой? Не пошла ли себе кого-нибудь?

Я отрицательно качал головой в ответ на бесконечный поток вопросов, педантично бьющих в одну точку и поражающих своим однообразием.

— Не влюбилась ли она в другого? Не вышла замуж? Скажите правду! Не живет ли с кем-нибудь? Вы уверены? Дайте слово! Баба ничего не сказала?

Мы смотрели друг другу в глаза — я, поставленный в тупик последним вопросом, и Циммерман, вероятно, холодеющий в ожидании исчерпывающего ответа. Когда я наконец поднялся, он поблагодарил меня с неподдельной сердечностью — скорее всего за то, что я уже ухожу.

Дверь в палату была полуоткрыта. В коридоре у окна стоял Колода в гипсовом панцире. Я не сразу узнал хрупкого — так мало в его лице осталось юношеской доверчивости.

— Я слышал, что вы им городили! — прошипел он, когда мы отошли в конец коридора. — Меня это не устроит. Понятно, капитан? Не желаю ничего подобного.

Его нападки были так неожиданны, что я стал робко оправдываться:

— Уверю вас! Все правда... И насчет выселения и с той женщиной...

— Идите вы! — грубо прервал Колода. — Я не нуждаюсь в вашем милосердии! Говорите! Ну!

Усталость сделала свое. Одним словом, когда и он схватил меня за руку, я, уже не в состоянии притворяться, посмотрел ему прямо в глаза.

Хоружий поблел. Молчал с минуту. Потом спросил: когда?

Я ответил: год назад.

Он резко отвернулся. Потом уставился в окно на пышные по-осепнему кусты золотого шара. Чувствуя угрызения совести от того, что круче всех обошелся именно с самым молодым, я положил ему руку на плечо, ища слов, теплых и примиряющих.

Он дернул плечом, обернулся. Глаза его сверкали, он воспринял этот жест как проявление жалости.

— Не падо! — буркнул он. — Никакого списхождения! Говорите, говорите! Всю правду! За что ее? Была в организации, да? В нашей? Да? Погибла в лагере? Ну, что молчите? Гестапо арестовало?

Я кивнул.

— Раз гестапо — значит, была в организации! За что взяли? За листовки?

— Лекарства.

Он не понял. Я объяснил, что с интендантом и еще с одной сестрой... Тут его гневное лицо просветлело, он воскликнул: «Саботаж!» Потом начал выпытывать, где это произошло и как. И все время твердил, что он не такой, как те, что ничего не боятся...

Я был совсем разбит и уже не мог сопротивляться. Сказал, что не в лагере. Даже признался, что по приговору обычного суда...

— Кто это сказал? Наверно, Лубякова? Рябая? Я же чувствую! И вы ей верите? Лекарства! Обыкновенный суд! Спекулянтка ваша Лубякова! Враждебный элемент! А вы...

Он отвернулся, пошел прочь. Когда, сердечно попрощавшись с Блонским и Циммерманом, я сидел в «впллис», вдалеке мелькнула худощавая фигура Колоды в буром больничном халате. Я попытался к нему подойти, но хоружий исчез за углом.

Снова красоватый клипкер летел под колеса машины. Августовский ветер бил в лицо. Любой обратный путь кажется короче, даже такой, как этот.

Мы молчали. Подавленный чрезмерным грузом чужих бед, я стыдился искать прибежища в раздумьях о собст-

венной удачливости. Я находил отраду совсем в другом — в мрачной гордости того единственного человека, который действительно принял на свои плечи всю тяжесть правды.

На улицах Люблина царило оживление. К счастью, я ни перед кем не похвалялся своим исключительным везением. Уже прилетел из Львова первый самолет. В редакции меня ждало письмо от знакомой, которую я встретил паканупе. «Не сердись,— писала она,— как же я могла так прямо сказать тебе...»

В Н. мы покинули гостеприимный вагон, в котором ехали последние сутки в обществе пятидесяти свежее испеченных подпоручиков. Они были чрезвычайно любезны, расставались с нами с сожалением, помогли снять с полок и вытащить из-под скамей наши пожитки. Эшелон следовал на фронт, остановки были короткими, и мы едва ли успели бы выгрузиться без помощи подпоручиков, тем более что в нашей группе находилась очаровательная, но слабенькая Мися, а писатель Иваньский, как на грех, расхворался и, вместо того чтобы таскать чемоданы, предпочел, чтобы его самого вынесли из вагона на платформу, а затем торжественно препроводили под руки на вокзал.

Н.— это крупный железнодорожный узел, и вокзал соответствовал его масштабам. Но, разумеется, он не мог удовлетворять нуждам военного времени. Огромные залы ожидания наполняли спавшие вповалку пассажиры, по коридорам стремительно неслись потоки людей в разбухших тулупах, с сундуками, ящиками, мешками, чемоданами. Наша группа насилу выдержала этот бешеный темп. Мы с трудом отвоевали четыре квадратных метра затоптанного кафельного пола, где едва хватило места для нашего сваленного в кучу багажа и для лежа больного, к которому была прикомандирована в качестве сиделки Мися.

Как-то так случилось, что на мою долю выпала миссия руководить этой поездкой. В нашей группе я, один-единственный инженер, имел вполне конкретную специальность. Писатель Иваньский, артистка Мися, шахматист и философ Балай и еще несколько подобных им нескладных интеллектуалов всякий раз выталкивали меня вперед, когда требовалось проделать хотя бы самую пустячную организационную работу. Я и оглянуться не успел, как настолько

вошел в роль распорядителя, что, если опаздывал поезд, возникали трудности с питанием или просто докучал мороз, мои милые сотоварищи проклинали не железную дорогу, войну, Гитлера, фашизм, климат, провидение или что-либо другое, а только меня и только ко мне обращались с претензиями. При этом им оказывал неоценимую услугу их вышколенный изысканный интеллект и творческое воображение! Как великолепно они умели предъявлять претензии!

Чтобы не слышать их, я, пристроив багаж и писателя, отправил остальных разведать, когда отходит пужный пам поезд, а сам попытался взять штурмом олимп — пробиться к начальнику станции. Это было нелегким делом. Начальник станции, забитой тысячами пассажиров, естественно, не очень-то жаждал побеседовать с ними. Я голялся за ним по залам и кабинетам, заглянул в подвалы, произвел поверхностный осмотр отделения связи и других столь же секретных заведений. Время от времени мне попадался кто-нибудь из моих интеллектуалов. Они стояли, грустные и беспомощные, затерявшись в толпе мешочников. Разводили руками: ничего не удалось узпать. Известно только, что тысячи людей ждут поезда, и трудно себе было представить суматоху, когда он прибудет.

Однако оказалось, что я не напрасно бегал по вокзалу. Чуть ли не в тридцатом по счету закоулке мне удалось наконец постигнуть начальника станции. Он ответил прежде, чем я открыл рот: во-первых, неизвестно когда, а во-вторых, мест нет.

Меня так ошеломил его безапелляционный тон, что я даже не спросил, откуда он знает, в каком направлении мы едем. Попытался тронуть его сердце описанием наших мук. Он проявил стоическое равнодушие. Тогда я сыграл на его тщеславии: с нами едет сам писатель Ивапньский.

Я произнес эту фамилию таким тоном, словно и мысли не допускал, что кто-либо, желающий прослыть культурным человеком, мог не знать Ивапньского. Этот избитый, неоднократно примснйвшийся мною прием не подвел и сейчас: начальник вздрогнул и наконец посмотрел мне в глаза. Я придал своему лицу соответствующее серьезное выражение, чтобы еще больше подчеркнуть литературные масштабы Ивапньского. Оказывается, начальник быстро принимал решения. Он запросил координаты нашего бивуака на вокзале. Я торопливо сообщил их. Я вообразил,

что он пожелает лично взглянуть на Иваньского, и весьма этому обрадовался: у него длинные волосы, лицо мрачное и гордое, из-за легкого недомогания особая томность во взоре — словом, все внешние данные выдающегося писателя.

Но начальник поверил мне на слово. Он только сказал, что даст знать о подходе поезда и постарается помочь нам зайти исходные рубежи для атаки на один из спальных вагонов.

Я попрощался с ним довольно холодно, решив, что он просто хочет от нас отделаться. И тем пастойчивей посылал на разведку своих интеллектуалов, боясь прозевать историческую минуту прибытия поезда.

Я был жестоко наказан за свою недоверчивость. Неожиданно быстро, всего каких-нибудь шесть часов спустя, послышались возгласы, прозвучавшие для меня словно сигнал боевой тревоги: «Писатель Иваньский! Писатель Иваньский!» Я нырнул в неумолчно грохочущий в коридоре поток чемоданов и мешков, схватил кричавшего. Это был телеграфист, которому начальник поручил найти группу писателя Иваньского и проводить ее на соответствующую платформу: подходил поезд.

Я впал в отчаяние: все мои интеллектуалы были на постах. Притаившись возле буфетов, клозетов, телеграфа, камер хранения, они подкарауливали хоть какую-нибудь весточку, слово, знак, предвещающий приближение долгожданного поезда. Подле Иваньского были только я и Мися.

О эти последующие четверть часа! Я велел Мисе держать телеграфиста за руку и не отпускать ни на шаг, а сам метался по вокзалу, скликая во весь голос интеллектуалов. Моя излишняя суетливость не ускользнула от внимания пассажиров. Когда наконец мы двинулись в путь, я с ужасом заметил, что все чемоданы и мешки потянулись следом за нами.

Телеграфист отвел нас на платформу. Колышущаяся толпа окружила нас плотной стеной. Несколько минут было относительно спокойно. Потом мы увидели огни поезда.

Он величественно приближался к платформе. И тотчас сундуки, тюки, чемоданы, корзины, узлы, ящики сами начали подпрыгивать и подталкивать вперед своих посыльщikov. Какой композитор отобразит пафос двух тысяч восклицаний? Мои спутники, вероятно восхищенные, ошелом-

ленные, напуганные размахом зрелища, сгрудились возле меня и телеграфиста, робко озираясь по сторонам. Так дети впервые в жизни смотрят на Ниагару, такое чувство, видимо, испытывает человек перед первым прыжком с парашютом.

Чем больше поезд замедлял ход, тем энергичнее становились супдуки. Вдруг телеграфист гаркнул мне прямо в ухо: «Этот! Этот!» — и показал на подкатывающий вагон. Не успел он остановиться, как самые проворные кинулись к подножкам и окнам. На ступеньках стоял железнодорожник и, помахивая зажженным фонарем, мопотонно зывал: «Писатель Ивапський, писатель Иванський!» Мешочники облепили его со всех сторон, только фонарь поблескивал в руке.

Начальник привел меня в восхищение. Ну и организатор! Больше я ничего не успел подумать: вагон остановился как раз возле нашей группы, и надо было действовать.

Мы бросились на штурм, наскоро построившись македонской фалангой: я впереди, за мной телеграфист и Мися, далее остальные интеллектуалы, сзади Балай с Иваньским. Несмотря на все преимущества организованности перед стихией, я пережил пять тяжелейших минут своей жизни. Узлы напирали отовсюду. Окованный железом чемодан скользнул мимо моей головы и разодрал ухо. Балай, тащивший свой чемодан, сунул мне небольшой узелок. Одной рукой я уже держался за поручень, и это ограничивало мои пробивные способности. Я мог только папирать и покрикивать. Однако этого было слишком мало, чтобы влезть в вагон.

И тут я совершил нечто гениально простое и просто гениальное: чтобы освободить вторую руку, без которой невозможно было протолкнуться сквозь нагромождение мешков, я швырнул узелок Балай в гущу чемоданного водоворота на платформе. Хотел сделать лишь рывок вперед, а выгадал вдвойне. В узелке было грязное белье. От моего энергичного броска он развязался, и белые полотнища накрыли тяжеловесное чемоданное воинство. За несколько секунд, пока от них избавлялись, наша фаланга оторвалась от противника. Тем временем моя освободившаяся рука не дремала: раздвинув ближайшие мешки, она расчистила дорогу в тамбур.

Я поочередно хватал интеллектуалов и бросал в коридор, старательно считая их и вещи. В мгновение ока все

было погружено. Когда чемоданы на платформе опомнились, кондуктор уже успел захлопнуть дверь; поезд тронулся.

Я вздохнул с облегчением: все были на месте, а из вещей педоставало только узелка Балая. Но знаменитый гроссмейстер сам поздравил меня с остроумным выходом из положения — иначе бы мы не сели. Только два дня спустя он пожалел о пропаже, да так, что не может мне простить ее по сей день.

Поезд набирал скорость, вагон был переполнен, но по сравнению с платформой здесь была истинная торичеллева пустота. Я принялся не торопясь рассаживать интеллектуалов. Мисю даже поместил у окна. А для Иваньского — после длительных переговоров с кондуктором, которому я также шепнул на ухо фамилию нашей знаменитости, сопроводив это соответствующей мимикой, — нашлось нечто вроде лежачего места — правда, в коридоре и недалеко от туалета, но почти ложе!

Потом разнес багаж. Была почь. Интеллектуалы сидели в разных купе. Мне приходилось перелезать через ноги, пожитки, балансировать над спящими на полу, в полумраке подсовывать чемодан интеллектуалу и спрашивать — его ли это вещи? И вот, когда муки мои подходили к концу, обнаружилось вдруг нечто странное: в багаже нашей группы оказался чемодан, на который никто не претендовал. Обескураженный, я прошел еще раз по всем купе. Все уже получили свои вещи. Чемодан был «ничей».

Сначала я не придавал этому серьезного значения. Подумаешь, захватили по ошибке чей-то чемодан. На ближайшей станции сдадим его в камеру хранения. А впрочем, утром попробуем открыть сами — может, внутри найдутся какие-нибудь данные о хозяине.

Итак, не слишком озабоченный, я еще раз перелез через всех спавших в коридоре и добрался до ложа Иваньского. В его ногах я рассчитывал найти немного места и присесть.

Иваньский лежал, накрытый одеялом и пальто. Чувствовал он себя явно неплохо, так как выглядел мрачнее обычного.

— А, это ты! — приветствовал он меня кисло. — Где мой чемодан?

Я остановился как вкопанный. Совсем забыл, что он еще не получил своих вещей. С минуту я был счастлив —

наконец-то нашелся хозяин лишнего чемодана. Но тут же вспомнил, что Иваньский уже видел его, однако категорически отказался признать своим.

Несмотря на это, я снова пошел за чемоданом. Иваньский повернулся на бок, еще раз поглядел.

— Не мой, — с горечью произнес он. — Разумеется, мне всегда не везет. Я обязательно должен заболеть. Мои вещи непременно куда-нибудь запропалятся. Только ко мне одному относятся с таким неуважением!

Он еще не верил, что его чемодан пропал. Он лишь думал, что из-за небрежности и неуважения к его литературному имени и недугу вещи ему приносят в последнюю очередь.

В отчаянии я опять прошел по вагону, заглянул во все уголки, опросил интеллектуалов. Напрасно. У всех были свои вещи и не было чужих. Только тогда дело с чемоданом стало для меня ясным. Ведь из вагона, в котором ехали пятьдесят подпоручиков, мы выгружались в невероятной спешке. Помогали они нам необычайно любезно. Иваньский, как большой, милостиво позволил вывести себя под руки, предоставив нам позаботиться о его барахле. Чего же проще — какой-нибудь подпоручик схватил чемодан своего товарища, уверенный, что это личные вещи самого Иваньского. И теперь в вагоне, едущем на фронт, разыгрывается, вероятно, подобная же история: сорок девять молодецких офицеров проверяют свои пожитки, разыскивая вещи пятидесятого, а посреди вагона стоит чемодан, от которого все отказываются.

Ничего не поделаешь, придется сказать правду. С бьющимся сердцем возвращаюсь к Иваньскому. Знаю заранее, что он мне этого не простит. Уж такой у него характер.

Иваньский не принадлежал к классикам нашей литературы. Человек средних лет, великолепно знакомый завсегдатаям всех литературных кафе, редакций, писательских объединений и пользующийся там определенным авторитетом — хотя бы потому, что в какой-то степени «примелькался» в этой среде, — Иваньский был менее известен читателям, ибо последнее время почему-то не печатался. Это «последнее время» исчислялось примерно пятнадцатью годами. Вероятно, он что-нибудь когда-то напечатал. Возможно, совместно с кем-то, не знаю. Но все же должен был напечатать, иначе откуда бы у него взялась так прочно сложившаяся репутация писателя?

И не какого-нибудь! С фанаберией, с чудачествами! С требованиями — по отношению к другим — колоссальными! И с характером тяжелым, мрачным, исполненным непонятной для меня мелапхолии.

Дело с чемоданом полностью обпаружило все неприятные черты его характера.

— Ужасно! — воскликнул он. — Все пропало! Две пары белья! Кусок туалетного мыла! И бритвенные принадлежности!

Поскольку мой характер ему тоже был известен, Иваньский мгновенно отказался от возмущенного тона и перешел на плаксивый.

— Все пропало, — повторил он. — Какие там были ценные вещи!

— Ничего подобного! — горячо возразил я. — Чемодан не пропал. А только где-то запропастился. Мы телеграфируем с ближайшей станции.

— Куда? — не без основания усомнился он. — Разве ты знаешь, в каком направлении шел тот поезд? Ведь это же военная тайна.

— Телеграфируем в Н. Там известно.

— А ты знаешь номер эшелона? Так откуда же им известно? Нет, не говори. Все пропало. Такая потеря!

Иваньский взглянул на меня. Видно, он обладал нюхом литератора, так как его не обмануло выражение сочувствия, которое я постарался придать своему лицу.

— Там были такие ценные вещи. — Иваньский взял меня за руку и посмотрел в глаза. — Белье, бритвенные принадлежности — это ерунда. Там были... рукописи!

Я подпрыгнул как ужаленный.

— Мы откроем чемодан, пойдем адрес подпоручика, напишем...

— Да, а он тем временем попадет на фронт. Знаешь, какие там бои! Если не погибнет, то затеряется. Попробуй найди его. Часть перебрасывают с места на место...

— Погоди, у них есть постоянный номер полевой почты!..

— Еще бы! Конечно, есть. Но ведь офицер ехал прямо из училища! Он еще не знал, в какую часть попадет!

— Ну, тогда он сам откроет твой чемодан! Они все были такие культурные. Увидит рукописи... Самого Иваньского! Пришлет!

Недолго действовала эта капля лести — секунды две.

— В чемодане нет моего адреса. Да и откуда ему быть — мы только едем на место. А рукописей своих я, пока не закончу, не подписываю. Не говори, все погибло.

Я вынужден был согласиться с ним и лишь вздохнул. А Иваньского, видимо, только начинало разбирать.

— Какие это были ценные произведения, — говорил опустившим, жалостливым голосом. — Знаешь, последнее время я не публиковал крупных вещей... Не хотел преждевременно... Работал до упаду... Думал, сразу будет несколько книг. Дело жизни... — Он лежал на боку, подперев рукой массивную голову, и смотрел в сторону, вероятно, не желая окончательно добивать меня взглядом. Зато дал волю языку. — Там была не одна рукопись! — несколько оживился он. — Главное — это роман. В нескольких томах. Ох и сильная вещь!

Тут Иваньский взглянул на меня, даже взял за руку, стиснул ее и продолжал:

— Понимаешь ли, Конрад описал в «Ностромо» возникновение нового государства. Но это был идеалист, погрязший в психологических деталях. Я же отобразил историю зарождения государства как подлинный реалист. Ясно? Мы освобождаем теперь наши ископные земли. И там будут города, почти не разрушенные, но безлюдные! И я... понимаешь? Это нечто величественное... метафорическое! Приходят люди. Вначале как грабители, ради добычи! Возникают соперничающие друг с другом банды: символ родового строя. Постепенно укрепляется центральная власть... Ясно? Все это только еще начинается. А там, в моем чемодане, все это было уже описано.

Я не знаток литературы, но нарисованная им картина показалась мне убедительной. В самом деле, это мог быть великолепный роман. Во всяком случае, тема...

— Это не все, — продолжал Иваньский, глядя на меня исподлобья. Он, разумеется, заметил по выражению лица, что меня все сильнее одолевали угрызения совести. — Там был и другой роман.

— Ты же только что сам сказал — один... — Спорить с ним было бесполезно. Это бы ни к чему не привело.

— Я сказал — самый важный, — возразил Иваньский и поднял палец. — Я не сказал — единственный...

Я склонил голову. Тут открылась дверь, и в купе за-

глянул один из интеллектуалов. Иваньский обрадовался и продолжал еще более плаксивым тоном:

— Понимаешь, психологический роман. О материнской жестокости. Вначале по отношению к себе самой — все, мол, для ребенка. Поэтому отказывает себе во всем. Затем по отношению к окружающим. Никто не смеет чихнуть в присутствии ее сокровища. Она несправедлива, она коварна! И все это ради ребенка. А потом — потом ребенок подрастает. И опа... Так же жестоко, так же беспощадно отпосится к нему. Увидала, понимаешь ли, что загубила свою жизнь...

— Что это? — спросил интеллектуал, явно заинтригованный. — Неизвестное произведение Толстого?

На миг в глазах Иваньского отразилось высочайшее блаженство. Но тут же он начал всхлипывать.

— Нет, мое. Это он... — Иваньский показал на меня и вкратце поведал свою чемоданную трагедию.

Интеллектуал издал несколько возмущенных возгласов, потом исчез. Увы, вскоре он вернулся в сопровождении всей группы, явно намереваясь устроить показательный процесс со мной в роли подсудимого.

При виде их Иваньский мобилизовал все свои внутренние резервы и пизверг новый поток нытья. Он еще раз рассказал о великолепнейшем антиконрадовском романе и другом — глубоко психологическом, почти толстовском. Потом, окрыленный успехом у слушателей, добавил еще несколько подробностей о своих новеллах, драмах и критических работах.

Впечатление он произвел на нашу группу потрясающее. Под конец я уже не знал, куда деваться, — столь испепеляющими сделались взгляды всех.

— Понимаете, — безжалостно пилил Иваньский. — В том чемодане было все мое будущее, все мое достоинство. И он — то есть я — всего этого меня лишил. А взамен, — Иваньский показал большим пальцем назад, — предлагает хлам.

— Разумеется, возмутительно, — с необычайным единодушием заключили интеллектуалы и уставились на меня.

Поезд мчался, за окнами постепенно вставал мутный январский рассвет. Было душно, хотелось есть, и от переутомления перед глазами мельтешили золотые искорки. А тут еще эти бесконечные претензии.

— Люди! — попытался я защищаться. — Бога ради, откроем чемодан. Может, там есть адрес проклятого подпоручика. Домашний... И, может, как-нибудь...

Меня не пожелали слушать. Иваньский только отмахивался и всхлипывал. Остальные говорили за него. Вне всякого сомнения, благодаря своим двум романам он неизмеримо вырос в глазах окружающих. Они тряслись над ним, как над едва распустившейся редчайшей орхидеей. И тем яростнее ополчались на меня.

Было уже светло, когда я не выдержал и сказал:

— Вы как хотите, а я должен его открыть.

И, не внемля их воплям, взялся за офицерский чемодан. К счастью, он не был заперт на ключ.

Все накопились надо мной, лишь Иваньский созерцал грязный потолок вагона и продолжал вздыхать.

Крышка отскочила. Внутри аккуратно лежали скромные мужские вещицы. Я выпимал их и раскладывал на внутренней стороне крышки.

— Пара белья, — перечислял я, словно для акта инвентаризации. — Вторая пара белья. Бритвенные принадлежности. Кусок туалетного мыла...

Тут Иваньский не выдержал и глянул через плечо. Я поймал этот взгляд. Никто, конечно, ничего не заметил. Все были слишком заняты тем, что проклинали меня и оплакивали кучу погибших шедевров.

Теперь он был у меня в руках. Теперь я мог отомстить ему за все, что перенес из-за него этой ночью. А главное, у него не оставалось никакого выхода. Вернее, были два, но оба требовали жертв. Одип — низменный, мгновенный. Другой — возвышенный, открывающий перед ним вечность.

Но самым жестоким с моей стороны было то, что я предоставил ему полную свободу выбора. Выложил все на крышку чемодана. Даже обследовал карманы какой-то изношенной хламиды, лежавшей на самом дне.

— Черт возьми! — воскликнул я. — Какая неудача! Нет адреса! Вообще этот подпоручик какой-то чудак — неграмотный он, что ли? Ни книги, ни блокнота! Ни клочка бумаги!

— Не морочь нам голову! — вопили интеллектуалы. — Лучше скажи, как найти чемодан, который запропастился куда-то по твоей вине!

Я не ответил. Вошел кондуктор и объявил, что через

пятнадцать минут будет станция С., где нам предстояла очередная пересадка. Я принялся укладывать в чемодан вещи, подчеркнуто схибно перечисляя:

— Пара белья. Вторая пара белья. Кусок туалетного мыла...

Время от времени я поглядывал на Иваньского. Страданиям его не было предела. Но рядом торчали интеллектуалы, продолжая предавать меня анафеме, а ему выражать соболезнование. Поэтому Иваньский только вздыхал и помалкивал.

— Черт побери,— продолжал я.— Нет адреса. Надо сдать на вокзале. Пусть ищут...

Заскрежетали колеса, дым фабрик поплыл над застывшей равниной, в коридоре началось движение. Я захлопнул крышку чемодана. Поднялся и сказал:

— Придется сбегать к начальнику станции. Пусть ищут...— И сделал шаг к дверям.

Интеллектуалы бросили мне вслед еще несколько проклятий. А Иваньский не выдержал. Вскочил со своего ложа и, когда я уже выскальзывал в коридор, схватил меня за плечо.

— Это мой...— прошептал он и опустил глаза.

Интеллектуалы не сразу поняли, что произошло. Но потом все отвернулись от Иваньского и разбежались по своим местам — лишь бы оказаться подальше, лишь бы не видеть его.

Я похлопал Иваньского по плечу. Я понял, почему он ничего не напечатал и уже не напечатает. Какой там из него писатель, если две пары подштанников ему дороже, чем два великолепнейших — пусть иллюзорных — романа!

ПАСХА

Поручик Язвинский не виделся с женой три года. Два месяца назад он узнал, что она жива, тоже в армии и к тому же находится недалеко от него. Это известие и особенно начавшаяся переписка с нею сделали его тоску невыносимой. Анна заполнила его снами, мысли, и, что самое худшее, он потерял свою былую папористость, из-за чего продолжал торчать в этой дыре, в то время как армия готовилась к броску вперед. Язвинский надоедал начальнику училища, объяснял, что вот здесь, рядом, находится его жена, что он не видел ее три года. Тот не понимал важности этой проблемы. У него ведь тоже есть жена, тоже находится где-то рядом, они тоже не первый год в разлуке, ну и что? Как-то же он живет.

И только пасха спасла Язвинского. Он получил отпуск на три дня.

— Но чтобы вернуться вовремя, — пригрозил начальник. — Скоро выступаем.

Язвинский подсчитал, что отпуск даст ему возможность провести с Анной часов тридцать, если повезет, а если нет, то все-таки целый день. И почь.

Ему не повезло. Попутная машина сломалась по дороге. Шофер был пьян и не спешил с починкой. Они заночевали в какой-то пикаристой деревеньке в пескольких километрах от цели. Язвинский хотел было пойти пешком, но было время весенней распутицы. Только по шоссе можно было еще пройти, но оно кончалось сразу же за деревней.

В воскресенье утром Язвинский остановил разбитый грузовик, который ехал как раз через Немирово, где нахо-

дилась Аппа. Половина отпуска была уже потеряна из-за плохой дороги и пьяного шофера. Он сидел на старой покрывке, а по бокам его колотили пустые канистры из-под бензина. От машины плоскими параболами во все стороны разлеталась густая шоколадная грязь; празднично одетые люди, возвращавшиеся из костела, в панике разбегались при виде машины, увязая при этом в топкой, бездонной пашне, прыгая по кочкам слежавшегося снега.

К полудню он добрался наконец до Немирова: кучка высоких тополей у дороги, через несколько сотен метров справа два ряда белых и голубых домишек, чуть дальше лиловый перелесок молодой ольхи. Между деревьями лежал еще снег. В небе — горячее весеннее солнце.

Аппа ждала его у тополей. Он еще издали заметил маленькую фигурку в зеленой военной шинели и сразу решил, что это она. Но по мере того как фигурка приближалась и росла, его охватило щемящее сомнение. Огромные сапоги, конфедератка, бросающая тень на лоб, на глаза, закрывавшая даже часть щеки, и вся фигура, стянутая поясом, полная, приземистая, нестройная — неужели это Аппа?

Он стоял, держась за крышу шоферской кабины, смотрел и, даже когда она подняла руку в немом приветствии, не осмелился ответить. И только возле тополей, узнав ее беспомощную улыбку, заколотил кулаками по крыше, придя в ужас от мысли, что шофер не захочет остановиться, и он снова ее потеряет. Шофер, действительно, проехал еще какое-то время, прежде чем затормозил, бормоча ругательства по поводу стука по кабине. Машина остановилась уже за тополями.

Язвинский перепрыгнул через борт грузовика, тяжело плюхнулся в грязь и большими скачками бросился назад. Аппа бежала к нему, скользя по хрустящему крупнозернистому бело-желтому слежавшемуся снегу. Он сжал ее в объятиях, подсознательно поразившись чуждостью ее вида и одурев от ее лица, запаха, вкуса — знакомого, утраченного, забытого и поэтому еще более дорогого.

Под тополями они простояли с четверть часа. Дорога вела в штаб армии, и движение, несмотря на распутицу и пасхальное воскресенье, было большим. Промчался «виллис» с адъютантом, сидевшим рядом с шофером. Язвинский с Аппой укрылись за тополя, причесав от грязи и

взглядов, которые слишком многое выражают и в то же время не понимают ничего.

— Идем ко мне,— Анна взяла его за руку,— я живу в одной очень милой семье. У меня даже собственная комната!

В этих словах была гордость: «Смотри, какая я самостоятельная». Был в этих словах также еще не осознанный пакек, от которого сильнее забилося сердце.

Они брели через густое месиво грязи. Анна шла впереди, перескакивая через лужи, стараясь наступать на сохранившиеся на дне остатки льда — в данном случае это было самым разумным. Анна говорила, но расстояние, образовавшееся между ними, изменило тему разговора. Язвинский догонял ее, затем отставал, улавливая лишь обрывки фраз:

— У хозяев есть сын, единственный. Ему пятнадцать лет... Комнатка чистая, но очень маленькая... Все в риге... Командир полка живет в том доме с железной крышей. Деревня переполнена...

Они цеплялись за штакетник, балапсировали над бездонными разбрызганными лужами. В тени хат лежали кучи бурого сиза. Кричал петух. Самозабвенно чирикали воробьи.

Хата Анны была в конце деревни, напротив голого серо-зеленого ольшаника. Анна указала рукой: здесь недавно проходил фронт, возможно, там, за леском, есть еще мины.

В сенях стоял какой-то удивительный лимонный запах, исходивший от травы, развешанной пучками по стенам. В чистой и тесной комнате стоял стол, накрытый вышитой скатертью, на нем какое-то мясное блюдо, колбаса, крашенные яйца.

Хозяева припiali его как старого знакомого. Вероятно, Анна много о нем рассказывала. Все сели за стол в праздничном настрoении — как-никак пасха, гость, встреча. В старомодных восьмигранных рюмках с очень толстым дном оказался добрый самогон. Он действовал моментально, попадал на почву, подготовленную праздником и ожиданием.

Пятнадцатилетний Петрусь, сын хозяев, первым встал из-за стола. Отец почти силой влил в него пару рюмок — пельзя же не выпить в такой праздник. Трех его ровесников, забежавших за ним, также заставили присоединиться

к компании, несмотря на то что те успели пообедать и выпить у себя дома. Шумной гурьбой ребята высыпали на улицу и помчались искать места, где можно было бы полазить и побегать. Толкаясь и свистя, они помчались в ольшаник.

Язвинский из уважения к хозяевам заставил себя отсидеть несколько минут за столом. В его трехлетнем беспокойстве и продолжавшейся несколько месяцев нетерпеливой тоске не было ничего похожего на звериную похоть. Он жаждал видеть Анну, ощущать ее рядом, слышать ее голос и, что самое главное, чувствовать, что он не один в этом мире, где все движется, изменяется, погнбает, где нет ничего, за что человек мог бы ухватиться своим собственным маленьким чувством. Сейчас, как и тогда перед свадьбой, она была слишком дорога для него, и ему казалось, что телесное обладание будет пошлым оскорблением их чувств.

Однако возможность провести более десяти часов вместе с Анной до того, как они расстанутся завтрашним утром, действовала так, что он уже не мог наслаждаться только ее видом, голосом, касанием руки. Эта короткая встреча требовала сильных переживаний, иначе она становилась невыносимой. Бог знает, как дальше сложатся их судьбы: война продолжается, войска ждут, когда подсохнет земля, будут битвы, и он и она могут встретиться со смертью, и, что самое страшное, каждый в отдельности. Что выпадет на долю тому, кто выживет?

Водка сделала свое дело, появились мысли, которые прежде он гнал от себя, считая их грубыми и оскорбительными для Анны. Теперь каждое прикосновение ее руки вызвало в нем дрожь, нетерпеливое желание. И в ее глазах он видел то же.

Наконец он встал, срывающимся голосом поблагодарил хозяев за угощение и пошел за Анной в ее комнатку.

Это было довольно своеобразное жилище: угол, отделенный перегородкой от всей избы. Там стояли кровать и стульчик у окна. Было так тесно, что когда они вошли, то невольно оказались рядом.

Анна с трудом оторвала свое лицо от его губ и красноречиво указала взглядом на потолок. Перегородка не доходила до верха. Когда она снова начала его целовать, ее губы как бы извинялись и просили: «Подожди».

Они тяжело уселись на кровать. Помолчали. Было слышно, как хозяева возятся на своей половине, убирают стол, шепотом делятся впечатлениями о госте. Уединение в этом углу было только кажущимся.

В деревне где-то пели. Солдаты праздновали по-своему: кто-то садалул несколько раз из пистолета, в течение нескольких секунд стрекотал чей-то автомат. Неожиданно сильный взрыв потряс оконные стекла. Они выглянули в окно: бомба? Но в деревне было спокойно. Через несколько хат влево от них небольшая группа офицеров сидела на скамейке. Чей-то ординарец забавными скачками отмерял уличную грязь.

Язвинский вышел из хаты и, не веря часам, посмотрел на солнце: долго ли еще до ночи? Вскоре вышла Анпа, и они молча двинулись вдоль заборов в сторону поля. Находиться дольше в компатушке было невыносимо.

Они ходили по деревне до сумерек. Занятие это было не из приятных. Распутица пригвоздила людей к хатам, к скамейкам, к бревнам, валявшимся во дворах. Всюду пили и пели. За последней хатой начинался настоящий океан грязи. Яркое солнце растопило очередную порцию снега.

В конце концов они уселись на заборе в нескольких метрах от грубовато веселившейся группы солдат и девушек. Это было неудачное место. Визг и заигрывания вызывали у них неприятный осадок. Но здесь они по крайней мере сталкивались с внешней средой и не было живого уединения компатушки.

Наконец Язвинский и Анна двинулись в обратный путь. Сумерки надвигались до противного медленно. Далеко справа то там то здесь вспыхивали зеленые ракеты, вокруг было полно солдат и везде праздновали пасху. Весеннее тепло, свежее и дурманящее, усиливало возбуждающее действие самогопа. Язвинский сдерживал себя, стараясь не спешить. Ведь были только сумерки, а сумерки в это время года долгие.

Конец деревни, где жила Анпа, встретил их молчанием. Кучки солдат стояли перед хатами. Они не пели, а погупо молчали, перебрасываясь лишь отдельными словами. В одной из хат они слышали плач. А там, откуда они возвращались, все еще раздавались веселые выкрики, песни, визг девчат.

Что произошло? Они остановились перед хатой, откуда слышался громкий плач жепщицы. В свете свечи были видны ее прижатые к груди руки, лицо с запавшими глазами, полоски слез на щеках. Она наклонялась над чем-то, лежавшим на лавке у самого окна.

Люди на улице молча смотрели на нес. Наконец какой-то солдат, еще красный от водки, но уже протрезвевший от горя, буркнул Язвинскому:

— Сына у нее убило. Нашли грапату. Еще днем. Всех на мелкие кусочки.

Язвинский посмотрел на Анну и встретил ее встревоженный взгляд. Они пошли. В первую минуту они были просто потрясены неожиданным несчастьем. Через несколько шагов Анна взяла его руку и прижала к сердцу. Язвинский понял, что эта неожиданная трагедия дала почувствовать ничтожность их собственного маленького счастья — и тем большую его значимость. Они ускорили шаги. Им хотелось скрыться от мира, полного слез и страданий, грозящего гибелью на каждом шагу даже здесь, среди этого, казалось бы, спокойствия и света. Пока они вместе, пока еще можно спрятаться, нужно сохранить для себя те крохи радости, которыми нельзя ни с кем поделиться.

Перед домом Анна остановилась. Она вдруг пришла в ужас от страшного предчувствия. В окнах хаты, освещенных желтым каганцом, двигались какие-то тени; двое солдат стояли у забора и поपुरо молчали.

— Петрусь! — почти крикнула Анна.

Она потянула Язвинского за собой, но перед дверьми остановилась, заглянула ему в глаза, ища поддержки и боясь найти подтверждение своим опасениям.

Их было четверо — подростков, которые, по праздничному нарядные, в веселом настроении, свистя и проказничая, направились несколько часов назад в поле, в ольшаник. Хозяйка дома стояла теперь на коленях перед тем, что осталось от Петруся. Хозяин молча стоял в углу. На лавке под простыню лежали какие-то обугленные клочки человеческого тела.

Язвинский и Анна на мгновение остановились у лавки. Стояла настолько мучительная тишина, что они не могли там больше находиться — они стыдились своего присутствия в этом доме и своего счастья. Слишком уж велика была разница их судьбы и судьбы находившейся здесь другой

пары. Если бы они стали навязывать свое сочувствие, то эти люди, возможно, поняли бы всю его лживость.

Молчание длилось с четверть часа. Казалось, что даже в деревне, там, дальше, от этого известия стихли пение и крики. Но когда Язвинский и Аппа вновь вышли во двор, то слышали звуки гармонии и топот танцующих на другом конце деревни.

Они уселись на скамейке перед домом. Наступил вечер, о котором так мечтал Язвинский. Он был холодным и звездным. Земля подмерзла, и под ногами хрустела тоненькая корочка льда. На западе еще светилась заря.

Они бессмысленно вслушивались в пение, тупо глядя перед собой. Сквозь звуки далекой гармонии стали пробиваться еще более далекие и мощные звуки. На горизонте, на фоне догорающего заката появились кровавые звездочки взрывов. Летели немецкие бомбардировщики.

Эта общая, нависшая надо всеми опасность протрезвила всю деревню.

— Гасить свет! — заорал какой-то подвыпивший тенор.

Караульный с автоматом на шее подскочил к Язвинскому и Анне, заглянул в окно и повелительно крикнул:

— Свет!

Хозяин метнулся от печи, и тут же красные квадраты на земле исчезли. Стало тихо. Лишь вдалеке слышались звуки беззаботной гармонии и высоко в небе усиливающийся рокот моторов.

Когда стая воющих невидимых птиц медленно передвинулась на восток, в деревню вернулось веселье. Отозвалась еще одна гармонь, как бы разбуженная первой, совсем недалеко, напротив хаты, в которой рыдала в голос мать одного из убитых. Неторопливой беззаботной походкой по середине улицы прошли два солдата. Они были в радужном настроении и философствовали, пытаясь защитить свое право на радость: может, завтра двинемся... все умирают... помнишь, сколько погибло тогда, осепью... водка еще есть?

Какой-то высокий усатый крестьянин появился из темноты, мельком взглянул на Язвинского и Аппу и вошел в хату. У него был раскатистый низкий голос. Он осуждающе буркнул на хозяйку раз и другой, после чего та заревела в голос. Затем начала причитать: «На кого же ты

нас покинул, почему не я, что мы без тебя, старые, будем делать. Петрусь! Петрусь!»

Пришли еще две или три бабы, и их визгливые голоса присоединились к обрядному плачу. Были моменты, когда причитания набирали силу и заглушали звуки гармонии. Потом они стихали, переходили на громкий шепот, и тогда музыка пробивалась, заполняя собой вечер.

Так разделились судьбы деревни: в четырех хатах — счастье, а в остальных — праздник и радость. Прижимаясь друг к дружке, выбегали из хат, где тапцевали, пары, шли, бормоча мольбы, ничего не означавшие, как и получаемые отказы, а потом исчезали в овинах. Одинокпй пьяный голос пел: «Ясеньке ничего не надо...»

Потом далеко на востоке заблестели красные вспышки. Через минуту донеслись тяжелые, сотрясавшие стекла взрывы. Почти сразу же в небе послышался вой, и веселившаяся деревня притихла. Только бабы продолжали голосить. Но через минуту вой покотился на запад, и радость вспыхнула вновь.

Язвинский и Анна сидели, потрясенные различностью человеческих судеб в этом жизненном эпизоде, случайно выпавшем на их долю. Они как бы оказались на границе — между теми, которые радовались, и теми, кто был в отчаянии от внезапного, неотвратимого несчастья. Первые радовались слишком уж просто, слишком пазойливо и бездумно. Вторые — но, черт возьми, что общего имеет он, Язвинский, с их несчастьем? Разве он в чем-нибудь виноват перед ними? Может им помочь? И вообще можно ли в данном случае чем-нибудь помочь?

Завтра он уедет и никогда их больше не увидит, он даже не знает их фамилии.

Язвинский с нарастающим раздражением думал о выпавшей на его долю несправедливости. Вот эти несколько часов, после стольких лет, перед лицом стольких опасностей, — с единственной, самой близкой ему на свете. И этот кусочек счастья у него отнимают чужие, незнакомые люди, до которых ему, в сущности, нет никакого дела. Почему? По какому праву?

Это всего лишь случайность, что Анна именно здесь нашла квартиру. Разве можно быть в ответе за несчастный случай? Завтра, может быть, и его подвергнет испытанию неумолимая судьба...

Но ведь и другая пара несет на себе бремя этой случайности, гораздо более страшное, неотвратимое, окончательное. Как можно сравнивать его маленькую неудачу с этим ударом?

Случайность бьет вслепую. Но человеческие судьбы связаны между собой, часто взаимно переплетаются. Если бомба попадет в один дом, то и в соседних вылетают стекла.

Он успокаивал себя этими общими фразами поверхностно и ненадолго. В нем подспудно бурлили гнев и обида на всех: на начальника училища, который так поздно дал отпуск, на Анну, за то, что попала в дом, отмеченный печатью близкого несчастья, по в первую очередь на них, эту отчаявшуюся семью.

Анна молчала. Она наверняка чувствовала то же самое. Видно, и она стала испытывать абсурдное чувство вины. Анна дважды дотронулась до его руки и, как бы извиняясь, стиснула ее.

Мороз наконец пронял их совсем, и они вошли в хату. При их появлении причитания усилились. Старик задавал тон. Он начинал: «Внучек, Петрусь!» — и женщины, подхватывая ноту, начинали снова причитать всем хором. Язвинский и Анна прошли крадучись, как виноватые, вдоль стены, чтобы поскорее втиснуться в комнатуху Анны.

Они молча легли, прижавшись друг к другу. Плач за перегородкой периодически нарастал, каждые две минуты доходя до крика, а затем угасал почти до шепота. Старик каждый раз задавал тон. Слышно было каждое его слово. Он покрикивал на женщин, когда те недостаточно громко подхватывали его мелодию или слишком долго молчали. Женщины слушали старика покорно, будучи уверены, что он лучше знает, что надо делать. Обращаясь к ним, старик говорил несколько ворчливым голосом, но этот голос сразу наполнялся отчаянием, когда он произносил имя внука.

Ночь тянулась, как бы разделенная вспышками скорбной элегии на утомительно одинаковые отрезки. Постепенно затихли гармонии — сначала ближняя, затем дальняя. Стихли выстрелы, с улицы перестали доноситься выкрики и хлюпанье шагов. Еще раз или два высоко в небе пролетели бомбардировщики. В течение нескольких минут свети-

лась мертвым блеском, напоминая маленькую пеземную луну, «свеча» на парашюте.

Язвинский лежал, обезоруженный соседством горя. Он смотрел на узкую полоску света на потолке — там, где кончалась перегородка. Анна положила голову на его плечо. Он чувствовал рядом ее тело, такое близкое, такое знакомое. Он почти касался губами ее уха — и только в моменты, когда причитания за стеной достигали особой силы, шептал почти беззвучно какие-то бессмысленные утешения.

Так медленно тянулась ночь, о которой он мечтал еще несколько часов тому назад. Голова его была невыносимо ясной, и он даже не помышлял о том, чтобы заснуть. С напряженными первами он ожидал очередной вспышки плача. Вначале он еще мечтал — может быть, закончат, может быть, дадут им хотя бы заснуть, хотя бы отдохнуть. Но старик был неутомим. Каждые несколько минут он взрывался новым рефреном причитаний. Язвинский вскоре возненавидел самый звук его голоса. Потом он начал удивляться чудовищному, первобытному эгоизму этих людей. Какое им дело до двух чужих людей, до их судьбы, до их испорченной встречи! Они видят только свое, хоть, правда, и страшное несчастье. И так долго, так демонстративно выражают свою скорбь, что это превращается почти в торжество. Они празднуют, да, они празднуют свою боль.

Язвинский осуждал себя за то, что у него появились неприязненные мысли, в которых не было сочувствия к этим людям, мысли эгоистичные, мелкие. Но тут же оправдывал себя: ведь он почтил их горе, принес в жертву радость этой своей встречи. У него лишь недружелюбные мысли, и он борется с ними. Но поступает он правильно.

Накопец мысли начали путаться, он впадал в короткую мучительную дрему. Но стоило ему прийти в себя, и тело охватывала вялость, вместо мыслей возникали какие-то непонятные картины. Через поразительно короткий миг наступало пробуждение, внезапное, как толчок. Эти полусны были счастливыми, и от этого пробуждение было особенно мучительным.

Забывье было все время одним и тем же: оно начиналось с мысли, а что, если бы он встретился с ней в другом месте, в другой деревне, в другой хате. С этого момента

он уже не думал, он видел ее глаза, чувствовал ее тело, предвкушая близкое счастье — маленькое, простое, невыдуманное, но единственное, которое могла сейчас подарить ему жизнь. Сцепарий был прост: та же комнатуха, только без желтой полоски света на потолке и без этого жалобного плача. Он чувствовал около себя тело Анны, сон переплетался с действительностью, но действительность всегда побеждала и всегда одним и тем же способом: очередной возглас старика врывался в сонное забытие как крик о помощи.

Но наконец — то ли превозмогла усталость, то ли замолкли плакальщицы — сон не прервался внезапно, а продолжался в течение нескольких предзвездных часов, долгий, как целая жизнь. Он был вдвоем с Анной, и были весна, солнце и тишина. Они проснулись поздно утром, ослепленные настоящим, пазойливым солнцем, и Анна ответила ему шепотом, что ее сны были такими же.

Они быстро оделись, тихо отворили двери комнатки. В избе было пусто. Бочком, на цыпочках они прокрались в сени. И снова почувствовали себя виноватыми.

В сенях им повстречалась одна из вчерашних плакальщиц. Она посмотрела на них с понимающей усмешкой в глазах, как смотрят на молодых после первой брачной ночи, спросила, удобна ли была постель.

У Язвинского на лбу выступил пот. Он понял, что его жертва была бессмысленной. Они не поверили, что Язвинский и Анна участливо отнеслись к их горю. В этом воюющем, алчном, упрощенном мире от него не требовалось этой жертвы. А он мучался, проклинал свою судьбу, проклинал хозяев, прибитых горем. Он почтил их скорбь поступком и не почтил в мыслях. А последнее оказалось на этот раз важнее.

Был в этом какой-то особый эгоизм, эгоизм высшего разряда. Он задушил в себе свои пасущие желания из страха, что о нем могут плохо подумать. Но сегодня он уедет и больше никогда не увидит этих людей. Этот страх был всего лишь маскировкой другого страха. Все это он сделал для себя, для своего покоя, для того, чтобы позже не стыдиться перед собой и перед Анной воспоминаний об этой ночи. А на этих людей он переложил всю ответственность, понося их в душе.

Он шел, прибитый чувством вины, и не мог избавиться от неприятного осадка. Он пробовал оправдать себя: «Ну,

хорошо, что же тогда было делать? Пойти поплакать с ними, чтобы видели люди, а потом запереться с Анной, как будто ничего не случилось? Неужели соблюдение этикета давало отпущение грехов, было более верным средством в отношениях с чужими людьми?» Он не мог ответить на эти вопросы.

Светило солнце, было утро, приблизившее природу еще на полшага к настоящей весне. На молодой ольхе появились оливковые искорки — распустились первые сережки. Перед хатами сустились солдаты: умывались у колодцев, сидели на солнце, кривили лица перед зеркальцами, скребя бритвами розовые подбородки. К Анне забежал ординарец от командования и сообщил, что в полдень выступление.

У соседней хаты стоял высокий старый крестьянин с усами, свисавшими до самого подбородка. Он поздоровался, и Язвинский сразу узнал его по голосу: это был дед Петруся, который руководил почным плачем.

Старик неожиданно потащил их в дом. На столе гостей ждали остатки праздничного обеда. Снова пили самогон. Захмелевший хозяин пастойчиво приглашал их выпить и в пьяном возбуждении рассказывал о первой империалистической войне, о приключениях своей молодости, о смерти, о своем жизненном пути. Водка сделала его хвастливым. Он гордился всем: и умершей женой, и сыном, и хозяйством, и бывшей силой, и знанием людских дел.

Третий стакан облегчил Язвинскому переход к близкой и волнующей теме. Он спросил:

— Петрусь — ваш единственный внук?

Старик не отвечал. Он раздувал усы, смотрел на Язвинского, как бы не желая слышать вопроса.

Язвинский почувствовал неловкость и продолжал дальше, чтобы ее затушевать:

— Вы его очень сильно любили, всю ночь...

— Конечно, всю ночь. А ведь только потому, что я пришел. Эти бабы ничего не смыслят. Сидели бы всю ночь как зайцы. Только я знаю, как надо. Здесь, в деревне, уже никто не умеет так оплакивать. Молодые давно забыли. А в мое время и по две, и по три ночи оплакивали. И правильно, а то что бы вы о нас подумали? Чужие люди в доме, а тут такое несчастье — и ничего? Да еще вежливые гости, вошли, постояли немного, почитали наше горе. И поэтому и этих баб всю ночь... Спать им хотелось, этим сосед-

кам, а я не дал. А сам хоть бы что. Раньше люди покрепче были.

Потом он встал, отошел к степе, долго вытирал глаза. Когда вернулся, то начал извиняться — он понимает, что у них своя судьба, он хотел бы отметить их радость. Но ведь Петрусь, Петрусь, его единственный внучонок, погиб. Пусть не сердятся, что он плачет. И налил еще стакан — за их счастливую встречу.

Особенно неуютной была комната — высокая и пустая, ничто не заслоняло ободрапанных стен, когда-то выкрашенных в абрикосовый цвет: ни шкаф, ни этажерка, ни даже картина. И лишь на дверях, покрытых облупившейся краской с небрежно прибитой фанерой вместо двух средних досок, на гвоздях висели жалкие тряпки обитательниц комнаты. Зато пол был использован на все сто процентов: два широких «топчана», а точнее, матраса с торчащими пружинами, посредине стол, несколько раскрытых чемоданов по углам, два колченогих стула с грудой розовых и светло-зеленых трусиков, бюстгалтеров, шелковых чулок и всяких других безделиц дамского дезабилье. Подоконник был превращен в буфет. На нем стояли тарелка с хлебом, невымытые кружки, банка с американским лярдом, пакетик от сахара. Единственным предметом, не имевшим потребительского предназначения, был прикрепленный к палке кусок картона со старательно выведенной надписью «Фруктовые соки — это витамины». Столь загадочное изречение исходило от Бубны, которая мучительно переживала сотрудничество с новыми властями, занимая должность руководителя отдела пропаганды в каком-то снабженческом учреждении. Нелепость этого лозунга, утверждала она, действовала благотворно как разрядка после избытка слишком заумных указаний, которыми руководители безжалостно засыпали людишек на всякого рода торжественных заседаниях.

Бубна вставала первой. По дороге на работу она забежала на несколько минут в различные отечественные и международные учреждения, занимавшиеся оформлением

¹ Конец света (лат.).

отъезда жеп к мужьям, находившимся в Англии. Ее утренняя возня около стула будила соседку, Пика, которая, едва открыв глаза, приветствовала Бубну обычным вопросом:

— Как там с визой?

— Спасибо, ужасно,— ворчала Бубна.— Обещают выдать сразу, как получу паспорт. А паспорт обещают тотчас после получения визы.

— Бедная Бубна! — На соседнем матрасе зашевелилась третья, Трефа, ее пробуждение почувствовала вся компата, задрожали двери, на окне топясопьяко зазвенели ложки.— А может, тебе лучше поехать на Западные земли...

— Где Рям, где Крым,— саркастически прошипела Пика.— Ей нужно в Англию, а не в Елесью Гуру.

— Но там живет мой знакомый пз Вильно — Якутис. Он ей поможет. А может в министерство финансов к Филипчику?

— Спасибо, я уже везде побывала, даже в Лясах.— Бубна наконец нашла свой поясок и поплелась в вапную.

Шум воды был встречен с энтузиазмом, Трефа толкнула спящую соседку:

— Черва, вставай! Можно умыться!

Та еще минуту щурила веки с темными ресницами, потом резко поднялась и прыгнула на пол.

— Не торопись,— зевнула Пика.— Вапная запята. Бубна там целый час просидит, пока не доведет себя до совершения.

— Бедная Бубна, оставь ты ее в покое.— Трефа вздохнула, и ее вздох вызвал резкое сотрясение топчана.— Смотреть не могу, как она рвется к мужу. И о чем только в правительстве думают? Кому помешает, если она к нему поедет? Одпой несчастной бабой в страпе меньше будет. И так нас здесь на песколько миллиончиков больше. Вот если бы я была министром, сразу бы... Как она страдает!

— Не будем преувеличивать! — Пика не упустила случая съязвить.— Я ее очепь люблю, она девушка что падо, худого слова о ней не скажу. Но времени даром не теряет. С Ячевским, к примеру...

— Ну и что? Знаешь, Пика, сразу видно, что ты пезамужняя. Женщине это нужно как воздух. Нет, не то, о чем ты думаешь, а просто, чтобы кто-то сю интересовался, смотрел на нее, что-нибудь приятное сказал...

— Ах, перестань! Где она пропадала в субботу? Всю ночь, правда, Черва?

— Не знаю, не помню, — неохотно проворчала Черва.

К счастью, Бубна появилась в компате, и Пика ловким маневром заняла ее место в ванной, предоставив им возможность посудачить на ее счет. Бубна тут же начала язвить, что Пика в девках не засидится. Трефа, конечно, и на этот раз смягчила упрек.

— Ну и хорошо, пусть подцепит мужа. Бедняжка, она потеряла жениха во время Варшавского восстания. Таких мне жаль больше всего. Мы с тобой, Бубна, хоть попробовали, что к чему, а они... — Она кивнула в сторону Червы. — Что за собачья жизнь, такие молодые, красивые, интеллигентные, в войну прозябали, да и сейчас прозябают. Когда это кончится? Черва, ты такая умная, совсем как мужчина, объясни нам, глупым...

— Ах, оставь меня в покое, — сорвалась Черва.

— Ты и впрямь слишком чувствительна. — Бубна сказала это, не тая презрения. — Совсем как мужчина! Нежное созданище! Если ты не можешь перенести своего вдовства, то хоть нас не оговаривай. Сами как-нибудь справимся.

— Вот уж не обманывай, — протянула возмущенная Трефа. — Вижу я, как вы справляетесь.

Черва с облегчением проскользнула в ванную. Она еще слышала возглас Трефы: «Застыдилась, девственница!» — и короткое замечание Бубны: «Да просто гусыня». Всеобъемлющая безотчетная доброта Трефы была трогательной, когда дело касалось кого-то третьего. Но уж если ты сам становишься объектом ее доброты, то тут не знаешь куда деваться. Поэтому Черва предпочитала циничную саркастичность Бубны.

Воды ей едва хватило, только чтобы умыться. Черва смотрела в осколок зеркала, торопливо, кое-как укладывая надо лбом кок темно-русых волос, спереди выгоревших на солнце, отчего они казались небрежно выкрашенными. У нее было длинное (слишком длинное, по ее мнению) лицо, крупный нос, хотя, на счастье, и прямой, яркие губы, но слишком полные, и серо-голубые глаза. Не пришла она себе и поэтому поскорее закопчила туалет.

Трефа еще не умывалась, но зато приготовила завтрак. Они стояли вокруг стола — все четверо — это как-то оправдывало их удивительные прозвища. Пика была брюнет-

кой, с волосами цвета воронова крыла, с длинным прямым посом, Трефа — шатенка могучего сложения, с вздернутым носиком, маленькими серыми глазками и ямочками на щеках, Бубна — самая маленькая, очень светлая, кругленькая, курносенькая блондинка. Их внешность значительно облегчала распределение ролей в гаданиях, организуемых, само собой разумеется, Трефой.

Завтрак был спартанским. Из-за отсутствия плитки пили американский сок ядовито-фиолетового цвета. Ежевичный, убеждала всех Бубна, раздобывшая его, хотя сок скорее походил на раствор химического карандаша. Был черствый пайковый хлеб. Теоретически было еще и топленое сало, однако с утра они не решились его отведать. Перед уходом комнату привели в порядок: топчаны накрыли одеялами. Трефа осталась.

У памятника Копернику Бубна свернула палево. Черва оказалась вдвоем с Пикой и обрадовалась, что им по дороге.

— Демобилизация, — шепнула она Пике, оглядываясь по сторонам.

— Меня это не касается! Я сама демобилизовалась еще в октябре.

— Ну знаешь ли. Сравнила. Это...

— Ты хочешь сказать дезертирство?

— Если бы такое сделала я, простая связная, это было бы дезертирством. Но ты... ты была в боевой группе. Много пережила. Подобные вещи учитывают. Но в любом случае...

Пика остановилась, с вызовом посмотрела на Черву:

— Что было, то прошло. Ты знаешь, что я потеряла. Зато я поняла одну вещь: нет ничего в жизни такого, ради чего стоило бы лгать и подличать. А может ли быть война без подлости? Человека надо здорово обмануть, чтобы он согласился воевать. Мне надоела ложь, поэтому я и не хочу воевать. Ясно?

— Все зависит от того, за что воевать. Пошли, не будем митинговать.

— Какая ерунда. Любая война бессмысленна, — не унималась Пика.

— Что ты говоришь?

Они пошли дальше, Пика кисло улыбнулась.

— Это была кошмарная идея — втянуть в войну женщин. С мужчиной дело обстоит иначе. Его легко убедить,

он загорается, приходит в иступление. Потом у него это проходит бесследно, внешнее возбуждение прошло, и конец...

— С женщинами тоже. Они даже до иступления не доходят. Помнишь, как те девушки ходили с донесениями. Словно в школу шли или на рынок.

— Потому что их не расшевелили. Но дай только женщине почувствовать вкус крови! — Она замолчала, шла, словно вспоминая пережитое. — Женщины похожи на почтовые ящики, но испорченные. Все остается в них. Кто-то когда-то прошел, бросил, забыл. В женщине это осталось навсегда. И все всерьез. Я как только подумаю: там, может, кто-то в шутку попросил приписать меня к боевой группе, и я сразу... Да еще поругалась, когда меня отговаривали...

— Бабы натура омерзительна, — подтвердила Черва. — Мужчины в одном берут над нами верх: им достаточно самих себя. Как правило. А мы должны за что-то зацениться, иначе мы несчастливы. Я так боялась влюбиться...

— Напрасно. Это еще не худшее. Самое ужасное в жизни — ложь. Делай что хочешь. Люби, пожалуйста. Бабы сущность в этом, собственно, и заключается: лгать самой себе и бояться, что о тебе подумают. Теперь я ученая. Вот Бубна думает, что я охочусь за мужем. Какая там охота. Просто я плюю на все. Живу где придется, одеваюсь, сама видишь как. Хочется выпить, пью. Хочется переспать, сама выбираю с кем. Видишь, — усмехнулась она кисло, — я выиграла войну и я совсем свободна! А на остальное наплевать.

— Не знаю, долго ли ты так протянешь...

— Я знаю, тебя не убедить. И мне это безразлично. Живи себе как хочешь. Ты должна за что-то ухватиться, за какой-нибудь лозунг, какого-нибудь мужчину. Ты наверняка в кого-то влюблена. И наверняка еще девушка. Я тебе не завидую.

— Не дури. Подумаешь, велика свобода: выпить водки или переспать с каким-нибудь молокососом. В жизни должна быть цель...

— Для оправдания собственной подлости? Вот у тебя, к примеру, есть какая-нибудь цель, да?

— Если ты хочешь знать, у меня есть нечто большее, чем цель, у меня есть вера...

— В загробную жизнь? Прекрасно.

— Я верю в то, за что борюсь...

— А может, в того, вместе с кем борешься?

— Я верю, что то, за что я борюсь, правильно. И верю, что человек, который мной руководит, знает, что делает. Я дисциплинированный солдат...

— ...которого должны демобилизовать. А что дальше?

— Об этом позаботится мой командир. Мне жаль тебя, что ты не понимаешь таких простых вещей. И что у тебя нет веры.

— Пережила бы с мое, поняла бы, что такое вера!

— Моя дорогая, не ты одна пережила столько...

— Потому-то таких, как я, много. И наконец, что ты знаешь обо мне? Жених погиб в гестапо! Как мило. А почему и как?

Они остановились перед развалинами на Маршалковской. Нижний этаж был приведен в порядок, даже висела вывеска «Салон моды. И. Годзеевская». Пика протянула руку.

— Жаль мне твоей веры. И тебя. Я должна сварганить пару чудо-шляпок у нашей министерши для оплаты политровки своей свободы. До свидания.

— Подожди! Я ничего не боюсь! Можешь говорить!

— Зачем? Все дело в том, что раньше времени понять ничего нельзя. Даже если бы я говорила бог весть какие умные вещи, до тебя это не дойдет. Только когда придет время, когда отступать уже... Все это глупости! Целую тебя!

Черва еще какое-то время смотрела вслед удаляющейся Пике. Потом, погрузившись в свои мысли, не спеша пошла по Маршалковской, непроизвольно сторонясь спешащих пешеходов. О Пике ходили легенды. После гибели жениха, молодого летчика, который втянул ее в подполье, Пика среди темных женщин попала в боевую группу и проявляла чудеса храбрости. Ее везение вошло в поговорку. Она была примером настоящей мужской выдержки. И вот что осталось от этого примера. Почему?

Черва не могла найти этому объяснения. Какая-то тайна с Романом? Надо будет расспросить. Может, Ферла что-нибудь знает. Она свернула в боковую улицу. Ей было нелегко пережить такое падение Пики. Надо с кем-то поговорить, пусть что-нибудь придумают. Заграница?

— Стой! — крикнул кто-то у нее над ухом.

Солдат с винтовкой схватил ее за руку. Она машинально прижала сумку: попалась! Через секунду вспомнила, что она «чистая», и одновременно сообразила, в чем дело.

Немецкие военнопленные разбирали угрожающе нависшую стену четырехэтажного разрушенного дома. Они дергали стальной трос, натянутый между вывороченным трамвайным столбом и верхним краем стены. Покрикивая, пытались ее раскатать. Дело двигалось с трудом, а пленные и не очень-то старались. Группа солдат, курия и поплевывая, наблюдала не столько за ними, сколько за толпой зевак с мальчишками во главе, чтобы те не слишком вылезали вперед. Черва не заметила, как оказалась в опасной зоне.

Она остановилась и тоже засмотрелась. Стена качалась, и при каждой качке захватывало дух: уже? Но немцы не торопились. Стояли, инсценируя дискуссию по каким-то техническим вопросам, кричали все разом. Зеваки проезжались на счет солдат, пазывали их растяпами. Черва смотрела с удивительными, противоречивыми чувствами: вот стоят перед ней берлинговцы¹ или как их там теперь называют. Приятно видеть, казалось бы, что даже в таком пустяковом деле враг оказался беспомощным и слабым. Но это был уже осмысленный вывод, а непосредственной реакцией была досада и даже стыд. Черва поймала себя на мысли: «Скорей бы уж стена рухнула».

Но стена не собиралась этого делать. Спустя какое-то время один из солдат потерял терпение. Он обругал немцев, очень грубо и замысловато, па что они никак не отреагировали, потом закричал:

— Ребята, черт их возьми, идите, покажем им! — И к гражданским: — И вы тоже, вместо того чтобы влословить...

Но зеваки не унимались. Какой-то подросток шагнул вперед, тут же на него прикрикнули: «Ты что, госбезопасности помочь хочешь? Солдаты прямо с автоматами

¹ Берлинг — командующий польской дивизией им. Т. Костюшко, сформированной на территории Советского Союза, воевавшей вместе с Советской Армией против Германии.

на шее направились к стене, немцам велели отойти, схватились за трос. Первый, стоявший у стены, почти повиснув, упершись носком сапога в землю, задал ритм: «Раз-два взяли!»

Стена дрогнула. «Раз-два взяли, раз-два взяли!» — этот выкрик раскачал, казалось, не только мертвые кирпичи. Подросток снова выскочил, кто-то зашипел на него, но он, уже не обращая внимания, ухватился за конец троса и звонче всех кричал, стена все больше и больше крепилась.

Было что-то завораживающее в нараставшем ритме. Еще двое гражданских не выдержали и присоединились к солдатам. Черва затаив дыхание смотрела на стену. Стена покачнулась, и девушке показалось, что еще мгновение — и стена рухнет. «Раз-два взяли!» — гремело над толпой. Стена качнулась еще больше, и несколько гражданских бросились к тросу. Черва почувствовала, что на глазах у нее слезы; она бессознательно сделала два шага, в этот момент верхний этаж, словно срезанный ножом, сполз и медленно на лету перевернулся. Грохот, красная пыль вяло поднялась вверх, случайный порыв ветра подхватил ее и вогнал в боковую улицу. Суматоха, радостные возгласы. Немцев погнали убирать обломки.

Черва шла медленно, и снова чувство досады охватило ее. Но ей не хотелось находиться в таком состоянии, и она поспешно стала искать пищу для размышлений. Пика с ее трагедией? Черва почувствовала, что это небезопасно. Демобилизация. Вот именно. Надо подыскать какую-нибудь работу, несколько часов в день. Может быть, тоже заняться шляпками? Поступить в университет. Право, медицина? Черва смотрела на сожженные остовы зданий — когда-то это были нарядные дома, вспомнилась кроваво-красная пыль, и она решила: архитектура.

Ферла ждал ее возле Политехнического института. Она уже издали приветствовала его радостным взмахом руки. Он отвернулся, притворился, что не видит. Она почувствовала прилив обезоруживающей нежности — конспиратор! Подошла к нему, взяла под руку.

— Знаешь, Барбара, так не делают!

— Что с тобой? Вот глупости, с тем все кончено. Демобилизация!

— Во-первых, это только вечером. Во-вторых, вообще...

— Что вообще, что? Так до конца жизни и не расстанешься со всей этой дребеденью? А вот я, к примеру, со всем кончаю. Иду на архитектурный. А ты?

Этим она конечно немного его взбодрила. Может, даже излишне, принимая во внимание, что он безнадежно в нее влюблен и может превратно понять ее хорошее настроение. Замолчала, перешла на официальный тон:

— Кто, где, в котором часу?

— Августин хочет с тобой встретиться. — Ферла пылливо заглянул ей в глаза, пытаясь уловить в ее взгляде радость оттого, что ей оказана такая честь.

— Августин? — замерла она. — Что ему от меня нужно?

— Не знаю. Может, хочет лично поблагодарить.

— Я видела его всего три раза, да и то год назад.

— Но все донесения шли через тебя. В общем, не знаю. Но бояться тебе нечего. В лучшем случае повышение или награда.

— Что мне до этого, если и там демобилизуют?

— Так или иначе, кого попало шеф к себе не приглашает.

Это было абсолютной правдой. Несмотря на успокаивающее объяснение Ферлы, Барбара вспомнила о недавнем порыве. Может быть, за границу? Они миновали сожженные строения Политехнического института, уже заросшие травой. Барбара попыталась утешить себя — итак, с архитектурой ничего не выйдет, пока за это все примутся... Ферла молчал. Глупый. Не имея никакой надежды, он равновал ко всем. Они побродили еще немного, не зная, где приткнуться.

Рано пообедали в закусочной на Охоте. Около двух двинулись дальше, где-то за железнодорожными путями среди сожженных развалин отыскивали чудом уцелевший флигель. Ферла первым взобрался по распатанной лестнице на самый верх, постучал, что-то прошептал пожилой женщине, которая наконец им отворила. Она не хотела их выпускать, несмотря на дважды повторенный Ферлой пароль: «Пожалуйста, через полчаса». Однако Ферла преодолел ее сопротивление, на цыпочках проводил Барбару через темный коридор, указал на двери: «Сиди, жди, он сам сюда придет, сейчас он занят». И ушел.

Она присела на вытертый плюшевый диван. Комната хранила следы дешевого довоенного уюта и жестокой по-

слевоенной пужды. На стенах уцелели две полки с фотографиями, на диване лежала вышитая подушка, чем-то пыльным и влажным пахло из углов, двери в соседнюю комнату потрескались, вместо стекол был вставлен картон, крашеный пол облез, из окна тянуло едким, оставшимся еще с прошлой осени смрадом. В такой комнате трудно было думать о радостном будущем, свободном от военной дисциплины, даже если бы не было перспективы встретиться с тем, кто являлся олицетворением этой дисциплины.

Майский варшавский полдень был необычайно безмолвным. Где-то далеко шумели автомашины, время от времени глухо грохотали не то взрывы, не то обваливались разрушенные дома, а здесь только красные и обгоревшие кирпичи за окном и какое-то робкое старческое шарканье ног в коридоре. Наверное, хозяйка хлопочет по дому, словно она еще может предотвратить то, что уже случилось с этой когда-то ухоженной квартирой. Барбара расчувствовалась, прислушиваясь к беспомощным шорохам. «Подметает, мокрой тряпкой обмотала облысевшую щетку. Теперь, кажется, стирает пыль. Уму непостижимо это старческое трудолюбие. Я бы помогла ей, если бы этика подполья допускала подобные вещи. А сейчас?»

И вот уже не шум из коридора, а разговор вполголоса из-за треснувших дверей. «Августин,— внезапно поняла она,— значит, он не затерялся в одной из комнат этой незнакомой, почти необъятной квартиры, значит, он здесь, в двух метрах от нее». Она даже голос его узнала, гортанный, с хрипотцой, низкий, настойчивый, убедительный самым своим звучанием, не говоря уже об аргументах. С чувством нежности — иной, чем минуту назад, — она затаила дыхание.

— ...не Мирослава! — Слово это было произнесено с легкой иронией, поэтому она услышала его первым. — Понимаете, сейчас простого подчинения, простой дисциплины недостаточно. Не профессиональная фанатичная верность: поэтому молодежь, а не старые хрычи. Я скажу вам больше — женщина!

Ответа она не расслышала. И пожалела, что разговор прервался на таком интересном месте, но тут же обругала себя и подумала радостно: «Не буду подслушивать». Да еще Августина! Но голос Августина снова зазвучал за дверью. Прежде чем она подумала, что может заткнуть

себе уши, до нее донесся обрывок первой торопливой тирады:

— ...Конечно, я выполняю приказ. Но мне хотелось бы, чтобы там поняли, какие здесь чертовски трудные условия. Я отвечаю за все и имею право требовать, чтобы мне позволили выполнять работу так, как я сочту необходимым. Именно молодежь. Именно женщина... Кстати, у меня есть такая...— Она не расслышала, так как говорящий перешел на шепот.— Вы ее знаете?.. Ну и что такого?.. Безгранично предана, прекрасный организатор, смелая, решительная... о направлении, о задании я позабочусь сам...

Барбара схватилась за голову в ужасе, что подслушивает, и только этот жест подсказал ей спасение. Она зажала уши. Но свои мысли подчинить ей не удалось. Говорили о ней. Значит, не демобилизация? Внезапно она ощутила подавленность. Августин о ней «смелая, преданная», а она в отчаянии, что не демобилизация. Барбара попыталась выбраться из западни. Она слишком самоуверенна. Столько женщин было в подполье, почему эти лестные слова должны относиться к ней? Она не успела заметить лицемерия этих отговорок. Двери распахнулись, Барбара вскочила, все еще держа руки за голову.

— Что с тобой? Голова болит? — Августин прикоснулся ладонью к ее лбу, не слушая возражений, взял за руку.— Ну пошли! — Он вывел ее в коридор, кивнул пожилой женщине.

— Может быть, дамы побудут минутку в кухне? — Закрыв за ними дверь и повернул ключ. Она услышала шаги, шли двое, шепот у двери, ключ, цепочка.

Августин вернулся, извинился с небрежной, торопливой вежливостью, кивнул Барбаре.

Комната, куда он ее ввел, была столовой. Они сели друг против друга, Августин положил руки на стол, посмотрел ей в глаза:

— Знаешь, зачем я тебя позвал?

— Догадываюсь... как мне кажется...

— Мне кажется, ты поняла правильно. Не так ли?

— Не знаю...— попыталась она улыбнуться.

— Сейчас все узнаешь. Времени у нас достаточно. До темноты побудешь со мной. Ты обедала? Хорошо. Позже проводишь меня на другую квартиру. Здесь слишком пу-

стынно, каждый прохожий на виду. У тебя есть что-нибудь на примете?

— Постараюсь. На Вильчей...

— Это уже лучше. Ненадолго, только переночевать. Ну так к делу. Во-первых, наконец-то получены бумаги о повышении. Поздравляю вас, пани поручик! — Он пожал ей руку через стол, но улыбка была, скорее, иронической. — Одна из первых женщин-поручиков. Это не пустяк, ты знаешь, какие они там скупые на повышения, особенно для женщин. Прекрасно. Во-вторых, документы о награждениях. Ditto¹ — это значит «поздравляю». Кавалер Виртути Милитари². Тоже одна из немногих, следует добавить, оставшихся в живых. К умершим они более щедры...

Августин смотрел ей в глаза, и она должна была еще раз улыбнуться. Он заметил, что девушка не торопится, она всегда боялась этой его почти бесстыдной пронизательности, способности заглядывать куда-то глубоко в душу, до самого дна... Он тянул, слегка нахмутив брови...

— Я знаю, у вас своя мода: недооценивать орденские кресты и звездочки. Нехорошо. Это не только символ бывшей верности, но и вексель, да, да, вексель, выданный награжденным за верность в будущем. Потому это и важно, понимаешь? Не понимаешь ничего, поймешь позже. Конечно, игрушка подождет тебя, а сейчас только бумага в Кракове. В-третьих... — Он замолчал и снова посмотрел на нее: — Да, да, демобилизация...

Она глядела на него, чувствуя расставленную западню. И не в силах скрыть своей надежды, пробормотала:

— Правда? Всей армии?

— Да, всей Армии Крайовой³.

— Значит, и я тоже?

— Значит, и ты тоже. Будешь демобилизована из Армии Крайовой. Ты догадалась, да?

— Мне уже сказали...

— Тем лучше. И о чем ты еще догадалась? Больше ни о чем?

¹ То же самое (лат.).

² Высший военный орден «За доблесть».

³ Армия Крайова — подпольные вооруженные силы, созданные польским эмигрантским правительством в оккупированной гитлеровцами Польше.

— Пан полковник... для меня...

— Да, конечно. Армия Крайова перестает существовать. Но наши цели не были достигнуты. Поэтому мы создаем нечто иное. И эта организация будет бороться дальше. За что? За свободу. За настоящую свободу Польши. Как и армия, организация будет внепартийной, всенародной. Программа: сама знаешь, ведь мы солдаты, а не политики. Просто борьба за свободу. Отсюда и название. ВОВ¹. Ясно? — Он посмотрел на нее, как всегда не ожидая ответа, если тот запаздывал хотя бы на секунду, и продолжал дальше: — Может, тебя удивляет, почему в таком случае ликвидируется армия. Очень просто: условия, в которых она действовала, несколько изменились. Армия Крайова была массовой организацией, изменение условий основательно ее распало. Не каждый может заглянуть вперед и понять всю опасность народной власти. Не один сломается, откажется от борьбы и, что еще хуже, перейдет на сторону народной власти. Ты ведь сама знаешь, что это правда? — На этот раз она успела ответить. — ...вот именно. Поэтому мы берем из Армии Крайовой наиболее сильных, наиболее преданных. Они станут костяком ВОВ. Остальные пусть идут с повинной к властям, пусть переходят к мирной жизни... — Он пожал плечами. — Если смогут.

Он встал, подошел к окну, посмотрел на развалины. И продолжал, не поворачивая головы:

— ВОВ — организация чертовски трудная. Поэтому мы будем стремиться к тому, чтобы в первый период принимать стопроцентных добровольцев, и этим первым мы предоставляем абсолютную свободу выбора. Само собой разумеется, что вступившие обязаны будут подчиняться дисциплине еще более строгой, чем в АК. Но решение не должно быть опрометчивым. Я знаю, ты боишься моего взгляда. Но я не хочу таким образом воздействовать на тебя. Подумай спокойно, ты девушка рассудительная, десяти минут тебе хватит.

Он не повернулся, но она могла поклясться, что в этот момент он многозначительно подмигнул. Барбара сразу же поняла: даже двух минут — для нее! — более чем достаточно. Она кашлянула, чтобы преодолеть внезапный спазм.

¹ Walka o wolność (польск.) — борьба за свободу.

— Пан полковник, вы хорошо знаете...

— Я ничего не знаю. Что было, то прошло. Былой верности мне недостаточно.

— Ничего не изменилось. Я была и останусь солдатом.

— Ах вы, бабы! — Августин наконец повернулся, остановился перед ней. — Не о бездумной, не о солдатской верности сейчас идет речь. Солдат мне хватает. Если я произношу перед тобой почти что доклад о политической ситуации, ты должна понять, что я требую от тебя большего.

— Разве есть что-нибудь больше солдатской верности?

— О моя дорогая! Это самое простое, особенно в нашей стране. Солдат отдает свою жизнь в распоряжение властей, но наши национальные традиции приучили нас к мысли, что красиво организованная смерть — признак хорошего воспитания. А я плюю на хорошее воспитание. Мне нужно нечто гораздо большее.

— Я в вашем распоряжении, требуйте.

— И буду! Ты даже не представляешь себе, как буду требовать. Ты принимаешь это условие?

— Да, принимаю.

— Не под нажимом? По собственной доброй воле?

Она кивнула головой, не в силах отвести взгляда от его глаз.

— Хорошо, пусть так. Я объясню тебе, о чем идет речь. У тебя будет право отказаться. Весь сегодняшний день. Я не хочу, чтобы это было, словно ты покупаешь кота в мешке.

Он присел, закурил, долго думал, блуждая взглядом по комнате. День клонился к концу, солнце добралось до окна, заглянуло и осветило в углах трещины и плесень. Где-то неподалеку проехал автомобиль, неслаженные солдатские глотки орали «Наше море». Барбара мимоходом подумала: ни шагу без нас ступить не могут, даже песню... И вдруг эта мысль вернулась в другой тональности: и это у нас украли.

Августин продолжал курить и молчал. Она начала испытывать беспокойство. Пустилки не могли бы принудить его к такой неуверенности. Еще четверть часа тому назад было так легко согласиться на его предложение, но теперь?..

— Знаешь, — начал он наконец. — Перед нами коварный, хитрый враг. Он очень силен, только дураки у нас

кричат, что с существующим строем можно легко покончить. Все это обман, а скорее всего, умышленное очковительство. Конечно, в целом ряде вопросов народная власть еще слаба, много беспорядков. Вся загвоздка в том, что вопросы эти второстепенные. Что же касается главного, то там беспорядка нет, почти нет. Я говорю тебе это затем, чтобы ты поняла необходимость в исключительных методах борьбы с нашей стороны.

Он наклонился через стол и, ни на секунду не спуская глаз с ее лица, заговорил:

— Загвоздка еще в том, что время работает против нас. Те беспорядки, которые еще три месяца тому назад, казалось, были велики,— их теперь практически нет. Если мы не подорвем их строй именно сейчас, в течение нескольких месяцев, года, полутора лет, то позже мы уже ничего не сделаем. Ясно? Значит, будем действовать или нет? Будем. Подорвем? — Он пальцем коснулся ее руки.— Как ты думаешь?

— Да...— произнесла она беззвучно, едва шевеля губами.

— Необязательно. Только в одном случае мы победим. Если без промедления, не теряя времени и всеми способами. Попимаешь? Всеми! Не щадя сил. Крови. Своей. И конечно же, чужой, чужой прежде всего. Ты понимаешь? Не останавливаясь перед...

— ...террором! — выкрикнула она громко, увлеченная, гордясь, что с полуслова понимает его.

Августин как бы между прочим подтвердил ее открытие:

— Конечно, и террором. И вообще, не останавливаясь ни перед чем. Даже если кое-что может показаться ненужным и мелким. Лишь бы действительно. Даже если это оскорбительно для наших чувств, морали и правил, гм, бонтона. Как я уже сказал, этому последнему у нас часто придают слишком большое значение. Особенно девушки из хороших семей...— подмигнул он. Она пыталась протестовать, он остановил ее движением руки: — Если бы я не знал, что ты можешь такое преодолеть, я не тратил бы на тебя время. О «полосе» ты слышала? Особая операция, проводимая НСЗ¹. Что-то в таком роде мы должны будем

¹ НСЗ (Национальные вооруженные силы) — военная организация, созданная крайне правыми польскими националистами во время оккупации, боровшаяся против коммунистов.

делать. Итак, видишь, немцы нас, как всегда, кое-чему научили. Мы недооценивали того, что есть здесь, внутри. — Он ударил себя в грудь. — Нам казалось, что мы хорошо знаем человеческую натуру. А между тем внутри человека имеются колоссальные запасы энергии, до нее нужно только добраться и использовать ее. Немцы сделали ставку на погрязание норм морали, принятых в так называемом культурном обществе. В целом их выводы для нас непригодны. Но путь любопытен, тут мы многого можем достигнуть. Возьмем, например, страх. Этот мощный рычаг цивилизации. Нужно заставить эту необузданную скотинку... работать, да, положим, так было всегда. Но и воевать. У англичан тоже кое-что можно позаимствовать. Например, их широко разрекламированный «Интеллидженс сервис» имеет свои методы, несомненно действенные. Немцы, как обычно, — массовой кампанией, англичане — четко и с выбором — достигали многого. Мы должны в нашей борьбе целенаправленно и обдуманно применять их методы и, конечно, учитывать наши нелегкие условия.

Он снова закурил. Теперь он искал другие точки, на которых мог бы остановить свой взгляд, — не глаза Барбары. Она же всматривалась в него, охваченная беспокойством, почти отчаянием. Ее теперь волновало не только то, что она остается в подполье и что переходит — как это говорилось — на особую работу. А вот что он прикажет ей, выполняя эту особую работу, делать, на каком уровне? Очевидно, на очень высоком. Что же он о ней думает? Простая связная...

— Одной из форм борьбы ВОВ будет террор. Но не тот хамский, как в НСЗ. А продуманный. Рассчитанный на конкретные психологические эффекты. Я приведу тебе несколько примеров. Тип А: выдающийся деятель, обязательно на высоком посту, но особо вредный. Тип Б: слишком рьяный карьерист. Тип В: дезертир. Тип Г: английский стиль, это значит такой субъект, который, по общему мнению, является оппозиционером, но, по нашей оценке, может стать сторонником их строя. В этом случае ловко инсценируется убийство органами госбезопасности. Огромный, двойной, даже тройной эффект! Понимаешь? — Она кивнула головой, он посмотрел на нее, скривился: — Я чувствую, что подошел вплотную к вопросу о солдатской верности, если уже не перешагнул его.

Протест Барбары был особенно горяч, потому что он опять попал в точку. Августин кивал головой, принимая этот протест, а может, только делал вид.

— Это будет самостоятельная сеть, только наверху связанная со штабом. Назовем ее, ну, к примеру, операция «Z». Своего рода Ultima Thule подполья. Если ты знаешь, что такое Ultima Thule.— Он замолчал на минуту и наконец изрек: — Ты будешь ее шефом.

— Пан полковник...

— Как? Такая честь? Я не заслужила? Столько более достойных?

— Но ведь я... никогда не принимала участия в особых операциях... я простая связанная...

— Во-первых, не простая, а главного штаба АК. Как бы адъютант. Маршал назначал своих адъютантов прямо министрами. Во-вторых, именно потому, что до сих пор ты не работала по этой линии. Мы создаем сеть заново, из особо надежных. Мы не знаем, насколько глубоко государственная безопасность проникла в нашу армию, но что проникла, и довольно серьезно, об этом догадываемся. Следовательно, данный пункт отпадает. Остается вот что: выдержи ли твои нервы, не вызовет ли эта работенка смятения в твоей девичьей душе? Но я не знаток таких душ. Сама разберись. Времени у тебя достаточно.

Однако точно времени не назвал и переишел к технической стороне дела. Взял лист бумаги, нарисовал несколько кругов:

— Пока для начала получишь Варшаву и Люблинское воеводство. В других районах мы тем временем осмотримся, через месяц-другой увидим. Ферлу отдаю в твое распоряжение, он в тебя влюблен, это очень хорошо, а еще лучше, что, гм, безнадёжно. Он тебе подножки не подставит и потянет всю работу, хотя бы ради твоих прекрасных глаз, а не только ради дела и тому подобного. С сегодняшнего дня все контакты со мной обрываешь. Работаете самостоятельно. Общие инструкции будешь получать через Клипу. Трудно, трудно, но мы не можем слишком считаться с твоей девичьей впечатлительностью. Именно через Клипу. Она же поможет, если непременно тебе будет нужно, но только непременно, увидаться со мной или с кем-нибудь из штаба. Но этого желательно избегать. Вообще, ты должна понять: ты начинаешь самостоятельно действовать, в случае чего я отказываюсь от

тебя. Конечно, ты тоже. Идет. Спустя какое-то время наши отношения, очевидно, будут расшифрованы, но не будем торопиться. Пусть госбезопасность думает, что во главе новой подпольной организации стоит романтическая Барбара. Известно, что полячишки — народ склочный, не смогли договориться. Понимаешь? Отлично. А теперь иди в гостиную, подумай, книгу почитай. До вечера ты должна оставаться здесь, а я еще поработаю.

Он помахал рукой и запер за ней дверь. Она снова присела на диван, машинально обхватив голову руками, как тогда, час или два назад. Последняя часть разговора воспринималась легче, ибо была конкретней. Теперь насмешливый ум не позволял ей только стоять на вытыжку и поддакивать. А все-таки если бы она отказалась? Он не требовал от нее поспешного решения. Она бы солгала, сказав, что согласилась по собственной воле. У нее хватило бы возражений и отговорок: не только разгром восстания после недолгого упоения им вначале, не только последующие неизбежные огорчения, когда появились слухи об ультиматуме, об американцах, словом, не только горечь поражения, но и еще много мелких, ежедневных и не менее мучительных огорчений — одно и то же, конспирация, явки, связные, почтовые ящики, постоянное напряжение: не за мной ли? И еще большее напряжение: не подведет ли этот, а тот не сломается ли, выполнит ли приказ? Весь образ жизни, когда ничто не принимается в расчет — только великий день победы. День, который из послезавтра, как казалось год назад, отодвинулся так далеко, что она даже не решается подумать — когда? А теперь еще эта операция...

Можно отказаться. Явиться, легализоваться, поступить в университет. Жить вместе с теми. Как хорошо проснуться утром, зная, что нет никакого связного, что можно бездумно бродить по улице, рассматривать витрины, огорчаться, что чулки слишком дороги.

Солнце дошло и сюда, его ласкающее тепло прикоснулось к колену, медленно поползло вверх, скользнуло по груди. Она хотела отодвинуться, но сил хватило лишь на то, чтобы поджать ноги. Слишком удобной оказалась эта поза, теперь только зажмурить глаза.

Она вскочила, лихорадочно ловя воздух. Небо стало фиолетовым, в комнате похолодало. Августин медленно процедил:

— Ну, я вижу, ты решилась. Только когда совесть чиста, можно так беззаботно спать. Ну так что, на гражданскую?

— Нет, пан полковник, я остаюсь.

— Операцию принимаешь?

— Да.

— Ты серьезно решила или только так, чтобы понравиться мне?

Она закусила губу, но взгляд его выдержала.

— Хорошо. Вот схема организации и первая инструкция. Прочти, выучи наизусть. Проводишь меня на свою Вильчю улицу, пойдешь к Клепе, сегодня вечером там будет Ферла. Оговори с ним контакты, и за дело. Пошли.

3

Они с трудом пробирались по мостовой среди груд кирпича. Вечер вылезал из развалин, первые фонари где-то на Маршалковской превратились в желтые шары. Две крысы с писком перебежали им дорогу, Барбара псвольпо остановилась, дождалась, когда его рука ляжет на плечо:

— Ну, ну, бесстрашный поручик мышей боится?

Она усмехнулась смущенно. Что за дикость? Скоро она будет руководить большой террористической сетью, а сейчас боится крыс, как обычная гусыня. Она снова двинулась вперед, по узкой дорожке, он шел за ней, разговаривать было неудобно. В голове мелькали обрывки мыслей. Крысы и террор. Это сопоставление вызвало странную реакцию. Крысы уже не пугали, как следовало бы ожидать, а вот террор... Только здесь, перепрыгивая по кирпичам, она подумала: значит, не боевая группа, как год назад, он даже не пытался это так называть. Особая. Попросту террор. А нельзя ли без него обойтись? И если нет, разве необходимо, чтобы это делала она?

Барбара снова остановилась, испуганная собственными непослушными мыслями. Они дошли до Маршалковской, здесь движение было оживленным, в кафе шумели, первый фонарь назойливо заглянул им в глаза, и Августин увидел выражение ее лица.

— Что с тобой? — наклонился он и погладил ее по руке.

На улице они изображали влюбленную парочку.

Она превозмогла себя, ответила ему улыбкой. Они пошли дальше. В темных переулках маячили женские силуэты, замершие в ожидании возле наполовину сожженных ворот. Солдаты группами проходили мимо них, громко смеясь. Августин по привычке кадрового офицера вздрагивал при виде небрежно расстегнутых воротников, конфедераток, сдвинутых набок или небрежно нахлобученных на глаза.

— И это называется армией? — хмыкнул он не то возмущенно, не то пренебрежительно.

Может быть, эта произвольная реакция придала ей смелости. Переходя через улицу, она шепнула:

— Это в самом деле необходимо?

Он усмехнулся, поняв сразу, но какое-то время медлил с ответом. Она испугалась, что он ограничится только снисходительной улыбкой. Однако он не ограничился:

— Если уж то, что я сегодня сказал, не смогло тебя убедить, вспомни, что и у нас действует закон конкуренции. Мы не одни. Если мы расформируемся полностью, наше место займет НСЗ. Может быть, ты думаешь, что в благородном национальном порыве энэсзетовцы откажутся пролить польскую кровь? Кроме того, наше отсутствие развяжет им руки. Некоторые отряды из нашей сети не подчинятся нашему приказу и перейдут к ним. В Люблинском восводстве действует лесная группа некоего Туроня. Если мы сегодня пошлем ему приказ легализоваться, завтра он уйдет в НСЗ. Понятно?

— Но ведь я не говорю о роспуске. А только о том, необходима ли эта операция?

— Я тебе отвечаю: или операция, или роспуск. Нельзя объединить тысячи и десятки тысяч, приказав им сидеть и ничего не делать. Есть у меня один, на совещаниях он все наши недоразумения объясняет тем, что в районах не выполняют приказа за номером шесть. Двое других не соглашаются с ним, усматривая причины в несоблюдении инструкций. Понятно? Видимо, не очень. Собственно, поэтому я и выбрал для наиболее ответственной работы молодых, не брюзгливых, не вымуштрованных, которые понимают, что армия либо сражается, либо разваливается.

— Но ведь есть и другие формы борьбы. Пропаганда...

— Она не заменит действия, самое большее, она его поддержит. Теперь к вопросу о конкуренции. Не забывай, что и в центре, за границей, существуют определенные разногласия по вопросам организации и идеологии. Если окажется, что НСЗ возглавило подполье, мы потеряем там влияние, центр примет энсзетовскую концепцию борьбы, что я лично сочту катастрофой.— Он замолчал, с полупшепота перешел на обычный тон.— Забавно получается с этой конкуренцией. Вон Маковские, посмотри, какой товар выставляют? — Она взглянула на него, не понимая. Он многозначительно сжал ее руку.— Чистая работа, отличное оформление. И дешевле. И быстрее. А у нас одни обещания. Эта их ветчинно-рубленая — пальчики оближешь. А копченая? Да, да, моя дорогая, либо примемся за работу, либо потеряем клиентуру.

Он замедлил шаг, словно заинтересовался витриной. Двое в фуражках безразлично прошли мимо. Он подождал, пока они скроются за углом. Движение здесь было менее оживленное, каждый прохожий воспринимался как нечто неопределенное и угрожающее. Она поняла смысл этого перехода, но ее неприятно поразил выбор: колбасные изделия. Неслучайный, разве у Августина что-нибудь было случайным? Он хотел грубым сравнением убить ее сопротивление, более того — выразить пренебрежение к ее сомнениям.

Она молчала. Вскоре они свернули на Вильчью. В сожженном почти дотла доме одно из окон второго этажа было освещено, оттуда доносились крики, пение, женщина с растрепанными волосами, наклонившись через подоконник, тонким, пропитым голосом выводила: «Ты помнишь Капри...» — «Помню, помню, — заикался мужчина, обнимая ее за талию, — идем туда...»

Они ускорили шаги, прошли мимо. Августин снова заговорил вполголоса:

— Видишь, если бы не твое упрямство, ты уже сегодня могла бы пожирать плоды победы и мирной жизни.

Ей захотелось хоть раз отважиться возразить ему, рассказать о том, как ломали стену. Но она поборола себя и лишь понимающе улыбнулась. Но этого ему было недостаточно. В темном переходе он задержался.

— Помни, моя дорогая, впереди у тебя самостоятельная, очень трудная работа. Я не делаю выводов из твоего нынешнего поведения, наоборот, я оцениваю только выгодные для тебя моменты. Видно, ты серьезно относишься к задапию, которое тебе доверяет штаб. Но одну вещь на прощание я должен повторить тебе в тысячный раз. Дисциплина. Преданность командиру. Не видимая, уставная и тому подобная. Фапатичная. Ты знаешь, что это значит? Здесь очень тонкая разница. Солдат-служака повторяет: командир всегда прав. И думает при этом: выполняя приказ как можно точнее, я избавляюсь от ответственности, я сваливаю ее на старого хрыча, комапдира, который все путает. Настоящий боец повторяет: командир всегда прав. И знаешь, о чем он думает? Что тот действительно прав. А уж если ему покажется, что командир уклоняется и даже ошибается, все-таки он свято верит — существует другая правда, которая повелевает командиру действовать так, а не иначе. Понятно? Только таким образом мы сможем продержаться в это страшное время. И победить. Только фапатичная вера. Поэтому... поцелуй меня, скорее!

Он схватил ее, она пыталась сопротивляться. Поняла, когда его губы, сухие и шершавые, прильнули к ее губам. Он сильно прижал ее, с пескрываемым, казалось бы, желанием. Барбару охватил ужас: инструкция! Она закрыла глаза, как бы теряя сознание. Но тут же овладела собой, оглянулась.

Из-за угла вышел патруль. Впереди шел парень с автоматом. Она краем глаза видела челку, падавшую на глаза, и лихо сдвинутую на затылок конфедератку.

— Эти времени зря не теряют? — причмокнул он с завистью.

Августин, словно захваченный врасплох, неловко отпустил ее, усмехнулся солдатам, взял ее под руку и подтолкнул вперед.

— Не туда, не туда, вот здесь в развалинах удобнее! — крикнул кто-то им вслед.

Другой доброжелательно добавил:

— И поторапливайтесь, ночь. Как бы вас не обчистили.

Августин молчал, она обратила внимание на его окаменевшее лицо. Бесцеремонное солдатское обращение, должно быть, сильно его раздражало. Только на

темной и вонючей лестнице к нему вернулось самообладание.

— Еще раз напоминаю, дисциплина! Этим мы их бьем. Пусть эти молокососы послужат тебе предостережением и стимулом к действию. Без дисциплины армия превращается в банду. А банду можно уничтожить, даже если она и выглядит очень сильной. И вот еще что: постарайся справиться со своими сомнениями, у тебя впереди ночь. Если не сможешь, приходи сюда завтра около восьми. Я не буду сердиться, наоборот, поблагодарю тебя за честность. А пока спасибо тебе за эти три года. Ты мне хорошо помогала. Ну, держись. Не знаю, скоро ли мы снова увидимся.

Он стоял в темноте, держа ее руку в своей. Спичка погасла, она только по памяти видела его лицо, склоненное над ней, требовательные глаза, глубокие борозды на щеках. Она почувствовала, что он чего-то ждет от нее, слова или жеста? Военской присяги или слез?

— Все в порядке, командир,— сказала она натянутым голосом.

За дверью кто-то наконец зашевелился, прозвучал пароль: «От супругов Вацлавских». На проявление чувств не осталось времени. Странно, но это ее обрадовало.

Цепочки, задвижки, ключи. Пожилая женщина с чересчур нарочитой улыбкой. Запах керосинки. Свеча колебалась на сквозняке, и ресницы Августина бросали спасительные, маскирующие тени на глаза. Она жеманно попрощалась с ним.

4

Она хотела было свернуть со Стапица к себе, на улицу Северинов, но огоньки на Новом Свете напомнили ей: Клипа. И снова обида на него, почему именно Клипу он дал ей в связные. На этот раз она быстро взяла себя в руки, именно назло своим идиотским предубеждениям, именно сейчас. Да, и Ферла должен там встретиться с ней. О чем-то падо его спросить. Она не могла вспомнить, что еще ее огорчило. Он наверняка знал о намерениях Августина относительно ее, но в течение шести часов не сказал ей ни слова и не условился о встрече. Видимо, Августин не был полностью уверен, что она при-

мет его предложение. Больно и обидно. За кого он ее принимает? Значит, в фанатичной преданности есть тоже немного притворства. И конечно, сожаление, ведь могла пойти на гражданскую, Августин это учитывал.

Закусочная была самого низкого пошиба. Барбаре стоило большого труда решиться войти в этот храм возрождающейся послевоенной «культуры». Через раздевалку по размерам не больше шкафа, где торчал гардеробщик и он же портье, она вошла в бар. Народу, как всегда, было полно. Привлеченные гармоникой и скрипкой, здесь собирались неутомимые варшавские коммерсанты в поисках минутного отдыха и соответствующих развлечений после изнурительного дневного труда. Курили так много, что от входа уже не было видно второго зала, того настоящего, с оркестром и шестью квадратными метрами дансинга. За баром, американским по форме (полукруглая стойка, высокие стулья) и веховским¹ по содержанию (сельдь в сметане, фаршированная щука), сидела молоденькая, хрупкая и очень красивая девушка, которая с трудом пыталась сочетать необходимое для барменши достоинство с кокетством. Это и была Клипа.

Приход Барбары ее отнюдь не обрадовал. Она наморщила тонкий, прямой, благородной формы носик, подморгнула в смысле «через минуту» и закончила разговор с каким-то толстым, высоким, совершенно лысым мужчиной. Барбаре стало не по себе. Ждать, стоя перед стойкой, или сесть за столик — не значит ли это обратить на себя внимание? Принять падменное, неприступное выражение — тогда внимание может стать опасным, ведь на этот раз она не «чистая». Только спокойно, разве трудно улыбнуться — так будет безопаснее, хотя и противнее. Двое посетителей неподалеку уже начали присматриваться к ней и обмениваться замечаниями насчет ее «телосложения» и других чисто женских прелестей. Она слышала их смешки и почувствовала тошноту. Вспомнила, что не ужинала. Барбара села за столик возле стойки и хотела было позвать официанта. Вместо него один из посетителей, толстый, краспогубый, поднялся со своего места:

— Можно вас пригласить?

— Я не танцую.

¹ Вех — современный польский писатель-юморист.

— Может быть, к нам на рюмочку? Вы так одиноки...

— Я не пью. Оставьте меня в покое.

— О, извините, сейчас после войны женщины не так уж высокомерны.

Она отвернулась, закусив губы. Эти условия конспирации переносить было труднее всего. Тип постоял еще минуту, потом пошел, рассуждая вслух: она еще придет к нам на поклон, девиц сейчас хоть пруд пруди.

Наконец лысый тяжело поднялся со стула и направился в зал. Барбара быстро подошла к стойке. Клипа, подмигнув, приветствовала ее.

— Да, пани, жизнь штука нелегкая. Это приличные господа — коммерсанты.

— Пусть не лезут. Мне до них дела нет.

— Вас вежливо попросили, а вы уж и покраснели. Вы сюда на минуту зашли, а я здесь постоянно. И все время кто-нибудь пьяный пристаёт. Вы отлично устроились, а я... И все ради нашего дела.

Она даже глаза закатила, призывая кого-то с потолка в свидетели принесенной ею жертвы и своего патриотизма. «Смотри, Костюшко...» — хотела подсказать ей Барбара и тоже непроизвольно посмотрела на потолок. На нем были только амурчики, довольно худенькие, вполне современные. Клипа еще пару раз вздохнула.

— Ферла здесь? — спустила ее на землю Барбара.

— А сама заглянуть в зал не можешь? Здесь сидит, водку хлещет.

— Приведи его сюда, — посмотрела она решительно, и Клипа, ворча что-то под нос, побежала.

Ферла пришел смущенный. Он действительно немного выпил.

— По случаю демобилизации, — пытался он оправдаться, но произнесено это было слишком громко, и она вынуждена была на него прикрикнуть. — Это ерунда, — убеждал он ее. — Две рюмки. Встретил дружков из отряда...

Она вдруг вспомнила: Пика и Роман. Хотела спросить Ферлу об этом, но он нетерпеливо вертелся на стуле и сам заговорил:

— Знаешь, договоримся на завтра. Теперь... Может, ты к нам присоединишься?

— Это еще что! — Первый раз в ней пробудилось что-то новое: она командир, отвечает за других. И за этого

пенка тоже.— И вам не советую слишком засиживаться. Лучше отправляйтесь-ка домой.

Ферла с облегчением принял ее отказ, пробормотал какие-то оправдания: «...Мировые парни, еще полчасика...» Условились на завтра.

Он вернулся в зал и с порога посмотрел на нее, как провинившийся ребенок. Она встала, решила уйти не поужинав, подгоняемая насмешками «порядочных коммерсантов», которые на этот раз с схиццей комментировали ее короткий разговор с Ферлой. Она уже поднялась, но тут вошел повый посетитель.

Ее поразила перемена: внезапная тишина в баре, словно пахнуло холодом. Коммерсанты оборвали разговор на полуслове, только играл оркестр и продолжал гудеть второй зал. Она непроизвольно задержалась около стойки.

Молодой офицер, с одной звездочкой на погонах, неизменной челкой из-под конфедератки, расстегнутым воротом. Даже красивый, только с вызывающе сощуренными глазами. Руку он держал на пистолете, висящем у бедра.

— Берегись! — процедила сквозь зубы Клипа, улыбаясь офицеру своим хорошеньким личиком.

Офицер сделал шаг вперед и оперся о стойку.

— Ну как дела в частном секторе? Идут? Пускай идут, пользуйтесь, пока есть время. Потом вас всех...— Он смачно причмокнул языком и выразительно прищелкнул пальцами, после чего засмеялся вполне доброжелательно.

Барбара хотела проскользнуть между ним и столиком. Это привлекло его внимание. Он загородил ей дорогу:

— Куда торопишься, пигалица? Выпей со мной. Хозяйка, две больших. Ну пей, пей, душенька. Как тебя зовут?

— Извините, пан...

— Нечего извиняться. Пей, и все тут. Черт возьми, с немцами ты тут пила, а с земляком не хочешь?

— Оставьте ее в покое,— попыталась уговорить его Клипа.— Она не здешняя!

— Ну, ну! Уже ревнуешь! Ах эти бабы! — Офицер от удовольствия хлопнул ладонью по столу.— Я вижу, что нездешняя. Меня не знает. Со мной не пьет. Знаешь, кто я? Я поручик Курьянский.

Он замолчал, выжидая. Барбара от злости прикусила губы.

— Она не знает! — взорвался Курьянский. — Что за бабы теперь пошли. Э, да что с ней говорить. Лучше взяться за работу. Я тут сейчас заварю кашу, — сказал он, обращаясь к Клипе, — наверняка собрались у тебя разные там связные и... как их там?.. Что? По глазам вижу, притон здесь.

Только теперь Барбара осознала всю глубину опасности: Ферла с друзьями. А у нее в сумке инструкция. И зачем она пришла сюда с этим? Клипа подмигнула ей, указывая на зал, офицера и дверь, словно говоря: уведи его отсюда, ведь там... Барбара сжала губы, снова, как морская болезнь, подступила тошнота. Курьянский отвернулся от стойки. Несколько посетителей у стен зашевелились беспокойно, один неуклюже, с папуской развязностью встал и перешел в зал, где еще танцевали. Коммерсанты застыли: взор офицера задержался на них.

— О, точно... — начал Курьянский, — сейчас увидим... — И он направился к ним.

Барбара, подталкиваемая выразительной мимикой Клипы, схватила его за рукав. Он повернулся, посмотрел на девушку.

— Пан... поручик, — с трудом произнесла она это слово. — Вы со мной еще не выпили...

Это была спасительная идея. Курьянский увидел наполненные Клипой рюмки, разве могла его мужественная душа упустить такой случай.

— Правда! — закричал он. — Пьем. Дай бог не последнюю! — Он чокнулся, глотнул, кашлянул, прочищая горло. — Оказывается, ты не такая недотрога. Все вы девчонки одинаковы. Ты к ним — сопротивляются, плюешь — они за тобой бегут. Как тебя зовут?

— Магда. — Барбара попробовала улыбнуться.

— Ну так что, Магда? Пошли?

Клипа даже подскочила, столько силы вложила она в свой взгляд: иди, иди, шевелись, уведи его отсюда! Барбара опустила глаза. Он схватил ее под руку и почти силой потащил к двери. Выходя, она услышала, как в баре зашумели.

Он увлек ее, обхватив за талию. К счастью, он был в подпитии, поэтому в его решительных действиях не было последовательности. Она почувствовала на шее его

влажные, горячие губы. Потом она пыталась вырваться, сбрасывая его руки. От отвращения и бешенства у нее перехватило горло, ей хотелось выхватить у него пистолет, выстрелить... Барбара понимала, что ничего подобного она не сделает, не имеет права ставить под удар организацию, да еще эта инструкция в сумке.

Ее спасла простая мысль. Когда, взбешенный до предела ее сопротивлением, он прижал ее к стене, она почти закричала: «Подожди минутку, я сейчас, я должна отлучиться, понимаешь? Отлучиться...» Удивленный, он отпустил руки, она вырвалась и, все еще крича эти объяснения, вбежала в черную подворотню сгоревшего дома. Споткнулась об обломки, почти на четвереньках перелезла через груды кирпичей. Лихорадочно ища выхода, пролезла через окно флигеля, заметив на противоположной стене синее рваное отверстие от бомбы. С улицы донеслись его крики. Позже, когда она выбралась на соседнюю улицу, слышались выстрелы. Она даже усмехнулась, удавшийся побег придал ей сил.

Она подбежала к своему дому. Долго искала ключ, подгоняемая страхом, а что, если он преследует ее?.. Безгранично счастливая, на цыпочках прошла по коридору.

Комната дохнула ей в лицо спертый воздух, хотя окно было открыто. Она задела в темноте стул, слышался сонный низкий голос с другого топчана:

— Это ты, Черва? Почему так поздно? Ты ужинала? Там на окне хлеб...

— Мне не хочется есть, умыться бы...

— Воды снова нет. Я оставила тебе немного, в кружке.

Засыпая, она вспомнила Августина. Вначале промелькнуло: какой он умный. И не сразу сообразила, почему именно так в этот момент она подумала о нем. Потом нахлынули полумысли-полувидения: Августин прав. Курьянский — кто он? Взволнованная переживаниями, она даже приподнялась, найдя наконец логичную и прямую связь между этими двумя событиями... Курьянский хуже. Августин прав: операция «Z» неизбежна. Он прав, он прав, как обычно, как всегда. А она, девушка из хорошей семьи, ручки боится замарать. Надо бороться, иначе они подавят и уничтожат все. Он прав, дисциплина и верность, даже если сразу и не поймешь.

Барбара присела на край топчана, посмотрела в окно: развалины дома, несколько случайных звезд. Утром на Вильчью улицу она не пойдет. А ведь уходя оттуда, она все еще завешивала: не воспользоваться ли великодушием Августина. Теперь все кончено. Завтра инструкцию... С Ферлой определить первые контакты. Ее охватила усталость, она начала размышлять: а что, если первым для операции выбрать Курьянского?

Трефа снова очнулась и проворчала с упреком:

— Что случилось? Что ты делаешь?

— Ничего, мечтаю о манне небесной.

— К черту мечты! Влюбилась, что ли, наконец? Пришла поздно, наверное со свиданки? Ах эти девичьи мечты, они всегда одни и те же. Тебе бы замуж надо. Спи.

КАРАСЕВИЧ

Это произошло в конце лета 1945 года. Последняя волна репатриантов после весеннего наводка медленно откатывалась на восток. По древним путям, по каким обычно происходило переселение народов,— через Лужицкие Ворота, вдоль Судет и Карпат, долиной верхнего Одера, затем Вислы и Сана, к Подольским Воротам и севернее — прадolinaми Вислы и Одера — тянулись бесконечные караваны. Ехали армейские тачанки и крестьянские телеги, брички и автомобили. Верблюды из астраханских степей возвращались гордой поступью, волоча за собой кареты, привязанные дышлами к горбам, лошади тянули грузовики, волю — разбитые лимузины. Люди с землистыми от немецкого воздуха лицами шли, ехали, спешили. Вечерами над шоссе остывала, оседая, раскаленная пыль, пряный дым костров стлался по садам, скрипели колодезные журавли, замшелые бадейки вычерпывали остатки воды с взбаламученным донным илом и песком. На одну ночь у перекрестка возникал городок на колесах с десятью — двенадцатью тысячами жителей: люди ели, пили, курили что придется, а с рассветом, устало зевая и почесывая взлохмаченные головы, двигались дальше на восток.

Медленно обнажалась земля из-под военного потопа. В нижнесилезских и западнопоморских городках бесчинствовали мародеры. Доморощенные бургомистры, неспособные восстановить трамвайное движение, предавались утопическим мечтаниям. Армия трудилась в поле, жала хлеб, убирала проволочные заграждения, выкапывала свекловицу и мины. Всякого покроя бандиты таились по

вечерам у дорог. В Силезии полуголодные шахтеры выдавали на-гора третий послевоенный миллион тонн угля. Как при сотворении мира, было еще не ясно, что возникнет, куда повернется, какая из унаследованных от прошлого черт перетянется. Различные враждующие между собой силы тянули возникавшую твердь земную каждая в свою сторону. Где-то были какие-то руководящие мозговые центры. Взаимоисключающие идеи и лозунги падали, словно зерна, на шестилетнюю залежь рабочих поселков и деревень, пускали ростки, однако еще никто не знал, что взойдет, сколько жита, сколько сорняков.

Деревья в варшавских парках робко расправляли ветви, словно еще опасаясь, что новый удар грома расщепит им хребет, но первые послевоенные победы уже начинали крепнуть, зарождались будущие почки, торопясь заполнить клочок залитого солнцем пространства, отнятый у них год назад. Лозы дикого винограда заплетали обугленные глазницы окон. В пустыне гетто ветры, дожди, мороз и жара успели уже за два года превратить кое-где мертвый щебень в плодоносную почву, одуванчики и жабник цвели на склонах холмов. Бледные ребятишки из соседних подвалов Старого Места искали среди развалин трухлявую щепу — растопку для печурок, на которых варят кашу из горстки крупы или полдюжины картофеля.

В трех районах, отделенных друг от друга несколькими километрами пустыни, — на Праге, Мокотове и Жолибоже — люди учились ходить и мыслить. Родившиеся год назад всевозможные министерства и ведомства в целом уже завершили период младенческого хождения на четвереньках, пробовали подняться во весь рост и сделать шаг-другой вперед, размахивая для равновесия пухлыми ручонками. У некоторых уже прорезались первые зубки.

Кшыштоф Болеслав Карасевич состоял в числе сотрудников министерства общих вопросов. Это был молодой человек лет под тридцать, приятной внешности, худощавый и рослый, с большими выразительными голубы-

ми глазами, нервным ртом, несколько вздернутым носиком и очаровательной ямочкой на выдающемся вперед подбородке. Карасевич до войны не только получил аттестат зрелости, но успел еще год или два поучиться в университете, разумеется на юридическом факультете. Столь солидная подготовка в сочетании с врожденной способностью завязывать необходимые знакомства и завоевывать симпатию, с умением поправиться начальству и некоторым светским лоском говорили за то, что Карасевич может довольно быстро и без особых затруднений сделать головокружительную карьеру. Добавим еще успех у женщин, сравнительную материальную обеспеченность и завидное здоровье. Но Карасевич не был счастлив. Его терзали идейные соображения.

Так он называл их в разговоре с близкими друзьями или размышляя наедине. Однако при более пристальном рассмотрении оказывалось, что дело тут в целом ряде довольно разнообразных проблем.

Прежде всего он слишком быстро получил высокий пост. Его приняли на работу на должность начальника отдела планирования в общедминистративном департаменте. Людям, которым продвижение по служебной лестнице доставляет некоторое моральное удовлетворение, куда важнее сам этот процесс, чем немедленное достижение цели. Отец Карасевича достиг положения начальника отдела в министерстве финансов после того, как тридцать лет прокорпел в чиновниках девятого и восьмого разряда. Зато выдвижение на пост начальника прославило его и все семейство. Сам Кшыштоф Карасевич явственно ощутил, как это повлияло даже на членов экзаменационной комиссии, когда он сдавал на аттестат зрелости. Зато теперь, когда ему сразу же предложили пост начальника отдела, он не столько проникся уважением к самому себе, сколько потерял уважение к этой должности.

Далее, немаловажную роль играли сомнения общеинтеллектуального порядка. Как и всякий поляк из среднеобеспеченной семьи, Карасевич был воспитан в полуосознанном убеждении, что подлинный блеск сынам его страны придает лишь соприкосновение с заграницей, Западом — пусть даже самое мимолетное. Подобно правоверному мусульманину, который питает уважение к своему побратиму, посетившему Мекку, и наделяет его осо-

бым званием, Карасевич склонял голову и заискивал перед теми, кого облагораживал хотя бы мимоletный, но личный контакт с «европейской культурой». За отсутствием европейцев он переносил свой культ на тех, кто общался с людьми, побывавшими на Западе. За неимением лучшего довольствовался и такими, кто слышал о тех, что там побывали. Этих, впрочем, было больше всего.

В этом узком, варившемся в собственном соку мирке определялись взгляды и оценки Карасевича. Процесс этот проходил довольно просто, по определенной математически точной схеме. Допустим, европеец третьей категории сказал: А лучше, чем Б. Карасевич принимал это мнение как непреложную истину и придерживался его до тех пор, пока какой-нибудь европеец второй категории не высказывал совершенно противоположное. И так далее. Таким образом возникали особые мнения, имеющие хождение в среде европейцев всевозможных категорий.

Чем ниже падал официальный курс Запада, тем ожесточеннее взвинчивала курс той или иной «европейской» ценности идеологическая черная брижа, обосновавшаяся в кафе артистического пошиба. В тот период Франция не котиновалась, ее защищали только престарелые поклонники «Мулен Руж» и «Шабане», а Великобритания все еще находилась на вершине славы и могущества. Правда, несколько европейцев первой категории, прибывших именно оттуда, под всеобщий ропот ниспровергали миф о британском льве и утверждали, что самыми подлинными европейцами являются американцы.

Но европейцы всех категорий, а также поклонники «Шабане» и приверженцы американцев сходились на одном: нынешняя Польша — это не Европа. Как же Карасевич мог быть счастлив?

Казалось, он должен был понять, насколько глубок разрыв между его вполне сложившимися идеалами и утверждающейся явно неевропейской действительностью, чтобы в меру сил подрывать и ниспровергать последнюю. Карасевич, пожалуй, и делал что мог: в дамском обществе рассказывал анекдоты о свежееиспеченных сановниках; перед солидными европейцами провозглашал патриотические тирады, давая волю красноречию; в ненадежных компаниях предусмотрительно ограничивался вздохами;

в департаменте проявлял лишь столько аккуратности, рвения и инициативы, чтобы в ближайшие пять минут не быть вышвырнутым вон. Но внутренние противоречия — дело не простое, и человеку души впечатлительной, мягкого сердца и тонкого ума трудно их распутать и решиться со всею силой своей страсти ринуться в ту или иную сторону.

Ибо разум ехидно подсказывал Карасевичу, что перед ним открывается гораздо больше возможностей, чем допускала его европейская совесть. Но, кроме многих более или менее радужных перспектив, была одна мрачная: а вдруг «это» удержится? Разве целесообразно — не сего личной точки зрения (что значит он, мелкая сошка, в величайшем конфликте между Европой и Азией!), но именно в интересах Европы, — целесообразно ли оставить последний форпост, бросить в бой последний резерв? Допустим на минуту, что «это» удержалось. Не лучше ли будет, если за оди́н из винтиков, довольно существенный, зацепится настоящий европеец, чтобы спасти для потомков то, что еще возможно? И чем значительнее винтик окажется у него в руках, тем больше он сохранит ценностей. Следовательно, ему надо стремиться все выше, проявлять свои способности, работать якобы против Европы, чтобы позднее... Такова неблагодарная, но неотвратимая миссия, которую возложила на него сама история: прослыть продажным карьеристом для...

А с другой стороны — вдруг «это» развалится, и вдобавок скоро? Да, тяжелая эпоха досталась нам в удел. Как сочетать расшатывание основ со стремлением к власти, к упрочению влияния, завоеванию доверия?

В моменты такого душевного разброда откуда-то изнутри, из самых глубин его естества всплывали совсем иные, прозаические эмоции. Он мечтал о том, как исчезнут все великие проблемы, все Европы и Азии, а останется только повседневная канцелярская работа с ее не лишенным спортивного ажиотажа соперничеством талантов и везений, и он, Карасевич, опередив всех и самого директора департамента Грабовского, приземлится на еще не утратившем притягательности министерском кресле. В такие минуты он бы охотно избавился от необходимости вынужденного глумления над своими обязанностями и с наслаждением набросился бы на работу, чтобы пока-

зять, на что способен. Карасевич даже самому себе не признавался, чего ему не хватало: возможно, толчка извне, со стороны столпов режима, — хотя бы пальцем поманили. Он с ужасом предчувствовал, что это движение, пожалуй, могло бы произвести в нем настоящий переворот. После таких приступов малодушия Карасевич еще ожесточеннее высмеивал «это» в кафе Липца, последнем осколке Европы, уцелевшем среди всеобщего разгрома.

2

В тот день Карасевича потрясли два важных события. Его вызвал к себе Грабовский; с директором другого департамента, Шнайдером, он встретился у Липца.

Грабовский был молодой, примерно одних лет с Карасевичем, представительный блондин с грубыми чертами лица и манерами. Он любил обгрызать ногти и носил модные летние костюмы. Директор был ярым сторонником режима, одним из немногих в Министерстве общих вопросов, отданном во имя национального единства на откуп Миколайчику. Карасевича он встретил холодно:

— Послушайте, когда наконец будет готов план реорганизации административного аппарата второй инстанции? Вы получили указание в конце прошлого месяца, верно?

— Пан директор...

— Так или нет? И до сих пор никаких результатов? Интересно, как бы поступили с чиновником вроде вас в добрые старые времена санации? Как полагаете: вlepили бы выговор или выгнали? Попизили в должности? А? Что-то вы молчите. Конечно, легче рассказывать антигосударственные анекдоты, чем выполнять поручения начальника.

Карасевич похолодел. Он знал, что его не причисляют к «энтузиастам», но не предполагал, что у руководства о нем сложилось столь определенное — да еще какое! — мнение. Возражать, декларировать верность? На всякий случай, он решил промолчать, обещал через пять дней представить план и выскользнул из кабинета.

И, только усевшись за свой стол, Карасевич принялся раскидывать умом и вспоминать. На очередном еженедельном совещании Грабовский явно обошел его, не упомянул,

не удостоил взглядом. Випярская, ведавшая отделом кадров, даже не посоветовалась с ним, повышая в должности его же собственную секретаршу Клавдию. Не приглашали на совещание с представителями госконтроля. Ясно — не доверяют.

Это открытие расстроило Карасевича больше, чем можно было предполагать, зная его отношение к миру и Польше. Одно дело, когда не хочешь иметь детей, другое — когда не можешь. Он почувствовал себя вдруг моральным калеккой. Как же так? Значит, хоть разбейся — Грабовского не перепрыгнешь. Стало быть, вот она какая, их хваленая народная демократия! Одному все, другому ничего!

Как ни странно, но в его думах и побуждениях не было и тени мстительности. Напротив, он вознамерился доказать Грабовскому и его присным, что они не правы, отказывая в доверии ему, Карасевичу. Он немедленно взялся за работу. Вытащил из ящика несчастный план реорганизации, стер рукавом пыль, уселся, стиснул обеими руками голову, напряг все свои умственные способности.

Дело не клеилось. Без конца вспоминался короткий разговор с Грабовским. Сквозь общие формулировки проекта упрямо пробивались те три недавних происшествия. Нет, не доверяют. Более того, вероятно, подозревают бог весть в чем. Может, уже и госбезопасность...

Карасевич не выдержал. Выбрал наугад несколько сомнительных вопросов и вторично отправился на прием к директору департамента. Надо проверить — возможно, ему только показалось? Или Грабовский был не в духе? А как же с Випярской? Ерунда, достаточно пачать распаркиваться, такая свинью не подложит.

Возле кабинета Грабовского пришлось дожидаться сорок пять минут. Люди входили и выходили, стучась и без стука. Состоялось несколько летучих совещаний в дверях (Грабовский, как известно, умел мгновенно принимать решения), и если такая «летучка» затягивалась, то, скорее, из-за сложного церемониала встреч и прощаний: что слышно, как здоровье, что нового, бывай, привет, звони, куда едешь в воскресенье, как жена?

Наконец Грабовский кивнул ему. Не предлагая сесть, спросил, сделав полшага от двери:

- Ну, что вы там еще придумали?
- Пан директор, я в связи с планом...
- Так что же? В чем дело?

— Я не знаю, у всех ли ведомств, не имеющих самостоятельного значения, должны быть отделы или некоторые обойдутся только референтурой?

— У всех.

— Культура и искусство тоже?

Грабовский молниеносно обгрыз ноготь.

— Тоже.

— Но, пан директор...

— Никаких по...

— А лесхозы?

— Лесхозы тоже.

Карасевич с ужасом заметил, что уже израсходовал все свои боеприпасы, но так и не сумел прозондировать почву. Тайна отношения директора к нему, Карасевичу, осталась неразгаданной. Грабовский педвусмысленно надвигался на него, оттесняя к дверям. В отчаянии, не раздумывая, Карасевич выпалил:

— Вас неправильно информировали...

— Что? Насчет лесхозов? Это уж...

— Нет, нет, нет. Как можно! Относительно анекдотов...

— Анекдотов? Вы больны!

— Якобы я рассказываю... антигосударственные...

— А вы не рассказываете? Любопытно. Все рассказывают, а вы нет! Знаете, это подозрительно. Надо разобраться.

— Но даю слово... я всегда лояльно...

— Ну, ладно, ладно. Что за времена! Даже пошутить нельзя.

— Ведь мне стало так больно...

— Больно? Здесь? — Грабовский похлопал его по животу. — Или здесь? — похлопал по лбу. — От этого помогает опиум, а от этого аспирин. Прощайте. — Он подтолкнул Карасевича к дверям и уже вслед крикнул: — Вообще меньше думайте, а больше работайте. Будьте здоровы, привет.

С заученной улыбкой на устах, кланяясь и изгибаясь, Карасевич ретировался в коридор. Секретарша, панна Япка, «закулиспая воротила закулисного воротилы», тоже улыбнулась ему и даже помахала ручкой. Он вернулся к себе ликующий: ни в чем его не подозревают, иначе директор не стал бы с ним так шутить. Особенно убедительно

подействовало похлопыванье по животу. Неблагонадежных не похлопывают с такой фамильярностью. В крайнем случае как-нибудь банально, по плечу. Чтобы усыпить бдительность.

Это наблюдение вспомнилось ему через два часа, после обеда, который оказался хуже обычного. Дожевывая какую-то ботву, выловленную из компота, мрачный, как пристало впечатлительному мужчине, отведавшему скверной пищи, он вдруг вспомнил: усыпить бдительность.

Как он мог не заметить этого раньше? Разумеется, чтобы усыпить его бдительность. Если ему говорят прямо: антигосударственные анекдоты... Видно, у Грабовского это певзначай сорвалось с языка, потому-то он и старался позднее всячески замять свой промах. А сам Карасевич проболтался, выдал себя тем, что обратил внимание на его слова. Вел себя как дурак. Не падо было подавать виду, что он знает об их подозрениях. Теперь они будут действовать тоньше, лицемернее, чтобы накрыть его наверняка. Если бы речь шла о какой-нибудь машинистке... Но ведь он, Карасевич, человек образованный, интеллигентный, с положением. Такой не станет рассказывать анекдоты шутки ради. А если он все же их рассказывает, значит, преследует какую-то цель. Только так они и могут расценивать его поведение.

В какой-то момент ему захотелось пойти и откровенно, без обиняков... Действительно, несколько раз это случилось, но именно ради шутки. Он знает, что это звучит неубедительно, если учесть его данные, но ведь так оно и было. Чего только не бывает с человеком. Пусть ему поверят. В кредит. Пусть предоставят кратковременный кредит доверия.

Однако победил рассудок. К кому пойдешь? К Грабовскому? Третий раз за день — это уж и в самом деле покажется подозрительным. Впрочем, с людьми типа Грабовского лучше не откровенничать. Прервет на полуслове, подымет на смех. К Винярской? Та его не знает. Сразу начать с исповеди? Кроме того, она глупа. И вдобавок не слишком разборчива. Пойти на разговор — значит обнаружить, будто он понимает, что они догадываются о его подозрениях, вызванных их недоверием. Черт побери, это настоящий лабиринт. Ему не доверяют. Это скверно, но, если никто не знает, что он в курсе дела, можно работой и пове-

дением доказать всю неосновательность подобной точки зрения. Однако если известно, что он знает об их недоверии, то тогда все его старания будут истолкованы как попытка замаскироваться. Это вторая стадия недоверия, более серьезная. И не ясно, как тут выкручиваться. Методы лечения болезни в этой стадии еще не разработаны.

3

В тяжелом настроении побрел он к Липцу. Все в этом кафе было как бы рассчитано на то, чтобы отравить существование посетителям. Свободных столиков никогда не было, стулья приходилось передавать через головы сидящих, одновременно наступая им на ноги. Официантки грубили и заставляли себя ждать, как директора департаментов. Едкий запах дыма отечественных сигарет и дешевых духов, расточаемый несколькими десятками болтливых дамочек, создавали именно ту артистическую атмосферу, которая столь неотвратимо влекла к Липцу всех варшавских европейцев.

На этот раз Карасевичу улыбнулось счастье: в уголке за вешалкой он увидел свободный столик. Всего через четверть часа к нему протиснулась недовольная официантка. Он заказал, разумеется, чашечку черного кофе. Карасевич не выносил этого напитка. Однако он настолько прошел «европейскую школу, что мог, не зажмурясь, выпить целую чашку кофе без сахара. При этом он утверждал, что после кофе не может спать. Это было невинное преувеличение. Кофе на него не действовал ни так, ни этак. Просто был противным.

Мишло еще полчаса, и появился кофе. И тут же из расщелины у вешалки с трудом выбралась массивная дева со вздернутым носиком и какими-то нестрыми глазами. Это была экс-секретарша Карасевича Клавдия, прозванная по причине необъятных форм Колодой; эту-то «колоду» у него вероломно забрали для какого-то нового директора департамента. Следом шустро проскользнул седоватый и лысоватый господин с галстуком-бабочкой, в очках и с рыжеватыми усиками типа «зубная щетка». Да это Шнайдер!

Клавдия и Шнайдер беспомощно оглядывались по сторонам. Карасевича осенило. Он вскочил, замахал ру-

ками. Клавдия, заметив его, воскликнула скрипучим голосом:

— Это мой прежний шеф...

Они подсели к столу.

Шнайдер был стопроцентным европейцем, лучшего, английского издания. Он недавно вернулся из Англии, ослепляя всех лоском, приобретенным за пять лет пребывания в Лондоне. Уже на месте, в Варшаве, выяснилось, что Шнайдер — старый, почти профессиональный деятель крестьянского движения. Отсюда и пост директора департамента в министерстве общих вопросов. Ходили легенды о его благовоспитании, эрудиции, обаянии. Карасевич давно лелеял мечту о встрече с ним: и лестно и полезно. Ведь интересно знать, что готовит нам в нынешнем сезоне история?

— Я вам столько рассказывала о нем, Мечик, — прокричала Клавдия, глазами и носиком показывая на Карасевича. — Он такой милый.

— Да, да, моя дорогая, помню. — Шнайдер погладил ее по щеке. — Знаете, — обратился он к Карасевичу, — это такой милый ребенок. С ней чувствуешь себя совсем по-домашнему после рафинированного Запада. Это так освежает. Как теплое парное молоко после шампанского.

— Это вы только говорите. А на самом деле предпочли бы шампанское.

— В моем возрасте, дорогая, не до шампанского. — Он снова ее погладил, на этот раз по руке, которой она подпирала подбородок. — Поверьте, только наши польки по-настоящему жепственны.

— Но, скажем... — Карасевич откашлялся. — Например, парижанки...

— Миф, который необходимо развеять. Они расчетливы. Холодны. Ни грана страсти. Я уже не говорю о немках. Для них так называемая любовь даже не физиологическое отправление, а нечто несущественное, безразличное, все равно что уборка комнаты. Уж скорее англичанки... Но и они не то. Зато наши польки несравненны! — Шнайдер улыбнулся, сложил губы сердечком, провел пальцами по нарочито взбитой прическе своей спутницы. — И вообще нет ничего лучше родного дома. Например, у нас в министерстве...

Карасевич, не понимая, к чему он клонит, заерзал на стуле. В его словах была какая-то несуславица. Шнайдер обхаживает Клавдию, это ясно. Но при чем тут министерство? Может, она запутала, рассказывая ему о нем, Карасевиче? Изобразила его сторонником народной власти? А может, это тайный коммунист?

— Мы, поляки,— продолжал Шнайдер,— увлекаемся самоуничижением. Чужое хвалите, своего не знаете — истинно польская поговорка. В этом смысле последняя война оказалась чрезвычайно поучительной. Сотни тысяч поляков повидали Европу. И что?..

— И не хотят возвращаться, так им понравилось! — вмешалась Клавдия.

— Э, дитя мое! Вернутся, вернутся! Увидят, что тех, кто вернулся, не высылают в Сибирь, а, совсем напротив, делают директорами департаментов... Вы не представляете, какой мукой были для меня эти пять лет, проведенные в Лондоне. Налеты, бомбежки. Питание — одно яйцо в неделю. Ужас!

— Но мы тоже...

— Знаю, все знаю. Я восхищен непреклонностью родной страны. Что мы по сравнению с вами, героями битв под Ленино и Берлином?

— Но я все время был в Польше...

— Тем более. Армия Людова, знаю, знаю...

Карасевич взглянул на Клавдию, Клавдия на Карасевича, Шнайдер продолжал:

— И теперь, когда я убедился собственными глазами в небывалых достижениях строя... В течение года, при таких разрушениях! У нас, например, в МОВ... Молодые силы. Извините, директор, сколько вам лет?

— Двадцать семь. Но я не...

— Двадцать семь лет — и уже директор департамента!

Клавдия фыркнула и схватила его за руку:

— Вы перепутали, Мечик. Это вовсе не Грабовский.

— Позвольте? — Шнайдер снял очки. — Вы мне ясно сказали: мой прежний шеф.

— Верно, начальник отдела. Пан Карасевич. С ним можно в открытую. Хи-хи-хи! А вы думали, что Грабовский? Хи-хи-хи! Ну и дали же маху. Хи-хи-хи-хи-хи! Грабовский у Липца! Ха-ха-ха!

Она дребезжала минуты три, откидывая голову назад и

прижимая руки к колыхавшемуся бюсту. Шпайдер сразу же скис, брезгливо надул губы и принялся за кофе. Клавдия еще раз взвизгнула, вскочила со стула, крикнула: «Ми-путочку!» — и стремительно исчезла где-то в глубине зала за огромным никелированным агрегатом для варки кофе, смахивающим на дезкамеру. Карасевич, который до сих пор тактично помалкивал, позволил себе сделать краткое замечание относительно манер теперешней молодежи.

— Вы правы, — Шнайдер кивнул головой. — Я понимаю, украденное детство да пять лет оккупационного бесправия. Она весьма порядочна, но не чувствует нюансов. Я разрешил ей звать меня по имени. Как подлинный демократ, я люблю, знаете ли, чтобы у шефа с ближайшими подчиненными устанавливались дружеские отношения. Но на людях! Я еще понимаю — пан Мечислав. Но Мечик? Вы можете бог знает что о нас подумать.

— С какой стати, пан директор!

— И потом это хихиканье. Боже мой, сколько нам еще надо учиться...

— У Запада...

Шнайдер снисходительно улыбнулся.

— Или у Севера. Швеция — высококультурная страна... Я, знаете ли, старый демократ, но, как вижу, шведская монархия или английская, ей-богу, гораздо демократичнее многих республик...

— Особенно народных.

Шнайдер пропустил мимо ушей эту реплику. Вперив взгляд в потолок, он молвил:

— Взять английского короля. Всем одно лйцо, ему — тоже. На приемах во дворце требуют талоны на хлеб, масло, мясо. В самом деле.

— А у нас, — подхватил ему в тон Карасевич, — говорится «демократия», а директор департамента разъезжает на автомобиле, надо или не надо...

Шнайдер искоса взглянул на него, и Карасевич прикусил язык. Затем перешел на более общие темы: земельная реформа в принципе неплоха, но, боже, чего стоит ее неумелое осуществление. Теперь говорят о промышленности. О пропаганде. Госбезопасности. При этом Карасевич понизил голос и выразительно огляделся по сторонам.

— И вообще зачем вы, пан директор, вернулись сюда? Здесь каждый мечтает о заграпице...

— Видите ли, Карасевич,— начал несколько профессорским тоном Шнайдер,— мы, поляки, неизлечимые романтики. Мы не можем не сражаться! Именно там, где трудно и опасно. Думаете, я приехал потому, что меня уволили в «Рубенсе»? Да, уволили. Но если бы я пожелал, то немедленно... хотя бы в армию. У меня есть друг, в штабе Капанского. Но я не хотел. Долг прежде всего. Мы должны, обязаны быть с народом. Кроме того, уже недолго осталось ждать.

Карасевич наклонился к нему.

— Вы думаете? Скажите. Мы здесь как во тьме кромешной...

— Дорогой мой, чтобы оценивать ситуацию, достаточно читать газеты. Вы слыхали о таком городе — Хиросима?

— Разумеется.

— Так чего же вы еще хотите? Если бы я заранее знал о ней, то подождал бы три или четыре месяца. Я даже слегка в претензии на американцев. Они могли бы нас как-нибудь предупредить.

— Вы полагаете, что так быстро?

— Молодой человек! — Шнайдер покачал головой, и Карасевич умолк, просветленный.

Наконец вернулась Клавдия. Начался светский разговор. Анекдоты о табачной монополии и госбезопасности — о том, как из липы делают сигареты «Свобода», а из свободы — липу. На эту же тему — о немом возле киоска, с присовокуплением недвусмысленных жестов. И о том, что останется от слова POLSKA — Польша, если вычеркнуть буквы АК и PSL¹.

Последний анекдот вызвал у Шнайдера прилив энтузиазма.

— Это, дорогуша, пахнет национальной метафизикой.

Анекдоты разрядили атмосферу. Шнайдер снова поглаживал первыми пальцами то щечку, то локоть Клавдии. Карасевич не переставал восторгаться в душе: четыре месяца! Клавдия заливалась дребезжащим смехом после каж-

¹ АК — Армия Крайова; PSL (Польское стронництво людове) — буржуазно-кулацкая партия, созданная группой Миколайчика в 1945 году.

дого ядовитого замечания Карасевича, особенно на местные темы — о Грабовском и Вишарской.

Наконец Шнайдер взглянул на часы:

— Пресвятая дева, уже шесть. Я условился с премьером, до свиданья, дорогой мой, до свиданья! Вас подвезти, Клавдия? У меня машина.

— Сию минуту, Мечик. Только скажу два слова начальнику.

Шнайдер удалился, снова как будто надутый. Клавдия наклонилась к Карасевичу, почти зашептала:

— Вот не знала, что вы такой боевой! В министерстве я думала — заодно с коммунистами. Вы были всегда такой требовательный!

— Дорогая Клавдия... — Карасевич не нашел лучшего ответа.

— Загляните ко мне. У меня иногда собираются мировые ребята. Познакомлю. Идет? Завтра в восемь. Будет дискуссия.

— Не знаю, смогу ли. Постараюсь.

— Ну, только без уверток. Этого не люблю. Адрес знаете? Пока!

Карасевич вышел за ней. Шнайдер, в нетерпении дожидавшийся у автомобиля, погрозил ему пальцем: попробуй только отбить! Шофер хоть и неохотно, но все же выскочил из машины, чтобы захлопнуть дверцу.

4

Карасевич шел домой, машинально сторонясь машин, глазел на руины. На некоторое время внешние впечатления завладели его сознанием: «Ну и набит же этот грузовик, человек пятьдесят набрал, тыщонки две сорвет одним заходом... Эта стена не устоит при первом же порыве ветра, перейдем на другую сторону...» Но он не переходил — сила воли! — лишь слегка прибавлял лагу и с облегчением выбирался на безопасное место. И вдруг вспомнилось: четыре месяца!

Ночью он несколько раз просыпался с каким-то неясным ощущением радости. Магические четыре месяца возникали внезапно, отгоняя светло-кремовый костюм Грабовского, мясистые жепские колени, осточертевшие горы проектов и прочий не осмысленный во сне вздор его

буден. Утром он напевал: «Не так уж плохо в армии служить...»

Он сел за стол, по привычке достал проект и тут же отложил его. Пришло время обдумать наболевший вопрос. Четыре месяца — это значит примерно на рождество. Шнайдер знает, что говорит, недаром пять лет пробыл в Англии! Сам Миколайчик с ним уславливается о встрече. Словом, совершенно точно. Какое облегчение! Оставалось всего четыре месяца терпеть недоверие этих Грабовских и Винярских, проекты, скверные обеды...

Но следует ли идти на это собрание? Такая перспектива ему не улыбалась. Никчемное мальчишество. Еще кто-нибудь выдаст. К чему все это, если через четыре месяца все решит одна атомная бомбочка? Необходимо во имя будущего беречь кадры руководящей интеллигенции. Собственно, до сих пор, как и всю войну, он только и делал, что героически претворял в жизнь этот принцип. К черту фальшивую амбицию, оп так и заявит Клавдии: весьма сожалею, но мне некогда.

Однако на Клавдию эта декларация не подействовала:

— Вы говорите глупости.

— Честное слово, не могу...

Клавдия взглянула на него с иронией:

— В кафе-то вы настоящий герой.

— Не герой, а лишь трезво мыслящий человек.

— Но вы все-таки придете!

— Дорогая моя, что за тон?

— Тон как тон. Другого вы не заслуживаете. И вообще, раз уж вы знаете время и адрес, то, конечно, обязаны прийти. Вы что, в подполье не были? Чего младенцем прикидываетесь?

— Но ведь я не просил этого адреса. Вы сами...

— Сама, не сама... Все убито. И учтите, если не явитесь, а потом что стрясется, то уж тогда с вами, конечно, потолкует кое-кто другой. Ясно?

Карасевич не смог притвориться, будто не понимает.

— ...а с ним объясняться не очень приятно. Точка.

Она вышла, не простившись, хлопнула дверью. Карасевич брезгливо отер губы. И снова принялся размышлять.

Теперь его испытанный друг, разум, заработал в новом направлении, которое столь грубо навязало ему «милое дитя» Шнайдера. «Кое-кто другой». Уже запугивают. Что за судьба, черт побери! Одни не доверяют, другие принуждают. Насилие? Нет, этим с ним, Карасевичем, ничего не добьешься. Свободный человеческий разум не боится грубой физической силы. Напротив, он подчиняет ее себе и использует для тяжелой повседневной работы. Вот если бы его убедили — это другое дело. А впрочем, осталось всего четыре месяца!

И вот уже не розовым, а ослепительно-белым светом вспыхнула догадка: «Четыре месяца, а потом...» Ведь «потом» настанет время имепно этих Клавдий и «кое-кого другого». С ними будут считаться, они полезут на директорские и министерские кресла. Какая-то Клавдия готова им командовать! И то сказать, ведь его деятельность во время войны ограничивалась в основном охраной того безусловно ценного национального достояния, каковым был он сам, Карасевич.

Он сказал себе это с издевкой, цинично. Порой хорошо взглянуть прямо в глаза действительности, чтобы приять решение, достойное мужчины: надо идти.

Карасевич немного побаивался этой новой встречи с Клавдией и ее комментариев типа: пришла кобыла в стойло. К счастью, Клавдия была слишком занята. Она отворила ему дверь:

— А, это вы! Прекрасно! — и куда-то помчалась.

Квартира была темная, словно прокоптилась во время прошлогоднего пожара. Плюшевая мебель паверняка помпила времепя «до первой мировой». Несколько фотографий в рамочках, выпиленных из фанеры, также увековечивали ту отдалепную эпоху. Обивка запылилась и выцвела. За подслеповатыми окошками вечерний сумрак тщетно драпировал искалеченные останки домов на другой стороне улицы.

По комнате слонялось несколько хонцов, длинноволосых, в мешковатых пиджаках до колен, с усиками и подчеркнуто пезависимыми манерами. На продавленном диване сидели пожилая дама и девица. У окна маячила какая-то фигура с брюшком.

Клавдия подбежала к Карасевичу, заскрипела на уxo:

— Я не представляю вас, сами понимаете. Но он

здесь! — добавила она с угрозой: попробуй, мол, снова заартачиться.

Карасевич подозрительно покосился на толстяка — единственный солидный человек. Побродив немного, он уселся посреди комнаты, но потом раздумал: зачем мозолить глаза? Черт знает, кто эти люди. Перебрался в угол, к печке.

На столике зажгли лампу под розовым абажуром. От этого лица сделались одухотворенными и расплывчатыми. Заскрипели стулья. Смазливый зеленоглазый брונет открыл дискуссию, заявив, что цель сегодняшней встречи — определить роль Польши в Европе после третьей мировой войны.

— Кто-нибудь может подумать, — продолжал он, — что мы-де занимаемся утопиями, поскольку еще и вторая мировая война не совсем закончилась. Но история учит нас, что заглядывать в будущее никогда не рано. Тем более что: а) от определения роли Польши в организованной по новому плану Европе зависит разработка нашей внутренней программы; б) в связи с невиданным техническим прогрессом, который венчает атомная бомба, события будут развиваться в таком темпе, какой пиному и не снился...

«Четыре месяца!» Карасевичу хотелось кричать от восторга. «Что я говорил? Совпадает!» Он с благодарностью посмотрел на Клавдию — если бы не она, ему не довелось бы уже под новый год в графе «участие в подпольных организациях» написать... Тут он прервал свои размышления — черт побери, под какими лозунгами проводится нынешнее собрание? АК? НСЗ? Решил деликатно выведать у Клавдии позднее. Сейчас надо слушать.

— ...в новой ситуации, — продолжал зеленоглазый, — нам необходимо обрести равновесие в людских ресурсах и экономике, чтобы воздвигнуть надежный барьер, отгораживающий Россию от Германии. Согласно подсчетам видных польских теоретиков из Лондона, мы должны сформировать блок государств, расположенных в зоне Черного, Средиземного и Балтийского морей с населением от ста пятидесяти до двухсот миллионов...

— Да, да! — крикнул стоявший у дверей тощий юнец. — Слыхали. Это знаменитая «теория междуморья»...

— Дело создания этого блока продвигается вперед.

Правительство Речи Посполитой проводит интенсивные переговоры с королевским правительством Югославии...

— Извини, Александр,— машинально поднял два пальца какой-то невысокий бледный юноша.— Хотелось бы проверить подсчеты. Я доверяю только цифрам...

— В этом блоке,— Александр надменно улыбнулся,— Польша, естественно, будет играть руководящую роль, как наиболее могущественный бастион...

— Тридцать миллионов,— перебил его бледный.— Или немного меньше. Что далее?

— Чехословакия — восемнадцать.

— Сорок восемь. Далее?

— Югославия — восемнадцать.

— Шестьдесят шесть.

— Румыния пятнадцать.

— Восемьдесят один.

— Венгрия! — Александр замедлил темп, глаза его забегали, словно он искал поддержки у присутствующих.— Венгрия сколько? Десять?

— Семь,— неуверенно подсказал кто-то.

— Восемьдесят восемь.— Бледный был неумолим.

— Болгария! — с видом этакого Колумба радостно крикнула девица.

— Семь. Десятью пять.

— Греция...

— Тоже семь. Сто два.

Наступило минутное молчание. Потом зеленоглазым вновь овладела страсть первооткрывателя:

— Эх, шляпы, Литва, Латвия, Эстония. Десять миллионов!

— Самое большое — шесть. Сто восемь.

— Финляндия...

— Сто двенадцать. Далее?

Далее собравшиеся разделились на четыре лагеря. Сторонники скандинавской ориентации пытались присоединить Швецию, Норвегию и Данию. «Исландия!» — воскликнул зеленоглазый, но бледный моментально его срезал: подумаешь, несколько десятков тысяч! Сторонники ближневосточной ориентации подчеркивали роль Турции и ее арабского тыла, включая Египет: это дает выход к Индийскому океану. Суэц! Сторонники «прометеевской» ориентации выдвигали Украину, Белоруссию и кавказские пароды, Баку!

Сам докладчик был, пожалуй, склонен ограничиться уже достигнутым лимитом: сто двенадцать миллионов. Мимоходом все согласились на включение Австрии и Албании. Однако это не удовлетворило бледного.

— С Австрией и Албанией сто двадцать. Что далее?

Девиза внесла компромиссное предложение — объединить скандинавскую ориентацию с ближневосточной. Ее призыв к единству не остался без откликов. Туманное возражение бледного, что арабские государства доселе еще не испытывали русского давления, потонуло в возгласах:

— Почувствуют! Что за скептицизм!

Четверть часа с энтузиазмом обсуждались детали конституционного порядка: федерация или нечто большее? И только когда случайно была упомянута Англия, страсти снова разгорелись. Докладчик настаивал, что необходимо опереться на Британскую империю...

— Англия нас предала! — выкрикнул кто-то.

— Извини, Александр, — добавил бледный, — в твоей трактовке мы все превращаемся в новый английский доминион.

Карасевич не выдержал. Наставления Шнайдера не давали ему покоя. Он должен ими поделиться.

— Англия — подлинно демократическая страна. Там даже король ест одно яйцо в неделю...

Карасевич опромстчиво произнес грозное слово «демократия». Бледный еще успел крикнуть: «Если Англия, то ничего не выйдет с арабским Востоком, выбирайте!» Понесся возглас: «Мы хотим польской ориентации, а не английской!» Однако эти реплики поглотил гул бурных дебатов: нужна ли демократия, и если да, то какая? Только одно было несомненно — коммунистов вырезать! Но с другими пунктами пошло не так гладко. Что делать с социалистами? Преобладало мнение: это тоже коммунисты. Лишь докладчик справедливо заметил, что пан премьер Арцышевский, глава лондонского правительства, тоже пепеэсовец¹. Пришлось принять поправку: за исключением... Однако демократов и людовцев² ликвидировали на месте. Хуже всего было с Миколайчиком.

¹ Член ППС, Польской социалистической партии.

² Члены крестьянской партии Стронництво людове в довоенной Польше.

— В то время, когда мы... неустанно... — вопил зеленоглазый, — Миколайчик трижды продавал в Москве Польшу. И в последний раз — по дешевке!

— Ну, для себя-то он кое-что все же выторговал, — насмешливо пропищала девица. — Пост вице-премьера, машины, пайки...

— О нет, простите, — впервые отозвался человек с брюшком. — Я не позволю, чтобы попирали имя великого поляка Миколайчика!

— ...Мы сражаемся, гибнем в казематах, тюрьмах. — Зеленоглазый отнюдь не прекращал своих разглагольствований, просто остальные на время заглушили его. Теперь он снова завладел аудиторией. — А Миколайчик прохладается на приемах! Двадцать второго июля был в Бельведере!

Человек с брюшком снисходительно улыбнулся:

— Дорогой мой, если бы Миколайчик не принял пост вице-премьера и не существовало ПСЛ, нам всем было бы гораздо труднее.

— Нет, не труднее! — кипятился зеленоглазый. — Вся Польша была бы сплошным огромным подпольем! Я вам...

Он даже подпрыгнул. Но какой-то молчаливый брюнет в очках схватил его за руку и силой усадил.

Бледный поддерживал человека с брюшком, провозгласив хвалу трезвому макиавеллизму.

— Разумеется, Миколайчик по-своему прав, проводя такую политику. И в известной мере его политика нам выгодна. Но мы, конечно, не можем позволить, чтобы Берута навсегда заменил Миколайчик. Миколайчик остается союзником, пока есть Берут. Он станет врагом, когда Берута уберут. В политике руководствуются не сантиментами, а холодным рассудком.

Подобное решение вопроса устроило накопец и толстяка и зеленоглазого. Вернулись к прежней теме — к демократии. Зеленоглазый робко осведомился:

— Действительно ли необходима демократия? Не следует ли поискать иной, более современной формы национального государства?

На него тут же зашикали.

— Мы должны помнить об Англии! — Карасевич стукнул кулаком по столу. — Нельзя быть запапибрата со всем миром!

Бледный тоже был за демократию:

— Разумеется, нам неудобно выступать с программой авторитарного государства. Но, беря за образец западную демократию, необходимо внести некоторые коррективы. Война показала, что классический тип демократии плохо переносит великие исторические кризисы. Наш народ еще не созрел. Мы должны создать польское...

— Правительство сильной руки! — вскричал с места толстяк. — Я никогда не был за санацію. Совсем наоборот. Но теперь мы видим, как прекрасно брала опа за глотку подрывные...

— ...сообщество наций, — заключил бледный. — Социальный элемент должен быть припят во внимание.

— Что такое сообщество? — пробормотала девица и залилась румянцем. — Общий — по-латыни communis. Неужели...

— Вздор, — с улыбкой отмахнулся бледный. — Британская империя называется Британское Содружество Наций. Мы также...

— Например, Береза!¹ — снова вскричал толстяк. — Жесткое средство, но до чего действенное! — Он сел.

— Мы должны ликвидировать причины общественных конфликтов. Противоречие между работодателем и рабочим, классовая борьба...

— Нет никакой классовой борьбы! — отрубил зеленоглазый. — Это только пропаганда!

— Допустим, что в принципе нет, — охотно согласился бледный. — Но подрывная пропаганда уже создала ее в сознании рабочего. И мы должны ее ликвидировать. Путем внедрения припцппа солидаризма в христианском духе...

— Ох! — зевнул зеленоглазый. — Опять этот католицизм. Ну да ладно!

Собравшиеся постепенно успокаивались. Бледный долго рисовал довольно расплывчатую картину лучезарного будущего Польского Сообщества Наций. Все устали, поэтому наиболее щепетильные моменты дапного проекта, как, папример, отношение к пациональным меньшинствам на восточных окраинах, были приняты без существенных возражений. Только зеленоглазый прошипел еще раз: «Вы-

¹ Береза Каргузская — концлагерь, созданный в 1934 году санационным правительством Польши.

резаты!» — но, не упорствуя, поддержал радикальную программу колонизации.

Карасевич принял это с радостью. Взглянул на часы — около десяти. Пора бы домой. С некоторой робостью прикоснулся к бледному. Голова, далеко пойдет. Хотел было испытать свои силы, поспорить с ним ради спортивного интереса, но сдержался. Кто знает, что это за люди? Конспирация. Главное — беречь кадры. Впрочем, дискуссия быстро ему приелась. Он развлекался тем, что отгадывал, кто из них «тот», которым его пугали. Толстяк, скомпрометированный выступлением в защиту Миколайчика, отпадал. Зеленоглазый? Бледный? Пожалуй, он. Надо как-то смотаться. Может быть, сейчас?

Однако, подымаясь, он поймал приказывающий взгляд Клавдии: сиди! Поморщился, зевнул для вида. К счастью, собрание уже кончилось.

Уходили по одному. Клавдия вызвала его в коридор.

— Туда! — показала она дверь налево: — Ждите там.

Это была кухня, грязная и вонючая. Он сел на табуретку. Спустя минуту вошел тот, молчаливый, в очках, который осадил зеленоглазого. Улыбнулся, крепко пожал Карасевичу руку. Ему было лет двадцать пять. Он походил на спортсмена.

— Ферля. Рад, что пришли. Клавдия много о вас рассказывала.

— Я тоже... — Карасевич не очень представлял себе, как ему надо держаться. Как с директором департамента, настороженно и подобострастно? Или свободно, как с товарищами по борьбе? Избрал нечто среднее: слегка ерзал — непринужденность, слегка склонял стан: «Давно мечтал... Я всегда... с вами...»

— Так вот, дорогой мой, отныне вы уже не волонтер или партизан. Вы — член организации, и прежде всего запомните с самого начала одно: дисциплина! Наша сила — дисциплина. Без нее мы ничего не стоим, любой соплик из госбезопасности раздавит нас, как клопов. Ясно?

Карасевич утвердительно кивнул. Его вдруг немного замутило.

— Вы слышали нынешнюю дискуссию. В ней было много воды. Я разрешил им болтать, это поучительно. Познаешь людей. Вас тоже, хоть вы мало говорили.

— Я могу больше... но незнакомые...

— Да, да. То, что вы сказали, характеризует вас с лучшей стороны. Например, об Англии. У нас много щенков, которым кажется: мы сами все можем. Эдакие зазнайки, разумеется, далеко не пойдут. Зато вы — ол райт.

Теперь Карасевич ощутил в груди прилив чрезвычайно приятного тепла.

— Понимаю,— пробормотал он, с трудом проглатывая слюну.— Понимаю и... благодарю.

— Отлично. Наша основная задача, сами понимаете,— развалить весь этот балаган. Мы сколачиваем могучую организацию, которая проникнет во все учреждения и воеводства. В армию, госбезопасность, партию. Всюду. И наши люди будут там так действовать, что в один прекрасный день — трах! — и до свиданья, пан Берут! До свиданья, дорогая народная демократия! — Ферля улыбнулся и помахал рукой.— Ясно?

— Безусловно. Да я... с самого начала. Поручили составить проект, а я две недели промариновал его в ящике. Грабовский взгрел меня, прямо как собаку. Того гляди, вышвырнут вон! — гордо выпятил грудь Карасевич.

— Очень плохо! — поморщился Ферля.— Очень неумно. Видите, что значит партизанщина. Ну вышвырнут. И что? И возьмут какого-нибудь энтузиаста или партийца. А нам от этого пользы — ноль!

Карасевич даже подпрыгнул: ведь это же его теория сохранения кадров!

— Да, да, понимаю. Вы правы. Я исправлюсь, возьмусь за работу. Можете на меня положиться. Нужно оставаться на посту. Чтобы никто не подозревал. Беречь кадры. Я теперь буду дневать и почевать на службе.— Ферля с улыбкой поддакнул.— И ни-ни, никаких анекдотов «анти», никаких тайных собраний, просто обыкновенный усердный чиновник.

Ферля снова поморщился, и Карасевич замолчал.

— Не совсем так,— начал Ферля несколько язвительным тоном.— Разумеется, работать с жаром. Разумеется, никаких анекдотов. Даже на собрания ходить не обязательно. Сегодня Клавдия поступила необдуманно. Но для нас вы кое-что должны делать. Ясно?

Карасевич поддакнул без энтузиазма. Даже вздохнул укордкой.

— Информируйте нас обо всем, что у вас делается...

— Конечно. Весь мой отдел... — Он заметил выжидающий взгляд Ферли и неуверенно добавил: — И общеадминистративный департамент...

— И другие департаменты, — с расстановкой произнес Ферля, — и кабинет министра, и отдел кадров... Кстати, как вы с этой Винярской?

— То есть?

— Вы же интересный парень. А она не прочь...

Карасевич сконфуженно улыбнулся:

— Это можно. Хотя до сих пор...

— Словом, сведения и Винярская. Как видите, немного. Связной будет Клавдия. Это хорошая девка, хоть и любит штурмовщину. Да, и Шнайдер. Мы еще не раскусили окончательно этого типа. Клавдия его обрабатывает, но, кажется, слишком увлеклась прощупыванием. Попробуйте его завербовать. Сначала осторожно, а если расколется — покруче! Ну, привет. И помните — дисциплина. Мы не шутим.

5

Уже на следующий день магические «четыре месяца» отчасти потускнели. «Мы не шутим» — вот что стало девизом Карасевича. Он попробовал разобраться в полученных инструкциях. Информировать — куда ни шло. Будет печатать одной копией больше. К тому же все их циркуляры и директивы — сплошная липа. Хуже обстояло со Шнайдером. Он не посмел расспрашивать Ферлю, боясь показаться полнейшим профаном в делах конспирации. Что значит «расколется»?

Единственным утешением была Винярская. Эта невысокая пухлая тридцатилетняя блондинка была облечена доверием и возведена на высокий пост заведующего отделом кадров в ознаменование каких-то неопределенных заслуг в годы оккупации. Вблизи она выглядела воплощением доброты и спокойствия.

Действительно, Винярская была весьма добра, особенно к молодым специалистам по общим вопросам. Она прямо-таки ни в чем не могла им отказать. Когда ее спрашивали, почему в Познань послан Бабковский («это же круглый идиот»), она отвечала с видом невинного младенца:

«Он так очаровательно меня просил». С женщинами Винярская держалась гораздо тверже.

Вероятно, во имя соблюдения демократического принципа равноправия полов ее заместителем назначили подвижного брюпета по фамилии Лайняк, который в свою очередь был весьма сердечен со специалистками по тем же вопросам. Эта пара, кстати враждовавшая между собой, доставляла Карасевичу массу развлечений. Рассказы о ней были его коронным номером у Липца. При этом он утверждал, что МОВ комплектуется по дарвиновскому принципу подбора полов.

Поручение организации развязало Карасевичу руки: его давно обуревали запретные желания при виде голубых очей, вздернутого носика, маленького пунцового рта и значительного количества всякого рода округлостей, составлявших грозную фигуру заведующей отделом кадров. Эта не лишённая приятности миссия уже не имела ничего общего с недостойной человеческой слабостью или, хуже того, наиболее подлым альковным методом заручиться протекцией. Она приобретала благородное значение «боевого задания» или даже «дела». Не удивительно, что, отложив пока Шнайдера и сбор информации, Карасевич атаковал именно Випярскую.

Она сидела в своем кабинете, заваленная папками «личных дел». Ее бело-розово-голубая фигура выделялась на мрачном фоне четырех несгораемых шкафов. Винярская невольно улыбнулась Карасевичу, но, видимо, что-то припомнив, поджала губы. Руку все же подала, даже грациозно выгнув для поцелуя.

— Садитесь, начальник, — сухо произнесла она. — В чем дело?

— Пани... прямо не знаю, как вас величать. Начальник или начальница? Заведующий или заведующая? Может, просто пани Люцына? — Карасевич расцвел в своей самой обворожительной улыбке, одновременно умоляя взором проявить терпимость к его невинной шуточке. — Вы не сердитесь?

— Пока не на что. Но боюсь, что скоро... — Випярская героически сохраняла важную мину, хотя видно было, что это стоит ей труда.

— Видите ли, я знаю, что вы очень запяты... однако бывают минуты... вы у нас нечто вроде капеллана...

— Хи-хи! — не выдержала Винярская. Но все же еще раз надулась.

— ...пастыря и исповедника. Вы отпускаете грехи, велите читать верноподданнические молитвы, бить себя в грудь...

Винярская сдалась. Важная мина исчезла, и она больше не пыталась к ней прибегнуть. Продолжение разговора не имело никакого значения. Важны были взгляды: все более страстные — начальника отдела планирования и все менее непреклонные — заведующей отделом кадров. Так же не лишен смысла был неловкий, казалось бы, жест Карасевича, в результате которого его правая рука установила контакт с предплечьем пани Люцины. И самым важным было решение: послезавтра вечером они идут в кино.

Карасевич возвращался к себе сияющий. Приятно столь ощутимо почувствовать себя неотразимым мужчиной. В отделе его дожидалась Клавдия.

— Разрешите, пан начальник? На полминутки!

Затворив дверь, она произнесла одобрительно, но, впрочем, с оттенком презрения:

— Ну, ну, вы не теряете времени даром. Поздравляю.

— С чем?

— С Винярской. Ферля требует, чтобы вы раздобыли характеристики руководителей периферийных учреждений. Особенно в Люблинщине. Как со Шнайдером?

— Погодите! Помилуйте, так нельзя.

— Но, но, по. Полегче. Сказано — и точка. Надо что-то делать. Как с проектом?

— Каким проектом?

— Тем, что вы должны состригать для Грабовского. Ферля приказал побыстрее...

Карасевич едва отвязался от нее, пообещав проект на завтра, Шнайдера на послезавтра. С Винярской он выговорил себе право повременить.

Проект он в самом деле подготовил. Еще до представления Грабовскому Клавдия вырвала копию у него из рук. Напрасно он пытался ее убедить: это еще не окончательный вариант, директор департамента наверняка что-нибудь вычеркнет и замесит, чтобы был виден и его творческий вклад. Клавдия махнула рукой, ссылаясь на Ферлю. Уходя с добычей, она не удержала торжествующей улыбки.

ки, которая вдруг объяснила Карасевичу подлинный смысл ее торопливости.

Вот что значит «расколоться»! Теперь он у них в руках! Разглашение служебной тайны. Или нечто посерьезнее? Ему не хотелось углубляться в раздумья о юридической стороне своего поступка. Он почувствовал только, что простор жизненных дорог и свобода их выбора, придававшие столько очарования его молодости, внезапно сузились. Попробовал утешить себя: может, это только трюк Клавдии — истинной любительницы штурмовщины. Схватила проект и уймется на некоторое время.

Куда там! На другой же день она поймала его в коридоре и выпалила фразу, вероятно заученную наизусть и напоминавшую телеграмму: «Материал интересный, просим новых, напоминаем характеристиках, весьма срочно выяснить директором Шпайдером».

Карасевич был мрачен до самого вечера. Позднее, после посещения кино, ознаменовавшего новый этап в отношениях между обоими пачальниками, полный радостного волнения от того, что завоевал ее и обладает ею, он заново пересмотрел ситуацию, в которой очутился, и даже несколько утешился.

Во-первых, четыре месяца. Точнее, едва три и три четверти. Во-вторых, тяготевшее над ним недоверие министерских воротил постепенно рассеивалось. После этого вечера у Випярской о нем наверняка сложилось лучшее мнение. Он читал это в ее затуманенном взоре, слышал в ее вздохах и возгласах, нечленораздельных, но явно выражающих позитивное к нему отношение. Остаются Ферля и Клавдия. Досадно и хлопотно, но отсюда тоже можно извлечь пользу. Графу «участие в подпольных организациях» надо заполнить. Давно пора. Остается ведь неполных четыре месяца.

6

Оптимистическая оценка положения как будто подтверждалась. Грабовский принял проект — на удивление — положительно. Сделал несколько грубоватых комплиментов, хлопнул по плечу. Даже вспомнил про антигосударственные анекдоты, предложив конкурс — кто из них знает больше. И конечно, проехался насчет табачной монополии и даже ПСЛ и АК. И при этом оглушительно хо-

хотал. Карасевич тоже смеялся, но из осторожности участия в конкурсе не принял.

Заглянув после этого к Липцу, он снова наткнулся на Шнайдера. На этот раз они были вдвоем и, вероятно, поэтому быстрее обратились к сфере высокой политики. Шнайдер опять горячо подтвердил свое предсказание — четыре месяца. Учитывая вторую бомбу, сброшенную на Нагасаки, он был даже склонен сократить сроки недели на две. Только не советовал этого разглашать.

— Мы, люди зрелые, умеем трезво оценивать соотношение сил на мировой арене. Но массы, — он показал на соседние столики, — этого не понимают. С ними надо поосторожнее. Не уложимся в срок — начнутся сомнения. Никогда не следует горячиться.

Польскую действительность он оценивал более сурово, чем при первой встрече. Карасевич стал рассказывать политические сплетни, и Шнайдер то и дело хлопал в ладоши, принимался развивать сюжет, делал весьма крутые выводы.

Карасевич настолько унивался своими успехами, что, встретив Клавдию, подкарауливавшую его у здания министерства, отнесся к ней высокомерно, как во времена ее секретарствования.

— Все в порядке. Шнайдер готов.

— Завербовали?

— Как будто...

— Да или нет? Не темните.

Его возмутил этот топ. Ни с того ни с сего он отрезал:

— Сказано — готов. А вербовать не стану. Можете сами.

Клавдия фыркнула, недоуменно взглянула на него и ушла. Карасевич и сам не знал, кто вселил в него такую самоуверенность. Грабовский, Шнайдер? Так или иначе, он остался весьма доволен собой. Особенно потому, что осадил эту надоедливую бабу. Может, с самого начала следовало обращаться с ней построже!

На два дня его действительно оставили в покое. Но в субботу ему доложили, что пришел какой-то проситель по личному делу. Выглянул в секретариат: Ферля.

— Вы спятили? — зашипел на него Карасевич в кабинете. — Что это такое?

— Спокойно! — Ферля небрежно махнул рукой в знак приветствия. — Вы сами этого хотели. Я вас предупреждал: главное — дисциплина. А вы тут забавляетесь.

— Не забавляюсь. Только ваша Клавдия...

— Она выполняла мой приказ. Вам это не по вкусу? Можете подать рапорт. По инстанции. На мое имя. Но если его отклонят, можно попасть к тете Басе. Ясно? Нет? Не слыхали о такой? Благодарите бога. Это незавидное удовольствие.

Карасевич притих. Ферля смотрел на него с презрительной усмешкой.

— Немедленно позвоните Шнайдеру. Скажите — по важному делу, пусть примет сейчас же. С паном Краснодембским. Ну, давайте я вам покажу, как вербуют...

Карасевич, заикаясь, попытался возразить. Стоит ли так рисковать людьми? Где же принцип сохранения кадров? Но взгляд Ферли торопил. Он снял очки и сразу сделался моложе, неумолимей. Сунул руку в карман пиджака. Неужели за револьвером?

Шнайдер помещался в «фольварке» — соседнем здании, занятом несколькими министерствами. Карасевич и Ферля долго дожидались оформления пропусков, зато солдат, дежуривший у входа, даже не взглянул на их бумажки. Дом был обшарпанный и грязный, окна не мыты, лифт испорчен. Орды посетителей слонялись по лестницам и коридорам. Несколько курьеров в довоенной униформе зевали, сидя на подоконниках, сварливо отбиваясь от посетителей, которые тщетно выклиничивали у них какие-то справки.

Шнайдер сидел на самом верху, в кабинете столь же узком и грязном, как и ведущий к нему коридор. Он встретил их любезно, но несколько озадаченно. Ферля дал им наговориться о погоде и здоровье, а затем начал без обиняков.

— Пан директор, мы знаем, что вы настоящий поляк, и поэтому пришли к вам...

— Пожалуйста, прошу.

— ...от имени патристической организации...

Шнайдер дернулся, словно ужаленный. Глянул на Карасевича. Тот опустил глаза. Ферля небрежно усмехнулся.

— Вас, патриста, удивляет, что организация обращает-

ся к вам? Было бы странно, если бы она этого не сделала. Странно и печально. Для вас это свидетельствовало бы о недоверии. Верно?

— Но... скажем... Мое прошлое безупречно.

— А настоящее? Вы занимаете высокий пост при нынешнем режиме. Сейчас на высоких постах люди трех категорий: коммунисты, карьеристы и те, кто действует по нашему приказу. Которую из этих категорий вы выбираете?

— Я, уважаемый... по приказу премьера Миколайчика...

— Оставим в покое Миколайчика. У него тоже разные люди. И карьеристы и наши. Ну, итак?

— Извините, пан... не знаю, с кем имею честь?

— Допустим — Краснодембский... Слушаю вас!

— Это насилие. Я протестую! — Шнайдер даже стукнул карапдашом по столу. — Я сообщу пану премьеру. Шантажировать... деятелей Польского стронництва людowego... Я удивляюсь вашей наглости, молодой человек. Так не делают. Вы подвергаете меня опасности. И себя тоже. И при свидетелях...

— О, прошу его не стесняться. Это свой человек. Именно при свидетелях. У нас достаточно таких, что разыгрывают патриотов лишь с глаз на глаз.

— Может быть, вас подослали? Из органов?.. Я прикажу проверить ваши документы... — Шнайдер побагровел, кинулся было к звонку, но опять сел, парализованный взглядом Ферли.

— Не советую, — процедил тот. — И вообще пора кончать этот спектакль. Вы предпочитаете быть причисленным к коммунистам? Или к тем, кто «честно» делает карьеру?

— Чего вы хотите? — Шнайдер бессильно откинулся на спинку стула, потупив взгляд.

— Ничего страшного. Нам пужен список. Вы руководите периферийным департаментом. Нас очень интересует эта область. И люди. Особенно... вы понимаете... энтузиасты?

— Зачем?

— Это наше дело. Видите ли, в нашу паршивую эпоху легко забываются такие мелочи, как совесть, любовь к родине и так далее. Вот мы и организовали акцию по напоминанию сих прекрасных истин. Вы понимаете?

Шнайдер не понимал. Карасевич догадался первым: Мороз подирал его по коже. Нет, не то!

— Коммунистов! — почти выкрикнул он, счастливый тем, что первая догадка показалась ему неверной. Но Ферля покачал головой, и он снова ощутил озноб.

— Нет. Не только. Тех, что лезут из кожи вон, чтобы доказать новым хозяевам свое рвение и лояльность. Тех, что выслуживаются, подлизываются, кланяются в пояс. Теперь-то вы поняли? Для острастки! Как самых опасных!

И все-таки трудно было называть вещи своими именами. С каждым словом у Шнайдера менялось выражение лица. Он опять потупился. Помолчал.

Из стада телефонов, занимавшего особый столик, слышалось щебетание, мелодичное и вкрадчивое. Шнайдер встрепнулся.

— Хэллоу,— протянул он нараспев, сложив в трубочку все еще бледные губы.— Ах, мое нижайшее почтение, пан министр, нижайшее. Слушаю вас. Так точно, пап министр, так точно, слушаюсь, разумеется. Нижайшее почтение, пап министр, нижайшее. Могу ли просить, пан министр, от моего имени поцеловать ручку папи министершо? Сердечно благодарен, пан министр, сердечно благодарен. До свидания, пап министр, до свидания, до свидания.

Лицо его просияло, он улыбался всем своим существом, включая пестрый галстук-бабочку, который, казалось, как настоящий мотылек, трепетал в истоме крылышками при каждой трели папа директора Шнайдера. Изящным жестом он положил трубку и, продолжая улыбаться, уставился перед собой. Увидал Ферлю, и улыбка разлетелась вдребезги, как воздушный шарик, неосторожно поднесенный к сигарете. Шнайдер покраснел. Ферля, глядя ему прямо в лицо, заставил его опустить глаза и многозначительно переглянулся с Карасевичем: сейчас будет готов. Снова помолчали.

— Понимаю,— откашлялся наконец Шнайдер, меняя тембр голоса. Побарабанил пальцами.— Да, вы правы.— Он постепенно оживлялся.— Теперь это становится необходимостью. Вот величайшее преступление властей. Нас вынуждают к этому! Тем, что непрерывно калечат характеры, расхищают и выворачивают паизнанку все па-

циональные святыни. Мне, например, больше не вмогуту! Я сижу здесь для пользы дела. А вы думаете — карьерист! Вы не представляете, чего мне это стоит. Если бы не ясный приказ премьера, я и часа бы тут не остался. Но премьер приказал: слишком важное ведомство, нельзя допустить, чтобы здесь обошлись без нас. Знаете ли вы, что значит быть теперь высшим чиновником? Одни торжественные вечера чего стоят! И приходится сидеть до конца. Для пользы дела. Или приемы. Я, видите ли, случайно стал чиновником. По призванию и воспитанию я артист. У меня врожденный интеллект. А они... Их приемы — это обжорство и пьяпка. Ужас! — Он провел ладонью по лицу, словно отгоняя кошмарную картину правительственных приемов.

Карасевич как «европеец» не мог ему не сочувствовать. Однако Ферля грубо прервал его затянувшуюся исповедь.

— Следовательно, вы доставите список. Великолепно. Вот так бы сразу. В первую очередь подготовьте Люблинщину. Материалы прошу передавать через него, — кивнул головой на Карасевича. — Вы старый политик, поэтому, надеюсь, не надо ничего добавлять относительно осторожности, дисциплины и тому подобного. Верно?

Шнайдер только поджал губы и довольно неопределенно хмыкнул.

— Ну, так не будем больше отнимать у вас времени. — Ферля поднялся. — Прощайте. — И вдруг, уже уходя, подобострастно изогнулся и слащаво запел: — До свидания, пан директор, до свидания, до свидания!

Карасевича бросило в жар. Глядя в сторону, он пожал окаменевшую длань Шнайдера и поспешил вслед за Ферлей покинуть кабинет. Уже на пороге его настигло восклицание Шнайдера:

— Минуточку, пан начальник...

Карасевич с мольбой взглянул на Ферлю. Но тот пожал плечами, прошипел: «Отвяжитесь» — и удалился. А Шнайдер был уже в дверях. Он захлопнул их перед носом Карасевича, взял его за руку, как мальчишку, которого ждет порка, и повел назад.

— Благодарю вас, — патетически прошептал он. — Сердечно благодарю. Вы преподали мне крайне ценный урок. — И вдруг взвизгнул: — Вот что значит связываться

с мальчишками! — И снова скрежещущим шепотом: — Сам виноват. Mea culpa! Первому попавшемуся сопляку открываю душу — и вот, пожалуйста, на что он меня обрекает — на шантаж! Меня, директора Шнайдера, старого политика, дипломата, государственного мужа! Неслыханно! Только теперь я по-настоящему понял, в какую бездну деморализации ввергла война эту страну...

Он несколько раз глубоко вздохнул и что-то вытер платком то ли на носу, то ли под глазом. Карасевич осмелился в конце концов пробубнить какое-то неуклюжее извинение — дескать, это не я, меня тоже заставили.

— Вы, вы! Это другое дело. Вы щенок! Для вас вполне естественная вещь — всякие конспирации. Но я! Я солидный человек! Я государственный муж, да, да, милейший, это не бахвальство. Я буду министром у премьера Миколайчика. Понимаете? А этот мальчишка посмел обращаться со мной, как с канальей. Невероятно! Я пожалуй премьеру.

Шнайдер долго сопел, пока Карасевич не попытался утешить его соображениями высокой политики: надо ладить с подпольем, тем более что осталось уже недолго, всего четыре месяца. И тут ему был нанесен самый сокрушительный удар.

— Какие четыре месяца? — вопил Шнайдер.

— А как же? По вашим подсчетам... Нагасаки...

Шнайдер хлопнул себя по лбу.

— Угораздило же меня связаться с сопляками! Я человек серьезный, я не гадаю на кофейной гуще...

— Но вы же сами, пан директор, педелю назад...

— Подумаешь, педелю назад! Большая политика, молодой человек, — это трезвая оценка соотношения сил на мировой арене. Нет ничего позорного, если государственный муж пересматривает свою позицию в соответствии с происшедшими в мире переменами. Не замечать подобные перемены преступно.

— Позвольте? — Карасевич поблелел. — Какая перемена?

— Как? Вы газет не читаете? Русские же заявили, что у них тоже кое-что есть.

Он жил теперь в полнейшей духовной прострации. Его верный советчик, разум, отказывался ему повиноваться. Колебания мировой политики швыряли его из стороны в сторону, словно утлую лодчонку без руля и ветрил. Наиболее активной была сила, которую олицетворяла для него Клавдия. Она через день появлялась в кабинете, иронически величала его начальником, садилась без приглашения, требовала материалов. Он затыкал ей рот чем придется, вплоть до циркуляров, говорящих о необходимости уходя гасить свет и закрывать двери. Однако вскоре она уж настолько стала разбираться, что пачала кое-что отвергать. И все торопила со Шнайдером и Винярской.

Другая сила, во главе с Грабовским, тоже не давала передышки: сиди, пиши, поправляй, разрабатывай. На совещаниях Грабовский называл его образцом интеллигент-лентяя. «Бить таких, — призывал он, — бить, бить, и увидите, что из них получится!» Была в этом известная благосклонность, которая в добрые старые времена (до памятной дискуссии) могла бы с грехом пополам сойти за маяющее движение начальнического пальца. «Слишком поздно!» — вздыхал Карасевич, ему не суждено прозаическое преуспевание Друцких-Любецких¹. Его уже не увлекал прямой, романтически зловещий путь Лукасинского².

Изнывая под двойным гнетом — Грабовского и Клавдии, — он вымучивал из себя что мог, приправляя юридическим соусом всевозможные убогие манускрипты касательно взаимоотношений рад пародовых, бургомистров, старост, кураторов. Копии совал Клавдия, понукаемый ее наглым брюзжаньем, в котором чувствовались потки реванша за все, что ей довелось вытерпеть, будучи его секретаршей.

На участке Винярской операции развивались согласно с планом. Справедливости ради следует признать, что администратор в ней сопротивлялся дольше, чем женщина. Через неделю после исторического выхода в кино она еще защищалась, как львица, закрывая собственным телом

¹ Друцкий-Любецкий (1778—1846) — министр финансов Королевства Польского.

² Валериан Лукасинский (1786—1868) — видный деятель польского национально-освободительного движения.

подступы к сейфам, хранящим тайны министерского отдела кадров. Однако Карасевич маневрировал с присущей ему ловкостью. Вскоре он заметил, что владычица сейфов не слишком разбирается в их содержимом. Умело пользуясь неизвестными ей, как, впрочем, и широким массам служащих, техническими терминами («картотеки по специальностям», «трехзпачная шифровка», «потепциальная дифференциация»), он добился того, что Винярская попросила его о помощи. Карасевич согласился с явной неохотой. Они сиживали теперь по вечерам в ее кабинете, сортируя папки с личными делами. Винярская была счастлива: наконец-то ее личная жизнь не мешает, а помогает ее запущенным служебным занятиям.

В уютном свете настольной лампы они выглядели идиллически, словно двое супругов, сообща перематывающих клубки розовой шерсти, из которой им в ближайшее время придется вязать чепчик и посочки для кого-то третьего... Однако жизнь — чертовски жестокая штука. Как-то вечером, когда Винярская отлучилась на минутку, Карасевич достал люблинскую папку и стал торопливо просматривать реестр достоинств и пороков тамошней административной верхушки. Скрипнула дверь.

— Это ты, Мышка? Что ты там так долго делала? — Не подымая головы, спросил Карасевич. Закрыв папку, он отодвинул ее, смешал с другими.

— Разрешите! — Мужской голос ошеломил его как удар дубины. Он вскочил. Лайняк протягивал руку. — Ту, которую вы просматривали.

Разыгралась отвратительная сцена. Наконец прибежала Винярская. Лайняк предложил Карасевичу удалиться. После его ухода атмосфера накалилась. Перешли на «гражданин», «гражданка», обвиняя друг друга в распутном образе жизни. Пока что одерживала верх Винярская.

— Это мое дело, — парировала она замечание о том, что ведет распутный образ жизни. — Я имею право собой распоряжаться. А вы, гражданин, принуждаете!

Лайняк припас аргумент покрепче:

— Я даже своих не допускаю к личным делам. А у вас, гражданка, такие типы...

Карасевич подслушивал за дверью, полный брезгливости, страха и любопытства: наконец-то он выяснит, что здесь о нем думают. Но Лайняк что-то пробормотал вполголоса и громко заключил:

— Я об этом доложу!

Винярская смогла лишь неуверенно бросить:

— Сделайте одолжение.

Он сбежал, заслышав шаг Лайпьяка. Ночью его одолевали приступы страха. Карасевич просмотрел бумаги, уничтожил несколько писем и все анекдоты, собранные у Липца, раздумывал, не переменить ли квартиру. Утром он решительно потребовал у Клавдии свидания с Ферлей. Та уступила — пообещала устроить это в полдень.

Ферля остался невозмутимым, даже высмеял Карасевича, похвалив, впрочем, за материалы, добытые главным образом у Винярской. Его не арестовали, ничего у него не взяли. Если бы они сразу же брали каждого подозрительного, пришлось бы закрыть лавочку.

— Во всяком случае, они взяли меня на заметку. Мне нельзя ходить к Шнайдеру. Почему Клавдия...

— Потому. У нее другое задание. Для Шнайдера нужен человек более серьезный. И вообще, что это за разговорчики?

— Вот именно! В конце концов теперь, находясь в опасности, я по крайней мере имею право знать, во имя чего рискую? Какая это организация? Какова ее программа? Как она называется? — История с Лайпьяком не только напугала, но и подняла Карасевича в собственных глазах, это было как бы посвящение в подпольное рыцарство. — Сами говорите, что я серьезный человек. И ни слова о принципиальных вопросах. Заставляете меня рисковать ради пустяков. Какие-то циркуляры, фамилии. Подсылаете ко мне эту Клавдию, запугиваете разными тетями. Что это, Лига женщин?..

Ферля вдруг стиснул зубы. Карасевич смик.

— Ты у меня доболтаешься! — с негодованием заговорил Ферля. — Молокосос. Если бы ты понимал толк в этих делах, то был бы счастлив, что знаешь так мало. Меньше знаешь — меньше ответственности. Но раз уж тебе так приперло — пожалуйста. Во-первых, организация называется «ВОВ» — «Борьба за свободу». Внепартийная, общенациональная. Понятно? Мы, молодые, растем, преодолеваем давнее, обветшалое. Программа — кое-что ты слышал на собрании. Но дело не в программе, это так, для интеллигенции. Главное — подвиг! И дисциплина. Понятно, черт побери? Тебя не касается, что там замышляет центр. Делай, как приказывает твой шеф. То есть я. Понятно?

Карасевич не то кивнул, не то поморщился.

— Чего кривишься? Зачем понадобились циркуляры? Мы должны знать, как строится этот балаган. Чтобы напосить удары. В самые чувствительные места. Таких, как ты, у нас сотни. Всюду. В партии, в госбезопасности. Это такая же боевая работа, как и у Медведя. Зачем фамилии? Слыхал об акции «Z»? Мы составляем списки. Одних — позднее. Других — сейчас. Их уберет Медведь или кто-нибудь другой. О Медведе слышал? Тоже нет? Взял тебя к Шнайдеру, кстати, такое же... требуха па постпом масле. Думал, чему-нибудь паучишься. Ни черта не научился. Всегда придется подталкивать. При всей твоей паршивой интеллигентности.

Ферля в сердцах отвернулся. С минуту помолчал, пока чего-то не вспомнил.

— А если чего-нибудь не понимаешь, то выучи наизусть... Для тебя нет тети Баси. Это мы можем так ее называть. А ты должен говорить: Барбара. Либо шеф. И становиться при этом по команде «смирно». Никаких «тетя»! Как-нибудь еще получишь за это пулю в лоб, па месте, без суда и следствия. Понятно? Чтобы позволять себе фамильярности, надо сперва малость поиграть со смертью. Вот примерно все. Можешь идти.

8

Удивительная вещь — человеческая натура. За несколько недель положение Карасевича из хорошего или по крайней мере спосного превратилось почти во всех отношениях в плачевное. Радостная перспектива четырехмесячного ожидания пошла ко всем чертям, кажущееся недоверие стало вполне реальным после истории с Лайняком, подполье заставляло выполнять тяжелую и опасную работу, вознаграждая за это презрением. И вместе с тем именно теперь, после бани, которую ему задал Ферля, конспиративная деятельность Карасевича приобрела небывалый размах.

Прошло несколько дней — и ничего. Никто его не арестовал. Винярскую он избегал, но и с ней ничего не случилось. Эпигичное вмешательство Ферли, с одной стороны, и беспомощность властей — с другой, преобразили Ка-

расевича. Он начал проявлять инициативу, искал, вынюхивал, увиваясь вокруг Грабовского, и уже не ограничивался только послушным выполнением требований Клавдии. Может, поэтому она и стала менее надоедлива. Обидные намеки Ферли темного злили его, но вскоре это прошло. Напротив, он стал приобретать манеры конспиратора и находил в этом некоторое удовольствие.

Зато он преувеличивал все неприятности, причиненные ему в свое время Грабовским. Небрежные замечания на тему «битья», которые Карасевич еще недавно истолковывал как свидетельство высокой оценки своих возможностей, ныне доводили его до иступления. «Я ему покажу — бить», — цедил он про себя, вручая Клавдии очередную порцию материалов.

Отправляясь впервые к Шнайдеру в новой роли связанного, он тщательно продумал психологическую подоплеку образа, в который предстояло перевоплотиться; отказался от «европейца» и выбрал «профессионального конспиратора». Так решил он взяться за дело после неприятного объяснения с Ферлей: увлечь Шнайдера неведомой ему областью и заставить уважать себя. С этой целью он заучил соответствующую мимiku, жесты, аргументы. Карасевич чувствовал себя словно актер-любитель перед спектаклем.

Шнайдер холодно поздоровался с ним, предупредил, что не располагает временем. Вместо ответа Карасевич поджал губы и предостерегающе приложил к ним палец: будем бдительны. Затем вскочил с ловкостью рыси, метнулся к дверям, отворил их, снова захлопнул и вернулся на место. Шнайдер забеспокоился, вытер нос. Краткая популярная лекция о подполье с намеками на акцию «Z» и грозную Барбару произвела на него некоторое впечатление. Начал объяснять, почему у него ничего нет: был на инспекции.

— Тем лучше. Вы имели возможность лично познакомиться с периферией. Прошу назвать фамилии.

Шнайдер стонал и ерзал на стуле. Карасевич с трудом вытянул из него какого-то Урбана. Зато, чтобы восполнить мизерность материала, Шнайдер не поскупился на краски, расписывая этого Урбана: старый коммунист, сын работает в управлении госбезопасности, сам Урбан — в сельхозотделе люблинского комитета партии. Подвижной, деятельный, необычайно популярный. Особенно в Томашевском и

Белгорайском уездах. Эдакий удельный князек, не считающийся с представителями из центра.

Ничего ценного выудить не удалось. Карасевич прекратил расспросы, взял клочок папиросной бумаги, записал бисерным почерком полученные сведения, сложил вчетверо. Затем достал из кармана пачку сотенных купюр, осторожно снял бумажный поясok, отсчитал двенадцать штук, вложил записку между двумя сотнями. Склеил их, надел поясok, краем глаза посмотрел на Шнайдера. Подействовало: тот сидел бледный, на висках выступили капли пота.

— Впредь прошу позаботиться о более веском материале. И, пожалуйста, избавьте меня от этой писанины. Я только почтовый ящик. Писать полагается вам, — сухо заключил он.

Клавдия с любопытством наблюдала, как он небрежно попрощался со Шпайдером, который проводил его до дверей. Карасевич подмигнул ей. Через минуту она выскочила в коридор. Ему не хотелось срывать поясok с пачки, искать, расклеивать.

— Урбан, — шепнул он Клавдии. — Повторите: партийный деятель в Люблинском воеводстве, сын в госбезопасности, весьма срочно, передать Медведю.

Она пыталась возражать, что-то бормотала о нарушении правил. Карасевич прервал ее на полуслове:

— Немедленно передайте Ферле. Чрезвычайно важное сообщение.

Он наслаждался укрощением Клавдии и повторял трюк Шнайдера, рассчитывая быстротой передачи восполнить мизерность информации.

В отделе его встретили молчанием. Машинистки и референты так и усталились на него, почти не скрывая любопытства. В недоумении он быстро прошел к себе, осмотрел одежду: что-нибудь расстегнуто или порвано? Все в порядке. Встревоженно заметался по комнате и, не выдержав, выскочил в коридор. Одна из машинисток, прижатая к стене расспросами, сказала:

— Разве вы не знаете? Вишарская уволена. Обнаружилась пропажа каких-то бумаг. О вас спрашивали. Теперь они у pana Грабовского.

Они были даже еще ближе — за поворотом коридора.

Сержант, принимавший вещи на хранение, спросил, сколько сотенных в пачке.

— Сто штук,— бросил небрежно Карасевич.— Можно не проверять, прямо из банка.— Полсекунды колебался, вспомнив о двух склеенных, потом добавил: — То есть девяносто девять. Одну истратил.

Молодой капитан в очках, с лицом нерасторопного волостного писаря, кивнул сержанту: проверить. Карасевич закурил сигарету, стараясь держаться непринужденно и беззаботно. Сержант считал, сбивался, новенькие бумажки выскальзывали из пальцев, неприятно похрустывали. Он обнаружил лишь девяносто семь. Взялся считать сам капитан. Это новое испытание оказалось еще более тяжким. Карасевич проклинал Шнайдера, Клавдию и Ферлю за свою безумную выдумку. Его бросало то в жар, то в холод, ладони сделались липкими. Капитан насчитал полную сотню. Это расхождение, казалось, приводило его в отчаяние.

— Ерунда! — Карасевич из всех сил старался показать, что весь инцидент не стоит выеденного яйца.— Три сотнями больше, тремя меньше — невелико богатство.

— Вовсе не ерунда! — сухо возразил капитан.— Будете после рассказывать, что в госбезопасности обкрадывают.

Он начал раскладывать банкноты кучками по пять штук. В третьей заметил изъян. Обрадовавшись, как ребенок, схватил двойную бумажку: наконец-то стало ясно, почему задача не выходит. Когда увидал что-то белое между купюрами, сразу стал серьезным, вытащил записку, вопросительно взглянул на Карасевича.

Тот все еще прикидывался беззаботным. Положил погу на погу, но с таким трудом, словно она вдруг сделалась железной.

— Что это за бумажка? — не отступал капитан.— Вы знаете этого человека?

— Какого чековика? Ничего не знаю.

— Яна Урбана.

— Первый раз слышу. Вероятно, в банке... Кто это такой?

Капитан кивнул сержанту, тот подал ему список вещей, принятых на хранение. Карасевич не верил своему счастью.

— В порядке, — сказал капитан. — Пишите: вышеуказанные предметы сдал, подпись.

Карасевич схватил бумагу. На этот раз с едва скрываемой радостной поспешностью написал, что велели, с размахом поставил свою залихватскую подпись и вскочил, чтобы следовать за сержантом.

— Минуточку. — Капитан взглянул на дописанную фразу, сличил почерк с запиской. Карасевич сник. Капитан посмотрел на него почти с грустью. — Зачем вы лжете? Это очень опасно. Мы не легко верим тому, кого хоть раз уличаем во лжи. А если не верим... — И, вдруг перейдя на резкий, приказывающий тон, сказал: — Что означает эта записка? Ну, живо!

Карасевич заерзал на стуле. Он уже не мог владеть собой. Лепетал бессвязно:

— Это так, ради шутки...

— Занятная шутка: «Ян Урбап, партийный деятель. Особоппо популярен в Томашевском и Белгорайском. Сын в госбезопасности. Срочно». Ну, в каком месте я должен смеяться?

— Видите ли, это так... кто-то рассказывал, что это интересный человек, и я машинально... у меня зрительно-слуховая память...

— А потом тоже машинально вы сложили записку вчетверо...

Карасевич попробовал паивно улыбнуться, кивнул.

— Затем вложили ее между двумя купюрами, машинально, но старательно заклеили, надели поясок. Машинально, все машинально. Вы, случайно, не лунатик?

— Вы не имеете права говорить со мной, как с дураком!

— Нет, имею полное право. На основе взаимности. За кого вы меня принимаете, полагая, что я поверю в эти сказочки? Вы все больше запутываетесь, я вполне лояльно предупреждаю вас...

Он еще несколько минут говорил о лжи и доверии. У Карасевича нашлось время, чтобы сочинить хоть какую-нибудь, пусть туманную, версию. Когда тот кончил, он, склонив голову, произнес покаянным тоном:

— Вы правы. Врать нет смысла. Последнее время я бывал в разных компаниях и, как мне кажется, столкнулся... с кругами, враждебными режиму. Речь шла о партии. О гос... о вашем учреждении. Говорились разные вещи, довольно неприятные.

— Представляю себе,— капитан покачал головой.

— Вот именно.

— И об Урбане тоже говорили?

— Да.

— Хуже, мол, всех?

— Нет, знаете ли, скорее наоборот...

— Что это значит? Хвалили?

Карасевич снова прикинулся обескураженным. Подгоняемый нетерпеливым собеседником, он пробормотал что-то невнятное и наконец выложил свою версию: этим человеком хотят заняться специально, чтобы тоже вовлечь его...

Капитан отнесся к этому как-то странно. Карасевич с робкой надеждой косился на его лицо: оно заметно почерствело. Капитан закрыл глаза, снял очки, протер их, сжал узкие губы, словно боясь проговориться под впечатлением, которое произвело на него это сенсационное сообщение. Немного погодя он спросил:

— Не вам ли поручена эта деликатная миссия?

— О нет, ни в коей мере...

— Так для чего же вы написали эту записку?

— Просто... меня это заинтересовало с психологической точки зрения. Справедливо ли они считают того... пана...

— Пана Урбана?..

— Да...

— Способным на...

— Именно...

— А зачем понадобился сын? Из госбезопасности.

— Сына тоже...

— Так. И вы решили попытаться?

— При случае. Но чисто теоретически. Вы понимаете? Если бы случайно...

— Ну, тогда вам везет. Подвернулся именно такой случай. Я и есть тот самый Урбан. Сын, конечно...

Карасевичу снова довелось пережить тягостное чувство внезапного падения. Он не знал, как отвечать на кислую

усмешку собеседника. Вопреки воле закусил губу и вытаращил глаза.

— Ну, валяйте, убеждайте меня. Мы одни. Может, я действительно клюну на вашу программу? Как, например, вы относитесь к земельной реформе?

Он смотрел уже без улыбки. Потом перешел к выводам:

— Вы солгали в третий раз, и притом весьма наивно. Я не стану вас больше предупреждать. Пожалуйста, лгите дальше. Чтобы вы не могли пожаловаться, что мы пользуемся вашей растерянностью, даю вам время на размышление; пусть хоть в четвертый раз ваша ложь не будет такой детской. Сколько вам на это потребуется времени? Час? Два? Четыре?

— Я не лгу,— попытался надуться Карасевич.— Я могу хоть сейчас...

— Вы лжете, если вам угодно знать. Лжете непрерывно и все более глупо. Мы не любим глупых лжецов. Даю вам четыре часа. За это время придумайте что-либо связанное. Или, если желаете, можете заявить, что отказываетесь давать показания.— Он позвонил.— Уведите его.

В камере Карасевич попытался прийти в себя после этой бани. Прежде всего ему докучало уязвленное самолюбие: спасовать перед каким-то чурбаном типа волостного писаришки! Попробовал себя утешить тем, что тот наверняка не читал последних (да и первых, конечно) стихов Пучаты, не слыхал об экзистенциализме, понятия не имеет о суинге и вообще не европеец. Однако утешение это было ничтожным. Решил переменить тему: надо обдумать четвертую, решающую версию.

Это было дьявольски трудно. Без часов, которые отобрали, он не смог сосчитать бегущих минут. Им овладел ужас, как перед экзаменом: скоро сдавать, а он еще ничего не знает. Карасевич метался по камере, тщетно заставляя себя настроиться на какое-либо логическое раздумье. С трудом припомнил альтернативу Урбана-младшего: лгать или отказаться от показаний. Едва он выходил за пределы этой простой формулы, как его атаковали размышления общего порядка.

Карасевич был зол на себя: попасться так глупо! У него была великолепная память. Зачем он старался очаровать этого Шнайдера? Зачем записывал? Зачем связывался с Ферлей и всей этой ВОВ? Как ни странно, сейчас он еще находил этому оправдание. За графой «участие в подпольных организациях» последовала другая, более важная — «был ли репрессирован». Когда-нибудь надо начать...

Еще прыжок — и Карасевич приземлился в области радужных мечтаний. День «Д», час «Ч». Распахиваются тюремные ворота, толпа с цветами, его вносят на руках в министерство. Изумленное лицо Грабовского. Впрочем, он наверняка бы сбежал. И не только он, многим бы пришлось спрятаться. В сущности, кто, кроме него, есть еще в министерстве общих вопросов? Шнайдер? Напомним ему пару слов из того разговора и посмотрим, как будет выглядеть сей «государственный муж». Клавдия? На эту тумбу тоже найдем управу: а пу марш за пишущую машинку!

Словом, весь ход его мыслей склонялся, скорее, к отказу от дачи показаний. Когда, уже вечером, его снова привели к капитану, он надменно заявил чуть дрогнувшим голосом:

— С палачами не разговариваю.

Урбан посмотрел на него довольно весело, закурил сигарету, помолчал — медленно гасло это оживление на нерасторопном лице, — наконец, кивнул сотруднику, ведущему протокол.

— Спросите полковника, не может ли он заглянуть сюда на минутку. Скажите, что любопытный тип.

Карасевич встревожился — ого, полковник, — и вместе с тем самолюбие его было несколько польщено — «любопытный тип». Он молчал, сжав губы и оглядывая маленькую, пустую и порядком обшарпанную комнату. Минуту спустя дверь отворилась, Урбан вскочил, стал по команде «смирно». Карасевич с трудом усидел на стуле и даже не обернулся.

— Садитесь! — Высокий человек в полковничьем мундире, который слегка морщил у ворота, опустился на стул подле Урбана, закурил. Затем, смерив Карасевича беглым взглядом, бросил: — Ну, что там?

— При нем обнаружена записка, тщательно спрятанная в пачке денег. Вот, пожалуйста. В ответ на вопросы

явно лгал. После пятичасовых размышлений отказывается давать показания.

— Кто он такой? — полковник бросил сигарету, закурил новую.

— Сотрудник министерства общих вопросов, беспартийный, не признается в принадлежности к какой-либо подпольной организации.

— Вопрос ясен. — Полковник склонил голову влево, опять взглянул на Карасевича, поморщился так, что лоб, подбородок и нос покрылись глубокими бороздами, скривил рот (лицо у него было очень подвижное, «как у обезьяны» — мысленно съязвил Карасевич). — Да, да, вопрос ясен. Террор.

— Я тоже так думаю, — несколько сонно произнес капитан.

Карасевич почувствовал, как у него по спине забегали мурашки. Но тут же успокоил себя; берут на пушку, ничего не знают. Лишь бы развязал язык.

Полковник встал, сгорбился, сунул руки в карманы и принялся широкими шагами мерить комнату — два в одну сторону, два в другую.

— Послушайте, Урбан, тут есть несколько любопытных моментов. Во-первых, мы слишком наивны и легковерны. Возьмем, к примеру, этого типа. Помнится, его считали безобидным карьеристом. Подсмеивались, что ради карьеры соблазняет свою начальницу. Казалось бы, ничтожная, мелкая фигурка. Ну в крайнем случае выкрадет какую-нибудь бумажонку из архива и передаст кому-то для очистки совести: я, дескать, тоже борец. Так или нет?

Карасевич с затаенной ненавистью взглянул на полковника. Было что-то бесконечно унижительное в этом обращении с ним, Карасевичем, которого, словно покойника в анатомическом театре, потрошили в назидание Урбану. Он выдавил с усилием:

— Позвольте, я протестую...

— Позвольте, — резко оборвал его полковник, — тогда вы не хотели с нами разговаривать, теперь мы не хотим вас слушать. Потрудитесь замолчать. А между тем, — продолжал он прежним профессорским тоном, обращаясь к Урбану, — ничтожный карьерист оказался опасным террористом. Прикрываясь флиртом, собирал данные, чтобы убивать честных работников. Вашего отца, например, вас.

Кто бы подумал, что именно такая мразь таилась по темным углам, чтобы внезапно выстрелить...

Карасевич не выдержал. Он понял вдруг, что здесь о нем известно и слишком много, и слишком мало. Слишком много: тайна его симпатии к Винярской раскрыта. Слишком мало: не знают, что он был всего лишь низовым исполнителем. Стрелять? Разве он собирался стрелять?

— Ничего подобного! — взвизгнул Карасевич. — Клевета! Это совсем не я!

— Молчать! — Полковник ударил кулаком по столу. — Нас не интересуют ваши враки! Видите, Урбац, теперь он заговорил. Ибо мы нащупали существенный пункт, который он наиболее старательно пытался скрыть. А именно: личина карьериста была лишь завесой, камуфляжем, под прикрытием которого он готовил покушение на вашего отца.

— Позвольте! — в голосе Карасевича послышалась почти мольба. — Вы меня обвиняете, я имею право защищаться. Во всех процессуальных кодексах...

— Ну, если вы начинаете плисать от этой печки... — Полковник развел руками. — Процессуальный кодекс — это фактор посильнее меня. Говорите же, я слушаю.

— Это неправда — относительно убийства. Мне велели...

— Кто вам велел?

— Простите, вернее, меня просили...

— Послушайте, если вы собираетесь продолжать свое вранье, я немедленно отправлю вас пазад в камеру. Нам некогда заниматься беллетристикой. Кто вам велел?

— Из организации... не знаю фамилии.

— Псевдоним! Быстро!

Карасевич не успел и глазом моргнуть, как рассказал все, что ему было известно. Но самое скверное было в том, что он не мог убедить полковника, будто ничего больше не знает.

— Вы столько наврали нам сначала! — Полковник стучал карандашом по столу. — Как же вы хотите, чтобы мы вам верили? Нарисуйте схему акции «Z». Пожалуйста! — Он подсунул листок бумаги. — Главарь — кружочек — это вы...

— Барбара, Барбара! — Карасевич замахал руками. —

Я только так, давал случайную информацию из моего министерства...

— Барбара? Опять лжете. Нет никакой Барбары.

— Но даю слово!..

— Как она выглядит?

— Я не знаю, никогда не видел. Ее называют «тетя Бася».

— Вон что! Ложь! А название-то каково — ВОВ? Слышали, капитан? Не НСЗ или что-либо другое, а именно ВОВ. Во главе с «тетей Басей». И Медведем в Люблинщине. Все это весьма туманно. Ну ладно, дайте ему ужин и пусть отдыхает. До свидания.

Урбан лично отвел его в камеру. Карасевич возвращался в приподнятом настроении: ему удалось убедить полковника отказаться от самого страшного — от первого обвинения. И только в камере осознал он всю глубину своего поражения. Он признался, что состоял в террористической организации, он выдал все и всех. Карасевич сидел в углу, кусал губы, ему не спалось. Пытался утешить себя мечтами: день «Д», час «Ч». Это принесло минутное облегчение. Но едва он представлял себе радостный момент, когда распахнутся тюремные ворота, им снова овладевал ужас: Ферля, он встретится с Ферлей. А тот, конечно, отправит его к «тете Басе». Или прямо в лапы Медведю. За весь день он не пережил ничего более неприятного. Карасевич понял, что его жизненная линия, которая вчера намечалась так: медленное, но верное продвижение по служебной лестнице при нынешнем режиме и головокружительный скачок вверх в случае перемены власти, — выглядела теперь куда менее заманчиво: тюрьма сегодня, а завтра возможная месть Ферли.

Почему? Как произошло это внезапное падение? Он пытался доискаться причины, с ненавистью вспоминая морщинистое лицо полковника, с ненавистью и страхом — горящий взгляд Ферли. Без труда преодолел легкое угрызение совести. Выдал своих товарищей? Да, но они сами виноваты. Зачем заставляли его выполнять эту опасную работу? Ведь он говорил: беречь кадры.

Все, все против него — таков был лейтмотив вечерних раздумий Карасевича. Он остался совсем один, в целом мире нет ни единой близкой ему души. Спустя час Карасевич пришел наконец к выводу, объясняющему это грустное положение вещей. Просто не повезло: угораздило ро-

даться в эпоху всеобщего хамства, когда считаются только с грубой силой и в грош не ставят утонченный интеллект, умение быть душой общества, эрудицию. В этой формулировке одно было ново: та сторона баррикады оказалась столь же неудобной, если не сказать больше, как и эта.

Ночью ему снилась Барбара — седеющая брюнетка с темными усиками, сурово поджатыми губами и могучим задом. Она напоминала учительницу пения, когда-то, еще во втором классе, выставившую его за дверь. Потом появился Медведь, у которого были тяжелые лапищи, низкий лоб и мрачная морда. Клавдия и Ферля крепко держали Карасевича за руки, а Медведь приближался, облизываясь и урча. Карасевич вскрикнул, проснулся и вспомнил, что он в тюрьме и те ничего ему не делают.

Нахлынула новая волна размышлений. Он вспоминал поочередно все этапы своей, с позволения сказать, конспиративной деятельности. Сеть, расставленную Клавдией. Надутого болвана и труса Шнайдера. Шутовскую «идеологическую» дискуссию. Мелкого шантажиста Ферлю. Мстительно выворачивал наизнанку все слабости и ошибки своих недавних сообщников. Он и прежде не слишком любил их. А теперь просто ненавидел.

«Одиночество — удел человека, — размышлял Карасевич, свернувшись калачиком па нарах, так что колени касались подбородка. — Он сам должен заботиться о себе, бороться за существование. Никто за него этого не сделает. Еще Ибсен...»

НУЛЕВОЙ КИЛОМЕТР

Еще оди́н пейзаж, однообразный, пизинный, какие-то кустики, уже без листьев, беспорядочно бегущие вплоть до самого серого горизонта. Над ними тут и там причудливые скалы, отвесные или клонящиеся долу, угловатые, несимметричные. И ничего больше.

Эти скалы — взорванные доты оборонительного рубежа, уже ненужного. Между ними петляет река. Холодно, клочковатый туман. Я пессу спиннинг, рука мерзнет, от ветра зябнут щеки.

Все, кажется, сговорилось против меня. Иду, ни на что не рассчитывая, попросту от нечего делать в этот предвечерний час. Река выше моста разлилась метров на тридцать. У воды рос пышный бурьян, но теперь, когда зима уже на носу, торчат только какие-то почерневшие охвостья. Забрасываю раз-другой. После пятого броска блесна за что-то цепляет, но я даже не успеваю сыграть: тут же все обрывается, это лишь пучок увядших водорослей.

Иду среди нагих кустов раkitника и низкорослых осин. Вот она, пора раздумий: все, что восприимлешь, не способно поглотить тебя целиком. Листья не только увяли, но и сморщились, засохли и окончательно утратили последнее очарование своей преходящей красоты. Никаких запахов. Воздух свеж и безвкусен, как чистая вода. Бодрит, и не более того. Далекий облетевший березнячок; в липовой дымке он упрямо простоит всю зиму, — взгляни на него — и мысленно перенесешься в середину марта, когда деревца готовятся зазеленеть. И это доставляет не самую радость, а как бы ее предчувствие, странное, мимолетное.

Мимолетное, ибо исполненное противоречий. Весна, которую предрекают нагие березки, тешит своей близостью,

но тут же сознание цепенеет, пораженное торопливостью времени. Какой дорогой ценой расплачиваемся мы за каждую очередную весну именно потому, что она быстротечна. Даже зима не долга, но все, что следует за ней,— для нас, которые бегут на берега рек и под сень деревьев, созерцаемых нами урывками,— превращается в сплошную бешеную гонку. Покидая города, мы, сытые по горло и раздраженные сутолокой многочисленных скопищ, возможно, и сберегаем отчасти какие-то оттепки человеческой восприимчивости, но ценой огромного ускорения круговорота своей жизни. Я вспоминаю, как жил прежде, до того, как пристрастился к рыбалке, любованию природой, уединению. Те годы были в два, три раза длиннее, нежели нынешние.

Бреду среди нагих зарослей. Порой зардеет горсть багряных ягод: это коротышка-кустик можжевельника. Подхожу к берегу, бросок-другой, забрасывать в третий раз уже пет охоты, еще несколько шагов...

А все-таки остается еще один, последний запах. Мिनвала свежая зелень весны, мипули все цветы лета, ветер развеял даже аромат вянувшей листвы. Но когда стихают его леденящие порывы, чувствуется, что это не конец.

Остается запах земли, растоптанной или потревоженной заступом. Запах чужой и близкий, способный и порадовать беглеца из города, и вызвать сожаление обо всем, что миновало. Так благоухала далекая надпеманская осень, но вызвавшая ею грусть пролагает путь к ясной и светлой надежде. То, что земля пахнет так знакомо, вернее, что я еще могу упиваться этим ароматом,— разве не свидетельствует о силе и стабильности бытия, вопреки всему, вопреки быстротечности времени, его необратимости, вопреки столь частым и все более дорогим потерям?..

Эта земля — единственное прибежище и отрада. Эта земля не какая-нибудь. Лишь прикосновение к ней позволяет наслаждаться иными, более живописными краями. Она — мерило всего: блистательные пейзажи юга обретают какой-то смысл только потому, что их можно сопоставить впоследствии с этими обнаженными кустами, серыми осколками взорванных дотов, решетчатым контуром железнодорожного моста, оловянным небом, пронизывающим ветром. Благовония, отдающий ванилью дух тропических джунглей — чего стоят сами по себе без этого обыденного запаха здешней осенней земли?

Нет в этом ни малейшей метафизики, только самая обычная биология. Ты родился здесь, и все связывает тебя с этой землей, но твой сын, родившийся в другом месте, будет уже свободен от этой привязанности. Однако любая разлука с ней неизбежно оборачивается глубокой, незаживающей раной. В отрыве от родной земли даже самые головокружительные успехи не залечат твоей раны, а, скорее, разбередят ее. Это нулевой километр, от которого отсчитываются все расстояния, эталон, которым измеряются все ценности мира.

Странно, но даже быстротечность времени представляется теперь хоть и жестокой, но поэтичной. Случаются такие минуты в жизни, когда именно какая-то жертва придаст ценность тому, чем живешь. Выйди навстречу ветру, улови его гул в дальнем лесу, вдохни аромат земли — и все недоброе рассыплется в прах, исчезнет, утратит значение, и можешь начинать сызнова.

Каков он, этот запах? Как будто бы отдает сыростью. Или немного прелью. Впрочем, нет в нем шибящего в нос бродильного душка. Не знаю, не знаю, не могу этого выразить — он прост, изначален, как белизна и чернота, как горечь и сладость, легче говорить о нем сплошными отрицаниями: не болезненный, не гнилостный, не приторный. Он прост и необъясним, первоздачен, дарован природой вместе со всеми регистрами души, которые способны его воспринять.

Еще несколько бросков ниже моста. Крутые излучины реки, туманная дымка. У берега слегка рябит вода: мелочь еще не попряталась в ямах. Галька скрипит под ногами. Пора уходить. Знаменательно — даже печаль этого прощания лишена досады. Она в великом согласии со всем, что вокруг: с небом, ветром, раkitником, с этой землей, которая замирает с достоинством и падеждой.

СОДЕРЖАНИЕ

По ту и эту сторону моста. Перевод А. Граната	7
* Святая пуля. Перевод М. Игнатова	47
Начало эпоса. Перевод М. Игнатова	62
Рождение Болдына. Перевод А. Ермонского . .	112
* Пустые глаза. Перевод Ю. Мирской	129
* Московское небо. Перевод В. Соколовского . .	151
* Случай в Красноярске. Перевод М. Игнатова	159
* Чемодан. Перевод М. Игнатова	179
Пасха. Перевод А. Кусакина	190
Ultima Thule. Перевод И. Холодовой	203
* Карасевич. Перевод М. Игнатова	232
Нулевой километр. Перевод М. Игнатова . . .	281

ЕЖИ ПУТРАМЕНТ

РАССКАЗЫ

Редактор М. И. Конева

**Автор эмблемы и серийного оформления
В. В. Савченко**

Рисунок на суперобложке В. Г. Алексеева

Художественный редактор А. П. Купцов

Технический редактор Н. И. Касаткина

Корректор Р. Х. Пулга

**Сдано в набор 3.11.1976 г. Подписано в печать
22.02.1977 г. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типограф-
ская № 1. Условн. печ. л. 15,12. Уч.-изд. л. 15,02.
Тираж 50.000 экз. Заказ № 858 Цена 2 р. 06 к.
Изд. № 22072**

**Издательство «Прогресс»
Государственного комитета Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
Москва, 119021, Зубовский бульвар, 21**

**Ордена Октябрьской Революции
и ордена Трудового Красного Знамени
Первая Обрицкая типография
имени А. А. Жданова Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли
Москва, М-54, Валовая, 28**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Вышла в свет

КУНЦЕВИЧ Мария
ТРИСТАН, 1946
Роман. Пер. с польск.

Мария Кунцевич — польская писательница старшего поколения, признанный мастер психологического романа.

Герой романа «Тристан, 1946» подростком остался в оккупированной Варшаве, участвовал в антифашистском сопротивлении. Пережив страшные испытания нацистского концлагеря, юноша после войны приехал к матери в Англию больным, духовно надломленным. Любовь к ирландской девушке, казалось, должна была спасти, возродить его. Но современные Тристан и Изольда в буржуазном мире не смогли сохранить свое прекрасное чувство...

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ПРОГРЕСС»

Выходит в свет

ГЕРЛИХ Гюнтер

ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ, В СТРАНУ НЕЗНАКОМУЮ

Роман. Пер. с нем.

Гюнтер Гёрлих — лауреат Национальной премии Германской Демократической Республики, председатель Берлинского отделения и член правления Союза писателей ГДР, Советскому читателю известен как автор романа «Черный Петр» и отдельных рассказов.

Герой романа «Возвращение на родину, в страну незнакомую» семнадцатилетний Мартин Штейн, воспитанный в духе преклонения перед фюрером, напичканный нацистскими «идеями», в самом конце войны призван в «фольксштурм». Всего несколько недель участвует он в боях. Потом плен. Там он начинает осознавать вину немцев перед человечеством, в нем пробуждается чувство ответственности за происшедшее. Мартин возвращается в Германию. На родине Мартин сталкивается с большими трудностями, но, стремясь к правде, честному труду, старается их преодолеть, обретая при этом и свое личное счастье.